

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ-ИЮНЬ

"НАУКА"
МОСКВА - 1998

СОДЕРЖАНИЕ

К XII Международному
съезду славистов

О.Н. Трубачев (Москва). Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду	3
В.Л. Янин, А.А. Зализняк (Москва). Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1997 г.	26
Е.С. Яковлева (Москва). О понятии "культурная память" в применении к семантике слова	43
В.Б. Крысько (Москва). Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне	74
Е.Э. Бабаева (Москва). Кто живет в вертепе, или опыт построения семантической истории слова	94
А.Л. Шилов (Москва). Топонимия Карелии в аспекте проблем субстратной топонимии Русского севера: к происхождению гидроформанта <i>-ен(ь)га</i>	107
Г.А. Богатова (Москва). Размышления после международного съезда русистов в Красноярске	115
И.А. Малышева (Хабаровск). Проблемы источниковедческого исследования письменных памятников XVIII века	122
Л.М. Городилова (Хабаровск). Словарь языка памятников приенисейской Сибири XVII в.	134
Л.М. Савосина (Москва). Актуализационная парадигма предложения. Типы коммуникативных задач и средства их решения (на материале бинаминативных предложений, выражающих отношения характеристики)	141
А.Н. Печников (Ульяновск). Способы связи предикативных единиц в русском сложноподчиненном предложении	151

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

А.В. Барандеев (Москва). "Книга Большому Чертежу" (к 370-летию памятника)	159
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Л.В. Куркина (Москва). <i>M. Šnoj. Slovenski etimološki slovar</i>	165
Г.Г. Тяпко (Москва). Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков	170
В.Г. Демьянов (Москва). <i>I. Maier. Verbalrektion in den "Vesti-Kuranty" (1600-1660). Eine historisch-philologische Untersuchung zur mittelrussischen Syntax</i>	177
Р.С. Манучарян (Москва). <i>И.С. Улуханов. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация</i>	181
В.А. Плунигян (Москва). <i>Selected essays of Catherine V. Chvany</i>	183

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	188
----------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев,
Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик,
М.М. Маковский (отв. секретарь), Т.М. Николаева (зам. главного редактора),
Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев,
О.Н. Трубачев (главный редактор), А.М. Щербак

Зав. отделами М.М. Маковский, Г.В. Строкова
Зав. редакцией Н.В. Ганнус

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волконка, 18/2
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-74-42

К XII МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

© 1998 г. О.Н. ТРУБАЧЕВ

СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНОСТЬ.

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

Ihr naht euch wieder,
schwankende Gestalten...

Goethe. Faust

Вы вновь ко мне, туманные виденья...

Славистические съезды в этом веке начались в Праге и из Праги (I съезд славянских филологов – 1929 г.). Но даже следующий затем II-ой регулярный МСС в Варшаве 1934 года был все-таки слишком камерным (как-то давно в Кракове мне показывали коллективное фото его участников, человек тридцать, едва ли два-три процента от тысячных съездовских аудиторий последних десятилетий). Третий МСС должен был состояться в 1939 г. в Белграде, его сорвала война, но в общий реестр он все же зачислен.

Мое поколение пришло в науку после войны, и московский IV Международный съезд славистов 1958 года был нашим первым славистическим съездом. Он и по своим параметрам был первым славистическим съездом нового времени, второй половины века. Тысячное участие (точнее, говорят, тогда собралось более 2000 человек) роднило его уже со всеми последующими съездами, но он отличался от них, смею утверждать это, небывалым подъемом, обилием организационно-научных инициатив (я не называю, они всем известны), а также неожиданным множеством собравшихся живых классиков, которых не успела выкосить война.

Фасмер, Кипарский, Мазон, Вайян, Беляч, Гавранек, Лер-Сплавинский, Якобсон, Стендер-Петерсен, Виноградов... Никогда уже больше ни один съезд славистов не соберет равновеликого сонма имен. Наше поколение жадно смотрело на них, с восхищением вслушивалось в их речи, в дискуссии между ними, в их русский язык, которыми они (почти все) замечательно владели. Но увы, также ясно было, что они скоро уйдут. Поэтому – как не вспомнить тех, у кого достало прозорливости, чтобы, глядя на нас тогда, назвать тот съезд нашим съездом. Храню об этом точное воспоминание... Теллый сентябрьский день 1958 г. От станции метро “Университет” в Москве отходит автобус № 111 в сторону главного здания МГУ. Автобус довольно полон, не всем удалось сесть. В окно виден Владимир Николаевич Сидоров, он улыбается своей доброжелательной улыбкой тому, кто остается снаружи и говорит: “Это ваш съезд”...

* * *

В сентябрьские дни московского съезда славистов у меня родился сын. Сорок лет назад...

Перебирая в памяти и в анналах воспоминания и материалы “от съезда к съезду” и отнюдь не претендуя при этом ни на исчерпывающую полноту, ни тем паче, на всезнание, все же увлекаешься интересной задачей – выделить отдельные моменты, важные и в плане самих съездов и всей нашей науки – славянской филологии. Убедительно символизируя *п р е е м с т в е н н о с т ь* науки, каждый съезд жил этой преемственностью. Академик В.В. Виноградов на открытии VI-го международного съезда славистов в Праге 1968 г. [Виноградов 1970] вспоминает об участии в I МСС 1929 года (также в Праге) Белича, Фасмера, Гавранека, Лер-Сплавинского, Чекановского (кстати, участвовавших и в IV-ом, московском, МСС).

Р.И. Аванесов специально указывает на московском съезде: “Необходимость создания общеславянского лингвистического атласа была осознана еще на I Международном съезде славистов [A. Meillet, L. Tesnière. *Projet d'un Atlas linguistique slave.* – О.Т.], хотя практических шагов с тех пор сделано не было. На нашем, IV съезде этот вопрос впервые подвергся серьезному обсуждению” [Аванесов 1962]. Проблема создания Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА) растянулась во времени и вообще знавала разные коллизии, но и – итоги, один из которых, двадцатилетие работы над Атласом, Аванесов докладывает уже на VIII МСС 1978 года [Аванесов 1978]. Неизменный интерес представляет и другая смежная проблематика, адекватной или, наоборот, избыточной терминологической и концептуальной трактовки которой мы еще постараемся коснуться далее. Речь идет о вечной проблеме отношений диалектов и языка (национального, книжнописьменного, литературного). В докладе Аванесова на V Международном съезде славистов (София, 1963) говорится, не без противоречий, о “диалектном языке” (“система систем”, “территориальное варьирование”) [Аванесов 1963] и как будто нет ни слова о *н а д д а л е к т е*, единственной коммуникативной форме, которую способно выработать общение диалектов между собой. Десятилетие спустя к прежнему сюжету “русского диалектного языка” у этого исследователя добавляются уже высказывания, более определенно солидарные с исканиями других ученых в этой области: “Можно предположить уже для древнейшей эпохи также существование некой наддиалектной койне” [Аванесов 1973]. Примерно так уже судили такие участники съездов славистов, как Б. Гавранек (“до возникновения письменно-литературных языков существовало койнэ, которое обслуживало культурные потребности той или иной эпохи”) [Гавранек 1962: 65] и С.Б. Бернштейн (“культурный” язык Брюкнера, иначе “какое-то разговорное койнэ, часто междиалектное...” [Бернштейн 1962]).

Совершенно очевидно, что перед нами концептуальные задачи, по-прежнему актуальные и для науки новейшего времени, более того, далеко не выполненные ею и даже не всегда корректно ныне выдвигаемые. Список научных *actualia*, поднятых еще на первых съездах славистов, можно продолжить, и он будет внушительным, пойдет ли речь о “синтаксических целых высшего порядка” в выступлениях Б. Гавранека [Гавранек 1962: 213], открывающих путь к современным лингвостилистике и лингвистике текста, или об “Изогlossах в славянском языковом мире” Бодуэна де Куртенэ еще на I съезде славистов [Baudouin de Courtenay 1932: 448–450]. Далее, заслуживает особого упоминания такая яркая и могучая постиндоевропейская морфологическая инновация славянского, как развитие глагольного вида, с четко обозначившейся имперфективацией, с постепенным переходом к четкой оппозиции определенность/неопределенность от того, видимо, архаического, как бы “двухвидового”, неопределенного состояния, которое, между прочим, до сих пор наблюдается в сербохорватском. Именно докладам и дискуссиям славистических съездов мы обязаны в немалой степени прогрессом в этой области знаний, ср. А. Мазон, “Глагольный вид в славянских языках” (пленарный доклад на IV МСС), Ю.С. Маслов – о первостепенной роли имперфективации на том же съезде, И. Грицкат – о двухвидовых сербохорватских глаголах [Němec 1959: 301 и сл.; Бородич 1962: 204].

Значение и важность проблемы славянского глагольного вида может косвенно явствовать еще и из диагностического аспекта, открывающегося (и при этом слабо учитываемого) для нее и других проблем морфологического плана в обстоятельствах, о которых коротко – ниже. Вопрос о так называемых смешанных языках, к которому не остались равнодушны и наши славистические съезды (ср. [Lendek 1978: 500]), неожиданно затронул самое генеалогическое существо славянского, ибо, в унисон другой популярной типологической идее – о славянском как новом языковом типе, стала – от съезда к съезду – насаждаться мысль – о смешанном характере славянского. Ср. характерное положение об этом: “...праславянский осуществился как результат италийской инфильтрации в западнобалтийский ареал” [Мартынов 1978: 548]; далее, попытку объяснить тенденцию к открытости слога и другие фонетические особенности праславянского наложением “одного из скифских языков” на группу балто-славянских диалектов [Чекман 1978: 154]; наконец, суммарное положение на ту же тему: “...территория становления праславянского языка на основании славяно-иранского субстратно-суперстратного языкового взаимодействия около V в. до н.э. и выделения праславянского языка из западнобалтийского состояния” [Мартынаў 1993: 73]. Эти взгляды, представленные также в более раннее время весьма авторитетными исследователями (Вяч.Всев. Иванов, В.Н. Топоров – IV МСС), встречаются, однако, непреодолимое сопротивление в концепции, логично возвращающей нас к упомянутому выше фактору развитости славянской морфологии: “...стоит упомянуть наблюдение Теньера о том, что любой язык, не имеющий морфологии, кажется продуктом весьма недавнего смешения и наоборот – язык с богатой морфологией, скорее всего не является продуктом недавнего смешения” [Szemerényi 1972: 174].

Понятно, что не меньше, больше того – подавляющее число участников всех наших съездов было неизменно и остро заинтересовано в прояснении вопросов старославяно-церковнославянского комплекса во всем их множестве, в их числе “вечный” вопрос, – не является ли русский литературный язык церковнославянским (“целиком”, “наполовину”, “на две трети”) или же генетически церковнославянских элементов в нем не более 12%, что вполне совместимо с самобытностью основного корпуса языка [Филин 1978: 215]. По-прежнему в центре внимания оставался кирилло-мефодиевский канон, его генезис, его тяготения. Сразу отметим, что в этой важной проблемной области всегда было и будет много споров, поэтому особенно актуально здесь привлечение новых фактов и раскрытие дополнительных типологических аспектов. Насколько перспективна концепция, рассматривающая старославянский – по укоренившейся научной терминологии – книжный язык как плод индвидуальной творческой деятельности первоучителей славян – святых Кирилла и Мефодия (ср. так [Верещагин 1997: 3 и сл.])? Не ведет ли это нас к построениям с возрастающей сомнительностью вроде того, что старославянский – искусственный язык? Ср. трезвое дискуссионное суждение на этот счет на IV МСС: “...утверждение докладчика (Й. Курца. – О.Т.), что старославянский язык не был языком народности, а с самого начала был литературным языком, мне кажется слишком смелым. Перевода церковных книг на какой-нибудь искусственный язык не могло быть” [Львов 1962: 151]. Поэтому вновь и вновь звучит этот вопрос вопросов: “Какой же это был все-таки язык? Его основой, несомненно, была речь славянского населения окрестностей Солуни в своей местной диалектной форме, а, может быть, и устный культурный диалект более широкого славянского региона Балкан (подчеркнуто мной. – О.Т.)” [Veřečka 1993: 229]. Неслучайной поэтому кажется постановка проблемы докирилло-мефодиевского культурного (надъ)языка (I. Mahnken, IX МСС), ср. тогда же поддержку, сформулированную, правда, в духе “наличия двух типов литературного болгарского языка IX в. – письменного и разговорного” [Кочев 1986: 93]. Как видим, дальнейшие уточнения здесь возможны и даже необходимы, взять хотя бы старый, но неустаревший тезис Копитара о карантанско-паннонских истоках старославянского, проницательность которого – тезиса Копитара – все же явствует из факта высокой

степени родства старославянского и словенского словаря [Огоžen 1993: 129–130]. Здесь важны также косвенные показания, подключающиеся к решению главного вопроса, например, западная раннеславянская христианская терминология в венгерском языке, в свою очередь возвращающая нас к моравско-паннонскому компоненту старославянского языка (лексикона) [Хелимский 1993: 62]. И в интересах дела необходимо вновь и вновь вызывать в памяти, как бы “проигрывать” эту единственную реальную этнолингвистическую ситуацию, уже затронутую выше и крайне актуальную для понимания того, как это было в условиях предписьменного, предкирилломефодиевского этапа: диалекты → междиалектное общение → наддиалект, alias культурный язык. Складывание в предписьменную пору предтечи письменного языка, по видимому, универсально. Возможности устного хранения и передачи (традиции) целых корпусов знаний были неограниченны. Не только агафирсы “пели свои законы”, по сообщениям древних; нечто аналогичное имело место везде и всюду, в частности устная форма существования законов (традиция обычного права) у славян [Дерягин 1983: 79]. Не менее во всяком случае могут быть эффективны чисто типологические подходы к проблеме генезиса старославянского языка, я имею при этом в виду свободные аналогии “создания” нового литературного языка в совершенно другое время и внешне других обстоятельствах. Так, при внимательном рассмотрении известный тезис “Вук Караджич – индивидуальный создатель нового сербского литературного языка” корректируется и обретает иную, реальную формулировку: Вук Караджич как о б р а б о т ч и к канцелярско-административного языка карагеоргиевской Сербии [Stolz 1973: 120]. Согласимся, что эта ситуация могла бы иметь отношение к реалистичному решению вопроса о роли Кирилла и Мефодия.

Уже из нашего краткого обозрения видна роль словарных данных – в изучении древнейшего книжнописьменного языка славян, в исследовании их этногенеза [Ropowska-Taborska 1978: 715]. Нельзя сказать, что так было всегда. Напротив, лексический ряд скорее недооценивался современным языкознанием. Не вдаваясь в рассмотрение вопроса, насколько такая позиция языкознания может считаться адекватной, иными словами, – насколько вообще может быть живой языковая модель, не насыщенная лексически, ограничимся констатацией, что именно съезды славистов и их деятельные участники повернули стрелку славистического компаса в сторону словаря и слова.

На V-ом и последующих съездах славистов выразительно фигурирует проблематика сравнительно-исторической лексикологии, почти неотрывно за ней следует историческая лексикография. Пытливому Игорю Немцу, выученику пражской лингвистической школы и видному исследователю и автору *sub utaque specie* мы обязаны памятными обзорами обеих этих дисциплин на съездах. Он четко выделяет успехи и отставания: имя по-прежнему больше исследовано, чем глагол; не выяснены закономерности лексического развития (– в сентябре 1963 года; а выяснены ли они к сентябрю 1998-го? – *О.Т.* [(Němec 1964: 386–387]. Стоит напомнить и итог VII МСС от того же автора: «Славистика все же в целом хорошо сознает важность лексического материала, сохранившегося в письменных памятниках. Об этом также свидетельствует интерес участников съезда к исторической лексикографии. Подобно тому как пражский съезд 1968 г. стимулировал издание первых томов Старочешского словаря, варшавский съезд, со своей стороны, способствовал раннему выходу подробного “Пробного выпуска Словацкого исторического словаря”. Требование ускоренного издания славянских исторических словарей было четко сформулировано на этом съезде С. Урбанчиком...» [Němec 1974: 169].

Еще одно, можно сказать, капитальное международное начинание из вышеназванной области связано так или иначе со съездами славистов. Я имею в виду праславянскую лексикографию, представленную к настоящему времени параллельно издающимися “Праславянским словарем” польских коллег (тт. 1–7: А–G) и нашим этимологическим словарем славянских языков (Праславянский лексический фонд) (вып. 1–24: А–N). Можно сказать, что съезды славистов следили за ходом этих

больших лексикографических предприятий, обсуждение их предварительных итогов звучало порой и с трибун съездов. Я здесь не намерен останавливаться на этом вопросе, в чем-то для меня личном, хотя допускаю, что в этом эпизоде нашей общей науки отпечаталось немало того, что могло бы заинтересовать на тему славянской судьбы и судьбы вообще. Начать хотя бы с того, что оба названных словаря случайно начали издаваться в один и тот же год и месяц – в декабре 1974, и это не легенда. Больше я о них говорить не буду, скажу лишь, что здесь в полной мере нашли выражение в сравнительность (это на тему нынешнего моего сообщения) и, увы, польско-русское соперничество (это, скорее, уже на тему славянской судьбы). Но феномен праславянской лексикографии сам по себе заслуживает того, чтобы сказать о нем особо. Позволю себе повторить, что уже сказал семь лет назад: “мы имеем при этом впервые в индоевропейстике дело с праязыковой лексикографией. Я полагаю, что, например, германстике предстоит здесь еще многое наверстывать (я имею в виду прагерманский/общегерманский и специально прагерманскую лексикографию, которой, как известно, еще не существует)” [Трубачев 1991: 203]. Праславянская лексикография оказывается, таким образом, наиболее продвинутым направлением праязыковой лексикографии. Заметил это ученый Запад или, скорее, еще не заметил, – другой вопрос. Как сказал и на этот раз Игорь Немец: “В мировой лингвистике еще не был должным образом оценен тот факт, что славянскому языкознанию принадлежит особое первенство – в создании праязыковой лексикографии путем подготовки словарей праславянского языка в этимологических коллективах разных славянских стран. На этот факт обратила внимание словами О.Н. Трубачева конференция “Slavische Etymologie – 100-jähriges Todesjubiläum von Franz Miklosich (20.11.1813–7.3.1891)”, проведенная в дни 30.9–1.10.1991 г. в Вене в честь лингвиста, обладающего, вероятно, наибольшими заслугами в отношении этого первенства” [Němec 1992: 232].

Понятно, что только через лексику, полнзначные слова прокладывает лингвистика путь к культуре, ее истории и реконструкции этой истории. Эти самоочевидные констатации еще не означают неперемного успеха подобных операций. Все дело в адекватности интерпретации, ее сравнительной и исторической глубины. То обстоятельство, что мы не всегда находим эти качества в реальном исследовании, служит объяснением, почему мы не всегда удовлетворены результатами исследования. Например, нехватка исторической перспективы, противоречивость и искусственность сразу бросаются в глаза, когда речь идет о попытке связать наличие “высоких (культурных)” слов **duša*, **grěxъ*, **světъ* в западнославянском (вплоть до полабского!) то ли с влиянием мифодиянской миссии, то ли с так называемой “западной” миссией (последнее см. А. де Винценц на X MCC [De Vincenz 1988: 260]). Впрочем, понятно, на чем основана и как эшелонируется эта ошибка, – на неверии в несомненную, кстати, праславянскую принадлежность этой и другой высокой лексики, на неверии в существование самой этой высокой, культурной страты дописьменного языка славян (их культурного наддиалекта, интердиалекта, см., об этом у нас, выше), на недостаточном понимании праславянской, порой – праиндоевропейской древности культурной, религиозной терминологии, которую христианство гибко переняло у славянского языка. С аналогичной близорукостью мы сталкивались и на тысячелетии крещения Руси, когда эта культурноисторическая близорукость облеклась в форму речей о “начале древнерусской культуры” точно с 988 года или же о “трансплантации” этой культуры из другой страны на Русь, которая при этом мыслилась как некая *tabula rasa*. Наиболее “частотные” религиозные слова (термины, понятия) *бог*, *вера*, *святой*, *дух*, *душа*, *рай*, *грех*, *закон* были взяты не из языка Греции, а из собственного языка славян [Трубачев 1997: 37 и сл.]. Культурную преемственность – дописьменно-книжнописьменную, языческо-христианскую – недопустимо недооценивать, хотя это делается [Толочко 1993: 99–100]. Означенная лексика не является также продуктом индивидуального творчества святых Кирилла и Мефодия, они уже з а с т а л и нужную лексику для выражения главных религиозных понятий в языке самих славян и

применили, использовали е ё, а не искусственные неологизмы или, скажем, заимствования, и именно в этом непреходящее величие обоих братьев То, что требуется от нас с вами в отношении этих данных, это адекватный сравнительно-исторический, лексико-этимологический анализ. Важность и перспективность этого предмета для современной славянской этнолингвистики и социоллингвистики несомненна. Лексическое сравнение и лексико-семантическая реконструкция, например, в практике нашего Этимологического словаря славянских языков, в том числе в его еще не опубликованных томах, “помогает увидеть, как праславянская дохристианская лексика реквизировалась христианской понятийно-терминологической системой”, см. ...**nevědja* и **nevě(d)golsъ* ‘невежда, неверующий’, далее, **nevěra*, **nevěrbъ*, **nevěrbje* с их еще праславянской древностью и **nejevěrbъ* ‘малOVER’, основанное на базе целого куса праславянского текста **ne jeti věry* ‘не принимать на веру, не верить’ [Трубачев 1997а: 119].

Описательный уровень исторической лексикографии подвергается сравнению с данными этимологической реконструкции. Так, дискуссия о значении слова *gostъ*, интересно вспыхнувшая на IV МСС между датчанином К.Р. Шмидтом и польским ученым, проф. С. Урбанчиком, – не ‘купец’ (К.Р. Шмидт), а ‘пришелец, чужой в городе человек’, на основании Старопольского словаря [Урбанчик 1962 89], может возобновиться десятилетия спустя, потому что этимология открывает новые горизонты значения слова **gostъ*, и.е. **ghestis/*ghostis* от глагола **ghed-* ‘доставать, хватать’, а именно ‘possessor, владелец, вступающий во владение’, идет ли речь о полноправном хозяине или – только о лице, приравниваемом к хозяину из вежливости [Трубачев 1995: 29–30].

Отражение состояния науки съездами славистов – вообще аспект интересный и непростой, в чем-то психологический. Одну закономерность, по крайней мере, кажется возможным выделить, и она довольно логична и человечески понятна. Так, большие обсуждения, дискуссии, споры совсем необязательно свидетельствуют о больших достигнутых успехах. Чаще – наоборот, здесь нет “изоморфизма” (то, что его нет, как правило, и в других постулируемых случаях, мы еще скажем далее). 50-ые–80-ые годы – это эпоха фронтальной публикации этимологических словарей всех славянских языков. Ничего похожего даже отдаленно раньше не наблюдалось. А обсуждение принципов этимологии и этимологической лексикографии на наших съездах как бы затухает. На VIII МСС (1978 г.) не было ни одного доклада по этимологической лексикографии (как, впрочем, думается, и по исторической лексикографии). Почему? А наверное все обстоит нормально, если принять во внимание, что все заняты делом (“пишут словари”) Знаю по себе я никогда не рвался обсуждать принципы этимологии и особенно – этимологического словаря, может быть, потому, что все эти годы писал его не покладая рук. Научный съезд может, таким образом, отражать успехи науки латентно [Трубачев 1978–1979: 59].

Сравнение, сравнительность, сравнительно-исторический метод языкознания – общеизвестные атрибуты последнего (так и хочется сказать: научного языкознания, в духе неумирающей концепции Германа Пауля, не желая ни в коей мере задеть этим тех, кто избрал другую часть – дескриптивное, синхронное языкознание). Ясно, что распространение этого метода по крайней мере частичное, его терминология на другие отделы филологии – это результат влияния языкознания. В этом проявилась тенденция времени и современной науки, и с этим нельзя не считаться, особенно, если относиться с вниманием ко всему, что объединяет филологию. Вспомним слова, принадлежащие не кому-нибудь, а самому Р.О. Якобсону, который боролся за структурное языкознание, не теряя при этом из виду взаимопроницающего единства всей филологии: “Лингвист, глухой к поэтической функции, точно так же, как специалист по литературе, безразличный к проблемам и методам языкознания, в наше время представляет вопиющий анахронизм” (цит. по [Rabanales 1979 98]). Попытаемся в дальнейшем держаться этого общепилологического масштаба, тем более, что до сих пор обычно преобладает раздельная трактовка той же сравнительности (внутри линг-

вистики, внутри литературоведения) и новый – общелингвистический ракурс мог бы обогатить суждения. Уместно вспомнить, с кем из ушедших великих была специально связана эта инициатива, одна из этих инициатив. С. Вольман в одной из недавних статей упоминает, что в 1955 году (Београдски славистички састанак) акад. В.В. Виноградов, только что избранный председателем Международного комитета славистов в процессе подготовки московского, IV МСС, предложил внести в программу будущего съезда "выраженно компаративистские проблемы литературы и фольклора" [Wollman 1997: 16].

Если учесть, что "сравнительно-историческое изучение славянских литературных языков – совершенно не исследованная область славянской филологии", как было признано на том же IV МСС [Плющ 1962: 36], ясно, что распространение принципа сравнительности на всю славянскую филологию было несомненным *novum*. Это новое было неслучайно инициировано человеком, так много сделавшим для русистики, для расширенного, панорамного изучения слова (взять хотя бы это позднейшее учение Виноградова о различиях внутриприсущего значения слова и его контекстного употребления). В сущности вся обширная наука филологии замкнута на слове, чем задана непререкаемая база единства всего корпуса науки, что, однако, не всегда уберегало эту науку от потрясений и раздвигающих сомнений.

Просто филология гораздо старше языкознания; последнее как более узкая дисциплина почти современно новой эпохе и, как самоутверждающееся новое, оно порой и первое время как бы работало на разрыв, на сецессию, тем более, что на рубеже XIX–XX вв. в духовной сфере сецессионистские настроения в культурной Европе цвели буйным цветом. Мы сейчас, в конце XX века, все же понимаем, что гораздо больше мудрости в единстве филологии, в общности объединяющих ее интересов, в этом общем вкусе и интересе к своеобразию языков, к специфике слова [Martinet 1987: 3 и сл.]. Конечно, может быть, с этим согласны не все и сейчас, например, генеративизм с его дихотомией поверхностного и глубинного. Что же говорить о начале и первой половине нашего века (мы почти застали эти умонастроения), когда посягательства на единство филологии сделались опасно модными. Было время, когда Бодуэн де Куртенэ ратовал против смешения лингвистики с филологией и даже – "против обязательного союза с филологией и историей литературы" [Biatokozowicz 1983: 357]. Сейчас можно сказать, что это время прошло. Сейчас говорят даже об определенном единении не только славянской филологии, но и славистики, по объему, правда, не очень сильно отличающейся традиционно от филологии. На открытии VI Международного съезда славистов 1968 г. в Праге Б. Гавранек вспоминал опасения В. Ягича по поводу распада славистики на национальные дисциплины. Сам Гавранек смотрел на вещи уже с определенным оптимизмом, полагая, что "славистика как целое, наоборот, начиная с тридцатых годов набирала новое научное значение" [Havránek 1970: 13]. Причем не в последнюю очередь благодаря самим съездам славистов, добавим мы.

В нашей практике единство филологии наилучшим образом представляет школа Виноградова, прежде всего благодаря тому обстоятельству, что покойный ученый имел завидно широкие научные интересы, включавшие русское языкознание, лингвистику, литературоведение; виноградовской школе присуще внимание к проблематике текста. Это, конечно, стратегические суждения по существу дела; в практическом повседневно весьма нередки ситуации, когда "узкий" специалист, скажем, по словообразованию, нуждается в напоминании, что он лингвист, то есть для многих специалистов по небольшому кругу тем даже единство языкознания – довольно абстрактная истина [Трубачев 1993: 70]. Возвращаясь к ягическому еще пониманию славянской филологии (имея в виду труды серии "Энциклопедия славянской филологии", СПб., Пг., Л., 1908–1929), надо заметить, что оно в сущности, еще не включало литературоведения в современное понимание, охватывая главным образом славянские языки и письмо (памятники славянского письма), а также этнографические данные (см. [Супрун 1989: 15]). Конечно, такая концепция подлежала расширению, что

и произошло. Спорным и по сей день остается объем славистики (славяноведения), и это прямо затрагивает наши съезды и дебатруется на них, съезды, которые, к слову сказать, даже по определению, уже давно являются съездами с л а в и с т о в, а не с л а в я н с к и х ф и л о л о г о в, как, например, назывался I-ый съезд 1929 г. в Праге. За последние десятилетия в практике наших съездов прошел и миновал пик политизации и идеологизации, но некий корпус исторических (в их числе археологических) проблем, без которых рассмотрение выразительно комплексных тем вроде этногенеза славян просто невозможно, остается в составе современной славистики и тематики съездов славистов (см. [Горяинов, Досталь, Робинсон 1993: 656; Št'astný 1993: 421 и сл.]). Что касается славянской этнографии, то упрек в ограниченном объеме ее привлечения прозвучал еще на IV МСС [Токарев 1962: 379]. Надо сказать, что к настоящему времени положение несколько выровнялось в своеобразной форме междисциплинарного сотрудничества, точнее, целой дисциплины этнолингвистики, уже заявившей о себе также на славистических съездах.

Существенно же то, что в с я филология изучает тексты. Тут вспоминается несколько тавтологичное определение языка, сформулированное краковским ученым, проф. В. Маньчаком, – "język to t e k s t y mówione i pisane". Если обратить внимание на то, что имеется серьезная тенденция отождествлять или, по крайней мере, сближать историю литературы ("подлинную, а не вымышленную") и текстологию (ср. выступления на ряде съездов славистов видного историка литературы и текстолога русского "золотого века", Л.Д. Громовой [Громова-Опульская 1978: 289; Громова 1993: 496]), можно высказать наблюдение, что задатки дрейфа к взаимосближению лингвистических и литературоведческих дисциплин налицо. Тем более, что текстологии пишутся и лингвистами, и литературоведами. "Текст", "лингвистика текста", "стилистика и текстология" – это темы отдельных докладов и целых заседаний, особенно последних съездов, на которых можно было встретить и "фольклористическую текстологию" [Simonides 1978: 804] и специальный доклад супругов Толстых "Слово в обрядовом тексте" [Толстой, Толстая 1993: 179].

Конечно, не только слово, но и текст всегда в центре внимания сравнительного языкознания, идет ли речь о древнем тексте или о реконструированном, хотя в последнем случае сильно возрастает гипотетизм более или менее смелых шагов. Умелая и хорошо обоснованная интуиция может здесь многое, например, нащупать вероятный жанр древнейших, в том числе воссоздаваемых, реконструируемых устных народных произведений. Скорее всего это была басня [Раденковић 1993: 131]. Праславянскую басню не пробовали как-будто восстановить, зато известны опыты реконструкции басни индоевропейской (см. [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 832, сн. 1]: упоминание реконструкции индоевропейской басни Шлейхером и переписи ее позднее у Хирта).

В условиях такого взаимопроникновения разных дисциплин или, точнее сказать, иррадиации методологически влиятельного языкознания понятие "чистый специалист" делается все более проблематичным. Вспоминаются сетования Терье Матвиасена по поводу того, что такое "чистый славист" на XI МСС [Mathiassen 1993: 86]. В понимании норвежского ученого, это славист без знания балтийских языков. Мы у себя, как известно, страдаем от того, что у нас преобладает "чистый русист", русист без знания остальной славистики. И славистические конгрессы, которые должны были бы положительно сказаться на расширении компетенции таких русистов, пока не смогли переломить дело.

Желательно при этом постоянно иметь в виду, что усложнение состава дисциплины и разветвление ее частей – нормальный процесс, вовсе не отменяющий ее е д и н с т в а. Вот на гибком понимании единства я хотел бы сделать акцент, не меньший, чем на сравнительности. Все дело в том, что, при всем прогрессе науки, в наших умах сохраняется в неизменности младограмматическое понимание – отождествление "единство-простота", идеальное исходное единство, тогда как жизнь и факты науки непрерывно учат нас тому, что живое единство – это сложное единство, это единство частей, идет ли речь о нашей дисциплине – филологии или о языке. Первым не

выдержало этого испытания и подорвалось понимание единства филологии. Наши учителя в науке, помнится, разуверились в нем. Сейчас единство филологии обретает более сильные позиции, и это добрый знак. Та же ситуация поучительно повторяется и с языком, и, при некоторой дальновидности, испытываешь досаду при мысли, сколько еще сил и времени наверняка будет потрачено на преодоление также и здесь все той же косности, хотя порой и модно приодетой в современные научные атрибуты. Я имею в виду п р а с л а в я н с к о е е д и н с т в о и д р е в н е р у с с к о е е д и н с т в о. Для меня это заведомо сложные единства, упрощенное понимание которых – миф и недостаток информации, отрицание же этих единств пока что остается бездоказательным, как модное растаскивание их на гетерогенные компоненты. Наибольшим авторитетом в методологически важном понимании сложного единства я считаю св. апостола Павла (Первое послание к коринфянам, гл. 12), высказывание которого я в свое время избрал эпиграфом к своей книжечке о поисках единства:

Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?.. А если бы все были один член, то где было бы тело?..

Два слова о древненовгородском диалекте древнерусского языка как о предмете спора, зашедшего в тупик, хотя, кажется, перед нами случай, допускающий только одну определенную интерпретацию. Концепция преимущественного "новгородско-западнославянского родства" ложна, как и спаренная с ней концепция гетерогенности восточнославянского ареала (подробнее см. [Крысько 1997: 110 и сл.]), элементарно ложны и аргументы – общие с западнославянским архаизмы, поскольку никто не опроверг правила лингвистической географии о том, что общие архаизмы в двух отдаленных языках (диалектах) никоим образом не свидетельствуют о близости (родстве) этих языков (диалектов), что звучало и на наших съездах [Popowska-Taborska 1988: 696]. В другом месте я уже писал, что древненовгородский диалект – о д н а и з п е р и ф е р и й древнерусского языкового ареала, частично сохранившаяся (в берестяной письменности), но не обязательно самая архаичная, ср. ономастические и контактные следы другой древней – утраченной – юго-восточной, азовско-черноморской древнерусской периферии. И там, и тут фиксируются отдельные архаические, эндемические особенности, и там, и тут их наличие объяснимо из е д н о г о ареала древнерусского языка. Неверие в нормальную, живую жизнь такого сложноединоного ареала, безапелляционный страх перед вскрывающимися самобытными диалектизмами, младограмматическая вера, что адекватно объяснить их возможно, только отдав другому языку, уже внесли много путаницы в обсуждение вопроса. Между единством и изначальной диалектной сложностью не существует внутреннего противоречия.

Наши категорические лингвистические утверждения о древнерусском единстве интересно сопоставить со сходными показаниями других независимых дисциплин: антропологии и (труды В.П. Алексеева, Т.И. Алексеевой) – об исключительном морфологическом сходстве всех краниологических серий русского народа, их принадлежности единому гомогенному (заметьте – не гетерогенному!) типу и (sapienti sat!) о локализации общеславянского единства "все-таки в Центральной Европе" [Р 1997: 61, 73; Чекановский 1962: 487] и археологии (труд В.В. Седова, на которого любят односторонне ссылаться наши древненовгородские "сепаратисты") – об инфильтрации в Смоленско-Полоцкий регион в VIII–IX веках из Среднего Подунавья [Седов 1995: 232, 236].

Мы затронули аспект, достаточно популярный и на наших съездах – междууровневая и междисциплинарная информация и взаимодействие, и мы еще постараемся далее вернуться к этому плодотворному аспекту. Сейчас же имеет смысл вернуться к сравнительности/сопоставительности, которая, в принципе, присутствует и в только что отмеченной ситуации (ситуациях) и вообще глубоко органична в природе человека и его языка (см. специально ниже), что могло бы объяснить и нашу нынешнюю

попытку взглянуть на природу сравнительности в широких рамках славянской филологии. Не ходя далеко за доводами присущности сравнительности природе человека, которому свойственно не только ошибаться, но и сравнивать (что уместно выразить как *Comparare humanum est*, да и сам человек без натяжки подошел бы под психолингвистическое определение *Homo comparans*, человек сравнивающий), вспомним, что и Сын человеческий в евангелиях "говорил притчами" (ἔλάλεσε ἐν παραβολαῖς), причем слав. **pri-tъča* с его структурой и семантикой 'случай, слово к с л у ч а ю, рассказ' (сербохорв. *prîča* 'рассказ', см. подробнее Фасмер III, с. 368) – не самая удачная передача знаменитого греческого παραβολή 'с о п о с т а в л е н и е , с р а в н е н и е', породившего огромную позднероманскую лексико-семантическую группу 'слова' (*parola, palabra, parole*) и все же точнее, видимо, передаваемого немцем эквивалентом *Gleichnis* 'с р а в н е н и е; притча'.

Сравнение – плоть и кровь языкознания в его сравнительно-исторической ипостаси, этой "исконно европейской науке" [Szemerényi 1982: 107]. Будучи инструментом этой, к слову сказать, самой точной филологической дисциплины, сравнение языков как метод вскрытия и доказательства генетического родства языков, думается, не могло не произвести глубокого впечатления и на другие отрасли филологии, а также вообще на человеческую мысль. Дальнейшее было уже практически в поле зрения наших славистических съездов. Знаменательно, конечно, что "первые голоса", ставившие и обсуждавшие проблему сравнительности также в области литературоведения, – это были ученые, столь же активно проявившие себя и как лингвисты-компаративисты, например, В.М. Жирмунский. Конечно, и он, и другие филологи, распространяя сравнительность на литературу, испытывают при этом сомнения и глубокие колебания, в их высказываниях видны поиски, сквозят опасения голословности и поверхностности применения сравнительности к литературоведению, эти очевидные с первого взгляда колебания между "общими социально-обусловленными закономерностями" и типологией [Žirmunskij 1970: 300].

Речь идет о "методологической интеграции сравнительного изучения литератур" [Wollman 1978: 964], наряду с откровенными признаниями, что сравнительное литературоведение все еще не нашло свою нишу [Ничев 1978: 631]. Хотя прообразом может послужить еще сравнительное изучение славянских литератур Шафарика в долитературоведческий, так сказать, период, живость обсуждения проблемы именно в последние десятилетия все же говорит сама за себя. Мы снова наблюдаем случай, когда оживленность дебатов, скорее всего, сигнализирует о недостаточно ясном состоянии. Мнения отчасти разделяются. Есть ряд утвердительных ответов относительно сравнительного характера современной литературоведческой славистики и сравнительной фольклористики, но есть сомнения со стороны тех, кто видит чистую славистичность и компаративность только в языкознании, как например Л. Дюрович [см. ответы на анкету Мареша – Вольмана в сборнике *Aktuální otázky slovanské filologie a Šafaříkův odkaz* (*Slavia* 65, 1996, passim)].

В славянском языкознании компаративность так не обсуждается, из чего можно было бы заключить не только то, что в литературоведение она (компаративность, сравнительность) перенесена вторично, в чем-то – метафорично, но и также, что в языкознании, в духе уже высказывавшихся мыслей, все относительно благополучно ("мало обсуждают, потому что заняты делом"), за исключением, правда, тех случаев, когда в самом языкознании наблюдается определенное сокращение сравнительности. Такая ситуация едва ли может говорить о здоровье науки. Достаточно сказать, что чисто формальные (формалистические) методы в языкознании исчерпали себя значительно быстрее. Сравнение запаса потенции будет, скорее, в пользу сравнительного метода. Более того, страны, где "модернизация" (или – близорукая, практицистская научная политика) проведена особенно широко, оказались вообще лицом к лицу с опасностью выпасть (либо уже выпали) из числа мировых славистических держав. Похоже, это случилось с Францией после Мейе, Мазона, Вайяна (я помню публичные призывы акад. М.П. Алексева примерно к началу 80-х годов – помочь

французской славистике). В центре благополучной концепции современной славянской филологии должны, очевидно, быть – в перспективе – не "формальные критерии" (так Х. Бирнбаум в сб. "Aktuální otázky..."), а широкая, в своем ядре – сравнительная – формально фундированная теория.

Исключительно или по преимуществу прикладное, описательное, вычислительное, лингводидактическое языкознание (*le cas de France*) – это еще не (или – уже не) славистика...

И хотя применение сравнительности в филологии все более ширится, выступая то в виде сравнительной фразеологии [Mogvaу 1978: 612], то в виде сравнительного изучения письма [Furdal 1978: 240], ясно, что из него постепенно выхолащивается его генетическая сущность, где сравнение беспрепятственно пересекает собственно генетические языковые границы (русская, немецкая литература), практически оставаясь общим литературоведением / общей теорией литературы.

Есть, правда, одна сфера в нелингвистической филологии, где сравнительность обретает г е н е т и ч е с к и й (не типологический) смысл – проблема стеммы, родословной рукописных списков в текстологии (см. [Лихачев 1962: 11 и сл., 446 и сл.; Жуковская 1976: 17]).

Если идея сравнительности обрела популярность и была широко подхвачена за пределами языкознания и применена, пусть порой поверхностно и метафорично, прежде всего – в литературоведении, то осталась, к сожалению, незамеченной другая плодотворная идея современного теоретического сравнительного языкознания – идея в н у т р е н н е й р е к о н с т р у к ц и и. Это упущение тем более досадно, что сравнительное литературоведение имеет, несомненно, дело с материалом и культурно-историческими эпизодами, которые явно нуждаются в трактовке в плане внутренней реконструкции. Правда, к трактовке одного из таких культурно-исторических эпизодов в духе внутренней реконструкции исследователи стихийно уже подошли, если иметь в виду логику внутрикультурного развития, идеологию сознательной архаизации в случае с так называемым "вторым южнославянским влиянием", этим своеобразным феноменом на границе языкознания, текстологии, литературы, который толковался преимущественно односторонне, за счет внешних импульсов, ср. и название – "второе южнославянское влияние". Второй случай, феномен так называемого "(Пред)Возрождения", кажется, целиком был принесен в жертву внешним импульсам. Насколько это оказалось адекватно, мы попытаемся рассмотреть далее.

Но сначала о "втором южнославянском влиянии". Дин С. Ворт в своем заметном докладе «Так называемое "второе южнославянское влияние" в истории русского литературного языка» на IX МСС 1983 года в Киеве, кажется, удачно нащупал внутрикультурные мотивы архаизации языка и письма, которые обычно толковались как пришедшие извне. В дискуссии мнения разделились. Сторонники безусловного влияния древнеболгарского языка и литературы обязательно видели его и здесь, в качестве влияния Тырновской литературной школы Болгарии (Д. Иванова-Мирчева и др.), чему другими (Л.П. Жуковская), кажется, разумно противопоставлялись доводы фактические и хронологические в духе явного предшествования проводимого редактирования и архаизации на Руси тому, что связывают с деятельностью Евфимия Тырновского в Болгарии (см. [выступления в дискуссии: Д. Иванова-Мирчева; Л.П. Жуковская на IX Международном съезде славистов, 1986]). Вообще же, оказывается, что культурная Европа того времени (вторая половина XIV века) знала примеры с и н х р о н о г о расцвета филологической деятельности с тождественными задачами "чистоты слова", "чистоты речи", воссоздания чистоты наследия и связанного с этим исправления книг (см. Р. Пяккио в: [Липатов 1990: 198]). Не будет преувеличением сказать и о той эпохе, что сходные умонастроения носились в воздухе; в такой ситуации лучше воздержаться от прямолинейных поисков заимствований и влияний и шире допускать возможности типологического параллелизма.

Аспект внутренней реконструкции слишком значителен, чтобы ограничиться упоминанием о нем в двух словах. Сейчас это один из важнейших аспектов (методов)

современного теоретического языкознания (сравнительно-исторический метод + внутренняя реконструкция + типология). Можно сказать, что разработка внутренней реконструкции совершалась на глазах славистических съездов и силами их участников. Внутренняя реконструкция в нашей науке связывается с именем Е. Куриловича и имеет, надо сказать, специально краковские коннотации. Краковский публичный доклад Куриловича весной 1962 года о внутренней реконструкции был, вероятно, первым крупным его выступлением на эту тему и привлек большое внимание научной общественности. Во всяком случае проф. Ф. Славский, бывший в числе слушателей, не случайно произнес с чувством эти запомнившиеся слова: "Mieliśmy uczyć duchową" (Мы были на духовном пире). Вскоре доклад был опубликован [Kuryłowicz 1962–1963: 19 и сл.]. История внутренней реконструкции в науке в действительности старше, она обсуждалась еще на IV МСС в Москве и была названа там одной из задач этимологии [Трубачев 1962: 99], в конце концов, теория и практика реконструкции праславянского лексического фонда и составления Этимологического словаря славянских языков основаны также на внутренней реконструкции [Трубачев 1963: 13, 28], и это известно из литературы [СИИЯРС 1988: 11]. Для истории науки, наверное, полезно знать, насколько точны (или наоборот) бывают некоторые прогнозы. Так, например, вопрос № 8 "Какие новые возможности для изучения истории праславянского языка дает так называемая "внутренняя реконструкция"? в "Сборнике ответов на вопросы" к IV МСС в Москве не привлек внимания лингвистов. Е д и н с т в е н н ы й ответ (Вл. Георгиева) гласил, что возможности внутренней реконструкции в значительной степени исчерпаны, а новые возможности в этом смысле маловероятны...

Влияние лингвистических терминов-понятий на литературоведческие вряд ли нуждается в доказательствах (интер-диалект → интер-текст), зато обратного направления влияний, скорее всего, нет (рецепция 'восприятие того или иного писателя, произведения или литературы в другом регионе' остается без лингвистического аналога). Зато в т и п о л о г и ю уверовали, кажется, все филологи (ср. [Horálek 1973: 951]). При этом К. Горалек признает, что в сравнительной фольклористике, как и в сравнительном литературоведении, трудно бывает отличить типологическое родство от контактного происхождения. Вся обширная область контрастивного изучения языков основана на типологии. Типологическое исследование оказывается продуктивным, даже если речь идет о близкородственных языках, ср. давний уже "Опыт типологии славянских языков" А.В. Исаченко, задуманный еще как ответ на вопрос к несостоявшемуся III МСС 1939 года в Белграде [Isačenko 1939: 64 и сл.]. С тех пор чистая (типологическая) сопоставительность – как некий pendant к сравнительности – уже не покидала съездовских трибун и страниц съездовских изданий, ср. японский доклад на IX МСС в Киеве – Y. Nakamura, Система цветов в "Слове о полку Игореве" и "Хэйкэ-моногатари".

Теоретические возможности типологического аспекта, его объяснительная сила использованы еще далеко не в полной мере и могли бы помочь в рассмотрении и адекватной оценке болезненных вопросов современной филологии и культуры путем привлечения широких свежих типологических аналогий с целью разрушения мифа уникальности тех или иных острых ситуаций. Один пример такого рода. Горячие проблемы нынешнего украиноведения (кому принадлежит древний Киев, Владимир Святой и др.), к тому же, усердно рассматриваемые под лупой славистами третьих стран, как это имело место на симпозиуме в Кастель Гандольфо 1996 г. под эгидой папы Иоанна Павла II [WS, 1997], – эти сколь угодно горячие проблемы не должны нас ожесточать и считаться неоправданно уникальными. Переливание/миграция Древней Киевской Руси в Северо-Восточную Русь Великую типологически точно напоминает распространение ариев и индуизма из первоначального ареала обитания в Северо-Западной Индии в Центральную и Восточную Индию. Северо-Западная Индия вторично освоена исламом, воплотившимся в Пакистан, но это не отменяет исторического факта первоначальной ее принадлежности ариям (ср. [Барроу 1976: 46:

"В самый ранний период он (санскрит – О.Т.) сосредоточивался в Пенджабе, но вскоре центр переместился на восток, в области Куру и Панчала").

Продуктивнейшим аспектом славянской и не только славянской филологии остается междууровневое и междисциплинарное взаимодействие, способное продвинуть решение задач на типологической основе, имея в виду в первую очередь задачи труднорешаемые или не решаемые в рамках (средствами) одной дисциплины. Полезность сотрудничества лингвистики и этнографии (духовная и материальная культура народа) известна давно, но лишь в последние годы трудами и теоретическими разработками покойного Н.И. Толстого и его школы утвердилась новая дисциплина на стыке двух традиционных – этнолингвистика. Мне, как работнику в области лингвистической дисциплины, этимологии, представляется полезным привести, со своей стороны, пример того, как обращение к этнографии, осмысленное этнолингвистически, содействует выводу этимологии слова из тупика, из того своеобразного *circulus vitiosus*, в который она попала в силу односторонне этимологических сравнений. Праслав. **zqbъ*, ст.-слав. *зѣбъ* *ὀδούς*, *dens*, русск. *зуб*, польск. *zab* и т.д. обычно сравнивают с лит. *žambas* 'острый выступ', *žembi* 'разрезать', др.-инд. *jambhate* 'хватать, кусать', *jambha-* 'зуб, клык', авест. *zambayadwem* 'разрушите, раздробите', греч. *ῥόμφος* 'колышек', алб. *dhamp*, *dhëmp* 'зуб', *dhëmp* 'мне больно, болит', др.-в.-нем. *kamb* 'гребень', тохар. *kam*, *keme* 'зуб' (Фасмер³ II, с. 106: 'зуб' < первонач. 'раздробитель'; Mayrhofer I, S. 419). Можно заключить, что значение 'зуб' еще праиндоевропейское, остальные, главным образом глагольные значения (выше) как бы замыкаются на 'зуб': 'разрезать, кусать, дробить, делать больно (зубом)' (*circulus vitiosus*!). О семеме 'зуб' известно, что это вторичное, сложное значение, ср. прежде всего и.-е. *(e)dont-/*(o)dont- 'зуб' < 'едящий'. Славянское название зуба обнаруживает даже на славянском языковом уровне связи с лексикой, ничего общего с 'зубом' не имеющей, ср. хотя бы русск. *зябнуть*, *про-зябнуть*, *про-зябать*, *знобить*. На этом основании еще более сорока лет назад была предложена реконструкция слав. **zqbъ* < и.-е. **ĝon-bhos* 'выросшее' < **ĝen-* 'рождать(ся)', см. дополнение к Фасмеру, там же. Но на этом все как бы остановилось, где и пребывало до самых последних лет, когда "умудренный" жизнью (утрата собственных зубов и потеря близких...), автор этих строк стал искать у этнографов и этнолингвистов, прибегнув к незаменимой поддержке С.М. Толстой. Результатом было обращение к снам и их народным толкованиям, которые оказались весьма единогласны и красноречивы: выпавший зуб во сне предвещает смерть, смерть в семье, смерть близкого (и так – в различных частях славянства, что как бы гарантирует фондовый характер суеверия, см. [Niebrzegowska 1996: 224, 242, 246, 249–250; Усачева (рукопись). Народная культура подсказывает нужное направление этимологической дешифровки, причем з у б в ы п а л – это своего рода отголосок еще живой этимологии **р о ж д е н ы й* (**ĝon-bhos*) умер'. Все остальное – вторичные напластования.

Примеры междисциплинарного взаимодействия легко могут быть продолжены, они весьма разнообразны и, надо сказать, порой поучительны. В прошлом году, во время встречи в Польше (дело было в Кракове) С. Вольман сообщил мне, что заинтересовался библейским словом *окринъ* как компонентом *древнейшего литературного сюжета*. Справки в нашем Словаре и справочной литературе, среди которой оказалась и моя "Ремесленная терминология в славянских языках", выявили, что праславянское **ob-krinъ* (откуда ст.-слав *окринъ* 'миска, плошка', Син. Треб., чеш. *okřín* 'блюдо', словц. *okrín* '(деревянная) чаша, миска', н.-луж. *hokšin* 'корытце, лоток') – более древняя лингвистическая модель 'оплетенное, облепленное', чем, например, равнозначное **ob-krqtъ* в ряде других славянских языков.

Уже опробованным аспектом междисциплинарного взаимодействия может служить привлечение гидронимических данных в археологических исследованиях и – *vice versa*. Не все подобные апелляции к инодисциплинарной материи и методологии оказываются, правда, удачными (порой вольное обращение с гидронимическими формами и этимологиями у археологов); на этом фоне выгодно отличаются комплексные работы нашего влиятельного археолога В.В. Седова, прежде всего – корректностью обра-

щения с гидронимическим материалом и лингвистической спецификой, ср его доклад В В Седов Становление и этногенез славян (по данным археологии и гидронимии), на XI МСС

Запоминающийся пример взаимодействий такого рода дало нам изучение переклички биологии развития (ботаники) и сравнительного языкознания (этимологии) на фоне удачного применения лингвистической географии Я имею в виду прежде всего лингвистически тонкое наблюдение нашего выдающегося ботаника Н И. Вавилова о средневосточном названии 'ржи' как 'терзающей пшеницу/ячмень' и стимулированное этим выявление этимологических (семантических) аналогий в северных названиях ржи – в тех географических широтах и культурных ареалах, где рожь обрела уже значение полезного злака, но по-прежнему ее номенклатура несла на себе родимое пятно ее прошлого как досадного сорняка, – лат. *secāle*, сюда же франц. *seigle*, 'рожь' *secāre* 'срезать, сечь, рассекасть'; слав **ръзь*, лит. *rugiai*, нем *Roggen* (и другие германские, все – 'рожь', от и -е **ru-gh-* 'рвать, разрывать' [Трубачев 1991: 213])

Дальнейшие примеры у меня выстроены по степени возрастающей курьезности, даже отрицательного характера взаимодействия дисциплин или – отсутствия его в случаях, где оно явно бы пригодились Но сначала – один, хотя и курьезный, но скорее положительный пример, демонстрирующий плодотворные возможности довольно высокого культурного уровня страны и престиж ее филологии и специально – лексикографии, словарного дела Только в стране с высокой, национальной престижностью словарного дела – Сербии, где успешно и оперативно издается исключительно богатый по своему составу и корректный по своему толкованию слов и значений, полиграфически отличный "Речник књижевног и народног српскохрватског језика", уже обогнавший по этим параметрам знаменитый столетний "Rječnik Jugoslavenske Akademije" в Загребе, мог зародиться в начитанном и изощренном писательском мозгу такой опыт, как "Хазарский словарь" М Павича [Павић 1994]. Да, конечно, здесь много творчески индивидуального – и загадочно-мистическая фабула вокруг одного раннего (утерянного) хазарского печатного лексикона, и целый узел проблем на стыке трех религий и культур (иудейской, христианской, мусульманской), и беллетризованная кирилло-мефодияна с хазарской и моравской миссиями двух братьев, первоучителей славян, и своя версия балканского фольклора, турецких войн и полумифических сербских персонажей прошедших веков, и все это – затейливым писательским языком Но хочется все же вернуться к культурной питательной среде, в которой писатель черпал свою образованность (знание научной литературы о хазарах – Артамонов, Данлоп), на которой опирал свой опыт беллетризации лексикографии, "реконструкцию" утерянного лексикона, построение своего опуса (алфавитные словарные статьи, аппарат) и, может быть, прежде всего и в первую очередь – это сквозящее сквозь саркастическую усмешку избранного кафкианского жанра высокое уважение к профессии составления словарей "Поверьте, много опаснее, о господин, составлять из рассеянных слов словарь о хазарах здесь, в этой тихой башне, чем отправиться на войну на Дунай, где уже колотят друг друга австрийцы с турками " (с 96).

Следующий пример – об одной досадной лакуне в аппарате и знаниях специальной (западной) литературы у наших этнографов, лакуне, передающейся и нашим археологам, и, увы, лингвистам, когда они смело производят "великорусов Великого Новгорода" п р я м о с З а п а д а. Удобства ради, а также в интересах внесения ясности в этот все-таки запутанный вопрос прохода с запада на восток, "где-то в бассейне Немана", я позволю себе процитировать несколько обширнее свою книгу [Трубачев 1997б гл III, 98–99] "Думая таким образом, слависты разных специальностей не хотят видеть капитального препятствия, стоящего на пути их умозрительных рассуждений этнографического рубежа на Северо-Востоке Польши Судя по тому, что у нас и этнографы обходятся без его упоминания (мне оно ни разу не встретилось в новой академической "Этнографии восточных славян", во всяком случае – в разделах о народной культуре белорусов), этот феномен в нашей литературе, мягко говоря, не пользуется известностью

Понятие этого важнейшего этнографического рубежа было выдвинуто еще в довоенные годы в польской науке, и состоит оно в том, "что на северо-восток от среднего течения Вислы фигурирует один из наиболее очерченных в Европе этнографических рубежей, имеющий, вдобавок, соответствия в ареалах доисторических культур А именно – в I тысячелетии до н.э. достигла этого рубежа с запада лужицкая культура " [Czekanowski 1957 385]. В этом рубеже не было никакой мистики естественную преграду на восток от него образовывали сплошные дремучие леса, пуща "В разные эпохи волны культур,двигающиеся с запада на восток, вынуждены были останавливаться на краю великого первобытного леса, как на берегу моря" [J Czekanowski 1957 390]

Нижеследующий пример отрицательного взаимодействия в духе той обобщенной классической формулировки взаимодействия, которую дал праксеолог Котарбинский ("два субъекта взаимодействуют, если по крайней мере один из них помогает или мешает другому" [Kotarbiński 1973 93]), налагает на нас, филологов, тяжелую и неприятную ответственность, которую лишь отчасти разделяет с нами воцарившаяся на книжном рынке атмосфера беспредела, разрушительства и скандальной вседозволенности В подобных случаях очень неохотно берешься за опровержение, в надежде, что неприятную работу выполнит кто-то другой, а "умный читатель" и сам разберется Но за разбираемой здесь кратко ревизией нашей истории стоит академик РАН (sic!), что резко увеличивает вероятность не критического восприятия этой ревизии Акад. А. Т. Фоменко, математик, берется за корректировку ("укорачивание") хронологии России (как, впрочем, и других стран), смело перечеркивая итоги исторического источниковедения и филологии, истории языка Не имея возможности заниматься здесь всем этим подробно и не будучи историком, текстологом, палеографом, скажу здесь кратко только о языковых (лексических, топонимических) примерах, с которыми этот ученый обращается так, как если бы у соответствующих дисциплин не было своей аксиоматики, принципов, литературы. Опровергать почти не нужно, факты говорят сами за себя. *Сит tacent, clamant* В просмотренной мной публикации [Носовский, Фоменко 1997] содержатся утверждения "Термины *войско* и *воин* являются церковнославянскими по происхождению, а не старо-русскими, и вошли в употребление лишь с XVIII века, старые названия были таковы. *Орда казак, хан*" (с 11), *Монголия* это – просто греческое слово *мегаليون*, что означает "Великий" (с 12), "Батый (Батька?)" (с 13); «не есть ли "город Теребовль" попросту искажение "города Тверь"» (с 59), "*даруги* [монгольское! – *О Т*] – *други дружинники*" (с 69), нем *Ross* по "мгновенной ассоциации" сближается с *русскими* (с. 77); Мамай – "сын мамы" (с 79), библейское *Рош* отождествляется с английским *Russia*, "Паша" (с 85), что называется, "по звонам", библейское *Фувал, Тубал*, оказывается, "попросту *Тобол*" (с 85), *яр-марка* связывается с *Яро-Славлем* (с. 92), 'слова *улус* и *рус, Русь* не одного ли корня?" (с 95) и так далее, на том же уровне, если это – уровень

Уровни языка автономны, как и дисциплины. Этому противоречит популярный теоретический постулат и з о м о р ф и з м а у р о в н е й, который все же опровергается реальными фактами Элементарно опровергаются излюбленные якобы изоморфные отношения словообразовательного и семантического уровней ввиду часто наблюдаемой реальной разнонаправленности деривации обоих, с чем исследователи сталкиваются на практике, ср наблюдение З Големба на VIII МСС в связи с формированием новых прошедших времен "При этом развитии характерно одно: старые формы приобретают новые значения, старые значения переносятся на новые формы" (подчеркнуто мной. – *О Т*) [Gołab 1978 364]. Аналогичные наблюдения стихийно делались лингвистами в общем всегда – и после внедрения понятия изоморфизма и задолго до него. Еще один типичный пример словообразовательно-семантического а н и з о м о р ф и з м а (неизоморфности) – болг. диал *опо-скам, опо-щя* 'искать (вшей)' как сохранение старого значения болг *искам* 'искать' (теперь только 'хотеть') во вторичном словосложении. По свидетельству моего старинного друга Кирила Кос-

това (письменно), пример приводил еще более полвека назад проф. С. Младенов в лекциях. Лингвисты всегда понимали это на практике, а именно то, что "в поисках изоморфизма механически переносят методы изучения одного языкового "уровня" на другой. Между тем природа объектов изучения на разных уровнях различна" [Zolotova 1970 : 82]. Ниже я привожу несколько пространнее высказывание, созвучное выраженным мной мыслям и вместе с тем принадлежащее яркому исследователю, В.А. Никонову, на IV МСС: "Два методологических положения не учитываются исследователями: 1. Очаг явления видят там, где его примеры всего гуще. В действительности чаще наоборот: явление торжествует не там, где оно возникло, а лишь вырвавшись на колонизационный простор. 2. Названия сравнительны. В сплошных лесах бессмысленны названия *Лес*. Названия *Русский брод* и т.п. часты не в области сплошного русского заселения, а на его былых рубежах, в зоне этнической чересполосицы. Пренебрежение к этой относительной негативности влечет к горьким ошибкам..." [Никонов 1962 : 478] – Какой жестокий удар по изоморфизму! И – какой триумф сравнительности! Хотелось бы в связи с этим коснуться одного вида "изоморфизма", о котором мало кто говорит, а грешат которым многие, – молчаливо принимаемого "изоморфизма" языкового и внеязыкового (реального) плана. Этим проникнуты практически все периодизации истории литературного языка/языков; они, как правило, нелингвистичны, построены на прямолинейных и недоказанных отождествлениях типа "до монгольского ига", "после Октябрьской революции", "общественная смута" = смута в языке (?), то есть вульгарно-социологичны. Безусловно, подобная установка вех в языковом, литературном развитии – относительно более легкий способ, но это скорее аргумент "против", чем "за". В основе периодизаций собственно языка и, наверное, литературы должен лежать постулат преломленного характера отражения. Внимание также должно быть обращено на всякого рода компенсации (в том числе междууровневые) в развитии славянских языков (см. [Леков 1973 : 46]).

Дальше мы коснемся эпизода из истории культуры и литературы, который, при всей ясности, оставлен в нарочито затуманенном, нерешенном состоянии, которое, на худой конец, видимо, больше устраивает сторонников положительного решения, чем открытое признание несостоятельности такого решения. Вопрос этот, конечно, должен интересовать всю славянскую филологию и, кроме своего культурно-исторического наполнения, способен дать пищу для слишком многих размышлений и, в свою очередь, способен оплодотвориться от применения весьма разных аспектов – уже упоминавшейся внутренней реконструкции и даже если угодно – от лингвистической географии. Я имею в виду проблему Возрождения у славян и прежде всего – у славян русских, восточных. Уже беглое ознакомление с исследованиями по древнерусской литературе показывает отсутствие оснований для констатации Возрождения на Руси, "так как в духовной культуре Древней Руси религия доминировала вплоть до XVII в." Вымученный и нелогичный вывод после сказанного, что "это – Предвозрождение" вызывает недоумение, как некая уступка настойчивому желанию все же найти "признаки устремленности к Ренессансу" [ИРЛ 1980 : 148, 187, 289].

Более осторожные оценки раздавались на Западе, например мнение С. Грачотти на X МСС в Софии 1988 года о том, что применительно к России речь о Ренессансе ("гуманизме") ранее XVII–XVIII вв. не идет. "Ренессанс со своим гуманистическим индивидуализмом был, таким образом, во всей полноте пережит только на побережьях позднейшей Югославии. Он пустил корни в адриатических городских республиках и, собственно говоря, не перешагнул через горные хребты, отделяющие их от внутренних районов полуострова" [Dabrowska-Partyka 1997 : 67]. Понятно, что вопрос деятельно обсуждался на съездах славистов. Ренессанс в значительной степени достиг все-таки Польши, лучший ее поэт в XVI веке, Ян Кохановский, был вершиной литературы польского Возрождения [Pelc 1973 : 691; 1988 : 475]. Опираясь на литературоведческий анализ того, как итальянский ренессансный гуманизм повлиял сначала на прибрежную Далмацию, а через Центральную Европу проник в чешскую,

затем – в польскую литературу (см. [Petru 1978 : 691]), лингвист явственно представляет себе все это в виде аналога лингвогеографической проекции – с Запада на Восток, с полным угасанием на Востоке, в России. Труды славистических съездов постепенно проясняют и сущность ренессансного "гуманизма", которую порой слишком сглаженно толкуют как "возврат к античности" (ср. [Petru 1993 : 255]). Нет, речь безусловно и откровенно должна вестись о возрождении греховного, плотского человека. Случай с Максимом Греком, которого даже пытались выставить как "итальянского гуманиста" в бытность его, Михаила Триволиса, в Италии (до схимы), более чем показателен. А между тем перед нами один из православных пытливых умов, современник "гуманизма", который рассматривал этот "гуманизм" именно как кризис, греховный топот. Максим Грек, верный православию, бежал, по собственному признанию, от "проповедников нечестия", как он называл тех, кто насаждал "Возрождение" и "гуманизм", бежал из Италии на православный Восток.

Можно себе представить, какой ересью это было в глазах православного христианства (это – к вопросу о поисках Возрождения в русском XVII веке, не говоря о более ранних веках). Слишком широкая манипуляция понятием "античность" тоже грозит обернуться анахронизмом. Небольшая словарная справка о понятии и термине *античность*. В древнерусских (русскоцерковнославянских) текстах разных веков (с XII по XVII в.) *еллинъ* – синоним язычника, *еллинство* – 'язычество'. И хронологически, и идеологически поучительна поздняя цитата 1666 года: ...Богодуховеннии отцы наши... жидовство же и еллинство, и латынство, ариянство и люторство, и кальвинство обличаща [СлРЯ XI–XVII вв. V: 47]. Ясно, что вплоть до конца XVII в. на Руси просто не было культурной ниши для так называемого Возрождения (что это? – античности, то есть вышеупомянутого эллинизма и латинства?) с его выраженным антиклерикализмом, с его культом греховного человека. Иными словами, если не покидать этот угол зрения, "Возрождение" знаменовало кризис западного христианства – кризис, перед которым православное христианство устояло, несмотря на весь этот своеобразный (внушаемый нам) комплекс неполноценности. Кстати, как и следовало ожидать, слова *античный* не знают ни "Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.", ни "Словарь русского языка XI–XVII вв.". Слабые зачатки появляются только в XVIII веке: *антикви* (1721) = *антики* (1748) мн. 'древние вещи' [СлРЯ XVIII в. I, 1984 : 73]. Дальнейшее уже принадлежит новому времени. Очень объективно судит о взаимоотношениях *Slavia Romana* и *Slavia Orthodoxa* в этом вопросе Риккардо Пиккио – о задержке "неолатинских литературных "правил игры" именно в православном славянстве и именно ввиду "живучести" "местных традиций" "церковнославянского общества" [Picchio 1978 : 695]. Таким образом, обычная хронологическая раскладка – у хорватов и чехов с XV в., у поляков и словенцев с XVI в., у восточных славян и сербов с XVII в. [Rothe 1993 : 54] – нуждается в значительных оговорках. "Несходство культурной ситуации в Византии и Западной Европе, с одной стороны, и в *Slavia Orthodoxa*, с другой, не оставляет возможности говорить о "восточноевропейском Предвозрождении" [Живов 1993 : 165]. Одним лишь преувеличением однородности культурной ситуации в обеих частях Европы и широким допущением культурной трансплантации с Запада на Восток реальных отношений не объяснить.

Это и есть, собственно говоря, главная причина ("живучесть местных традиций церковнославянского общества", см. Пиккио, выше), почему у нас в России ни в XVI, ни в XVII веке не было своего Яна Кохановского, что обычно не преминут отметить польские литературоведы, когда пишут о древнерусской литературе. Ян Кохановский – типично возрожденческий поэт, гармонизировавший свою христианскую душу с "языческим телом" [Jerzyńska 1996 : 7]. Согласимся, что ничего подобного в древнерусской литературе мы не найдем, потому что там это было не ко двору. Наша старая литература осталась строгохристианской и бдительной к соблазнам схизматиков. Таким образом, могла бы отпасть одна довольно крупная шаблонизация (стандартизация) по западному образцу, и вещи бы встали на свои места.

Естественно, что упомянутый феномен не следует путать или отождествлять с

национальными возрождениями чехов, словаков, болгар, с тем, что еще обобщенно называется славянское национальное возрождение. Остается добавить, что ничего адекватного также этим национальным возрождениям не было в русской культуре, литературе ввиду рано сложившейся идеологии великой державы.

В том, что обсуждалось выше, имело и имеет место неточное, избыточное употребление терминов, перенос терминологии, оформившейся в иных культурных регионах. Этим грешат отнюдь не одни только исследователи Ренессанса. Мне уже приходилось – на лингвистическом материале – наблюдать некорректность применения классического термина "рабство" к славянам, для которых, скорее, характерно было некое "квазирабство" [Трубачев 1991 : 202–203]. В свою очередь, чрезмерно в иных условиях обкатанные понятия и термины "феодализм", "(классическое) средневековье" ощущаются как внешние, заносные (с Запада), вторичные для русской историографии (см. [Свак 1988 : 649]).

Отношение (противостояние) *Slavia Romana* – *Slavia Orthodoxa* представляет только одну из ипостасей более универсальной оппозиции Запад–Восток. Их не все разделяет, многое их связывает, взять хотя бы то обстоятельство, что *Germania*, *Romania* и *Slavia* (обе Славии – римскокатолическая и православная) в сумме составляют Европу. Относить целиком славян к Востоку – это наиболее примитивный "западный" угол зрения. Немалая собственная специфика славянства служит оправданием формулировки "славяне между Востоком и Западом" [Карагъзов 1997 : 363 и сл.]. Если сосредоточиться на нерешенных вопросах, то делается ясным, что накопился большой дефицит адекватной оценки этой собственной специфики, внутренней, вертикальной культурной преемственности (язычество → христианство, "второе южнославянское влияние" и его потенциальные внутренние мотивы и др., выше) за счет традиционной переоценки горизонтальной, с Запада на Восток, переемственности.

Если наблюдения (и в области исконной славянской христианской лексики – праслав. **rajъ* 'рай', и в сфере выражения посессивности – ключевое слово **svojbъ, свой*), показывающие единство славян, не разрушенное даже этой схизмой на Слaviю римскокатолическую и Слaviю православную. Реконструкция вскрывает это неумирающее единство, и мы благодарны реконструкции. Сквозь антропоцентризм, который довольно широко свойственен языку и который, может быть, стоит, чтобы сказать о нем особо, все же просвечивает оппозиция западного индивидуализма и славянского коллективизма/этноцентризма [Карагъзов 1997 : 369].

Дескриптивизм, не отягощенный исторической памятью, оперируя "наивной" картиной мира, "вдруг" открывает для себя антропоцентризм в языке и всякий раз почти точно знает, к какому авторитету это восходит – к А. Вежбицкой [Земская, Ермакова, Рудник-Карват 1993 : 260] или к Х. Людтке [Reiter 1986 : 27]. Такое "новаторство" производит несколько странное впечатление, потому что сравнительно-историческое языкознание, этимология, построенная на них реконструкция в общем давно работают с концепцией антропоцентричности древней (в частности) славянской культуры и языковой картины мира, ср. тезис о том, что тему праславянской культуры надо начинать с человека, который *eo ipso* мерит все окружающее и мыслимое ключевым словом **svojbъ, свой*, вплоть до того, что сама культура представляется совокупностью с в о и х отношений к окружающим и мыслимым объектам (см. [Трубачев 1991 : 156–157]). Значит, как минимум – нужно признать слабую взаимную информированность таких филологических дисциплин, как дескриптивное и сравнительное языкознание. Работать в направлении укрепления взаимосвязей нужно всегда и особенно – сейчас, когда излишний ригоризм деления на "строгие" и "нестрогие" дисциплины и методы, на "современные" (*moderne*) и "традиционные" направления, слава богу, ослабевает и теряет актуальность.

Сейчас, как говорят (в том числе – на наших съездах). "...доминирует переход от закрытых структур к открытым" [Savický 1993 : 436], это не может не выражаться в смягчении претензий всюду видеть строгую структурность и системность. Словарный

состав, лексика, наиболее соответствующие эталону открытой структуры, хотя бы по одному тому, что перед ними пасовали структуралисты, эти "охотники за системностью", постепенно вновь занимают подходящее место в интересах теоретиков языка.

А начиналось все, как известно, очень "круто", если вспомнить прокламацию непримиримой дихотомии "синхрония" – "диахрония", – не на шутку встревожившей серьезных представителей целостной науки о языке. Семереньи напоминает нам, что первым, кто возвысил голос против "злополучного раскола" (the unfortunate schism) между синхронией и диахронией, насаждаемого продолжателями и апологетами соссорианства, был Вальтер фон Вартбург в 1931 году [Szemerényi 1969 : 120]. Гигантский собственный опыт В. фон Вартбурга во французской этимологии и сравнительном романском языкознании (этимологический словарь французского языка) известен. Но ригористической дихотомией синхрония и диахрония тяготелись и те, кто принадлежал к лагерю структурной лингвистики. Пражский лингвистический кружок, чьи "Тезисы" были опубликованы к открытию I Международного съезда славистов 1929 года, выступил как раз против "непреодолимости преград между синхронией и диахронией" [Булыгина 1990 : 390]. Пражцы боролись не только против означенной "пропасти", но и за синхронию, прилагая много усилий, чтобы снять отождествление с и н х р о н и и с т а т и к и [Jakobson 1992 : 17]. Но кирпичик из здания все же оказался вынут, и постепенно и малозаметно оно начало оседать и разрушаться. Тем более, что, вопреки всем кривотолкованиям, именно согласно Соссюру синхрония – это статика [Павленко отд. отт.]. Упомянутая борьба пражцев оставляла непроходящий привкус эклектизма и – главное впечатление, что ригористическая синхрония, этот никем никогда недостижимый "миг между прошлым и будущим", обречена. Казалось, нет ничего проще, тем не менее знаменательны признания, что определить состояние синхронии труднее всего. Искусственность и умозрительность приобретают при этом угрожающие размеры. Метафоричность теоретического словоупотребления превращается во все более назойливую помеху. Мне уже приходилось писать о том, что "...и Миклошич, и Вондрак искренне удивились бы, если бы им сказали, что в их сравнительных грамматиках славянских языков даны с и н х р о н и е обзоры старославянских, русских и других словообразовательных средств." Для них с этого начинался сравнительно-исторический аспект [Трубачев 1993 : 65]. Само р а з в и т и е я з ы к а уже кажется нашим и заграничным теоретикам парадоксом ("парадокс Балли") (ср. [Николаев 1987 : 19]). Ясно, что нормальным такое положение признано быть не может. Ясно, что развитие языка – это универсальная реальность, и в нем самом заключено уже опровержение универсальной системности языка (иначе существовало бы вечное равновесие, а не вечное развитие, что есть на самом деле). Системные задатки, системные моменты существуют, но они частны, специальные, а не универсальны (об этом, впрочем, писали и другие, например М. Вандрушка). Параллельно назрел кризис концептуализации и терминологизации; здесь все болезненно пестрит от преувеличений и метафор. Все эти "системы систем" и "синхронные срезы" (!) в два века недоказуемы и давно вызывают чувство неудобства, – тем больше, что здесь далее сказывается также негативное воздействие языкознания на литературоведение. Примеров достаточно: "Древнеславянские литературы как система" [Лихачев 1970 : 326]; "Категория пространства является одной из основ литературы как семиотической системы" [van Baak 1983 : 447]; "... интеграция в Европе славянских литератур в составе подсистемы восточноевропейской литературы..." [Kovács 1993 : 367]. Очень наглядно обстоит дело с лингвистическим термином *метаязык* 'семантический, описательный язык' [Гвишиани 1990 : 297] и с его литературоведческими эпигонизмами: "Традиция металитературы у А.П. Чехова..." [Maxwell 1983 : 378]; ср., далее, сближение "мета-литературы" и "литературы-посредницы" у Д.С. Лихачева [А.В. Липатов 1990 : 189]. В общем мотивация и динамика этого явления понятны; они – в природе человека, метафористичного человеческого мышления, этой питательной почвы поэтики и поэзии, во всепроникающей метафористической природе

человеческого языка вообще, в котором, как утверждают, метафорично все, кроме математики [Friedrich 1986 : 8], ср. еще [Трубачев 1988 : 74].

Но вернемся напоследок к нашей парадоксальной дихотомии синхрония – диахрония, которая неслучайно "смотрится" в ряду других метафорических преувеличений нашей филологии. Вплоть до открытия Куриловичем сохранного ларингального в хеттском взгляды раннего Соссюра (о консонантном коэффициенте) почти пятьдесят лет считались "чистой ересью" (pure heresy) [Szemerényi 1967 : 69]. Кто знает, не сочтут ли – в свою очередь – наши потомки великой ересью нашего XX века эту обременительную дихотомию синхронии – диахронии?...

Филология и в ней – сравнительность останутся и в следующем веке, останутся навсегда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов Р И 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том II Проблемы славянского языкознания. М., 1962
- Аванесов Р И 1963 – Описательная диалектология и история языка // Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. М., 1963.
- Аванесов Р И 1973 – К вопросам периодизации истории русского языка // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973.
- Аванесов Р И 1978 – Общеславянский лингвистический атлас (1958–1978). Итоги и перспективы // Славянское языкознание VIII международный съезд славистов Доклады советской делегации. М., 1978
- Барроу Т 1976 – Санскрит. М., 1976.
- Бернштейн С Б 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Бородич В В 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Булыгина Т В 1990 – Пражская лингвистическая школа // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл ред В.Н Ярцева М., 1990.
- Верещагин Е М 1997 – История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997.
- Виноградов В 1970 – VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 1. Praha, 1970.
- Гавранек Б 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Гашишани Н Б 1990 – Метаязык // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Гамкрелидзе Т В, Иванов Вяч Вс 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. II. Тбилиси, 1984.
- Горяинов А Н, Досталь М Ю, Робинсон М А 1993 – Методологические проблемы истории славистики как объект анализа в рамках международных съездов славистов // XI Mezinárodní zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava 1993.
- Громова-Опульская Л Д – 1978 – L'évolution des opinions de L. Tolstoj et les problèmes de la textologie // VIII Medunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. I. A–K. Zagreb, 1978.
- Громова Л Д 1993 – История текста как путь к истории литературы. – XI Mezinárodní zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava 1993
- Дерягин В Я 1983 – IX Международный съезд славистов Материалы дискуссии. Языкознание Киев, 1983
- Жуковская Л П 1976 – Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976
- Живов В М 1993 – Гуманистическая традиция в развитии грамматического подхода к славянским литературным языкам в XV–XVII вв // XI Mezinárodní zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993
- Земская Е А, Ермакова О П, Рудник-Карват З 1993 – Теоретические проблемы сопоставительного изучения словообразования славянских языков (семантико-функциональный аспект) // XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993.
- ИРЛ 1980 – История русской литературы. Т. 1. Древнерусская литература. Л., 1980.
- Карагвозов П 1997 – Славяне между Востоком и Западом. Религиозные и литературные аспекты двойственности // Slavia Orientalis T. XLVI, N 3, 1997.
- Кочев И 1986 – IX Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Языкознание Киев, 1986.
- Крысько В Б 1997 – Кости и письмена: к поискам истоков древнего новгородско-псковского диалекта / Псковские говоры. История и диалектология русского языка // Под ред. И. Бьернфлатена. Oslo, 1997
- Лекон И 1973 – Компенсацията – развоен фактор в славянските езикови системи // VII Międzynarodowy kongres slavistów Streszczenia referatów i komunikatów. Warszawa, 1973.
- Липатов А В 1990 – Общие закономерности истории славянских литератур и концепция Р. Пиккио // ZfSl 35, 1990, 2.
- Лихачев Д С 1962 – Текстология на материале русской литературы X–XVII вв. М.–Л., 1962.

- Лихачев Д** 1970 – VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 1. Praha, 1970
- Львов А С** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Мартынов В.В** 1978 – Balto-Slavo-Italic isoglotic lines (Lexical synonymy) // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata Sažeci. II. L–Y. Zagreb, 1978
- Мартынаў В.** 1993 – Этногенез славян. Язык и миф // XI međzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé Bratislava, 1993.
- Николаев Г.А.** 1987 – Русское историческое словообразование. Теоретические проблемы. Казань, 1987.
- Никонов В.А** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962
- Ничев Б** 1978 – Сравнительно славянское литературознание в контекста на съвременната литературна наука // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata Sažeci. II. L–Y. Zagreb, 1978.
- Носовский Г.В., Фоменко А.Е** 1997 – Новая хронология Руси. М., 1997.
- Павий М** 1994 – Хазарски речник. Београд, 1994.
- Павленко Н.А** – Синхрония и диахрония в языке – Slavia (отд. отт.).
- Плауц П.П** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания М., 1962.
- Раденковић Љ** 1993 – Slovenske narodne basme (kraj XIX – почетак XX века) // XI Međzinárodný zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava, 1993
- Р** 1997 – Русские/Отв ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. М., 1997
- Свак Д.** 1988 – Концепция т.н. русского феодализма в русской исторической науке // Международный конгресс на славистите. Резюме на докладите. София, 1988.
- Седов В.В** – Славяне в раннем средневековье. М., 1995
- СИИЯРС** 1988 – Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции / Отв ред. Н.З. Гаджиева. М., 1988
- СлРЯ XI–XVII вв** – Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–
- СлРЯ XVIII в** – Словарь русского языка XVIII в. 1974.–
- Сулиун А.Е** 1989 – Введение в славянскую филологию. 2-е изд., перераб. Минск, 1989.
- Токарев С.А** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания М 1962
- Толочко П.П** 1993 – Язычество и христианство на Руси // XI Međzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993
- Толстой Н.И., Толстая С.М** 1993 – Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав *vesel-) // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации М., 1993
- Трубачев О.Н** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Трубачев О.Н** 1963 – Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд) Проспект. Пробные статьи. М., 1963.
- Трубачев О.Н** 1988 – Славянская этимология и праславянская культура // X международен конгрес на славистите Резюме на докладите София, 1988.
- Трубачев О.Н** 1991 – Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования М., 1991
- Трубачев О.Н** 1993 – Синхрония, диахрония – und kein Ende.. // Slavia. Ročn. 62, 1993.
- Трубачев О.Н** 1995 – Slaviana на Майне в меровингскую и каролингскую эпоху. Реликты языка // Dialectologia slavica. Сборник к 85-летию С.Б. Бернштейна М., 1995.
- Трубачев О.Н** 1997а – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд // Вестник Российского гуманитарного научного фонда 2. М., 1997.
- Трубачев О.Н** 1997б – В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. Изд. второе, дополненное. М., 1997.
- Урбанчик С** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Усачева В.В** – Зубы (рукопись; передана автору С.М. Толстой).
- Филин Ф.П** 1978 – Iskonsko i pozajmljeno u suvremenom ruskom književnom jeziku // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata Sažeci I. A–K. Zagreb, 1978
- Хелицкий Б.А** 1993 – Ранняя славянская христианская терминология в венгерском языке // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. М., 1993
- Чекачовский Я** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии II. Проблемы славянского языкознания М., 1962
- Чекман В.Н** 1978 – Typological and areal aspects of phonetic changes in Common Slavic // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata Sažeci I. A–K. Zagreb, 1978
- Vaak J. J. van** 1983 – Семантика литературного пространства в диахронном освещении // IX Международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений М., 1983.
- Viatokozowicz В** 1983 – Jan Baudouin de Courtenay and Slavonic literatures // IX Международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений М., 1983.
- Baudouin de Courtenay Z.** 1983 – Izglosy w świecie językowym słowiańskim // Sborník Prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze 1929, svazek II. Praha, 1932 (Перепечатано в. J.N. Baudouin de Courtenay. Dzieła wybrane T. V. Warszawa, 1983)

- Czekanowski J 1957 – Wstęp do historii Słowian Wyd II Poznań, 1957
- Dąbrowska-Partyka M 1997 – Zagadnienie tożsamości a konflikt jugosłowiański // Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów Kraków, 1997
- Friedrich P 1986 – The language parallax Linguistic relativism and poetic indeterminacy Austin, 1986
- Furdal A 1978 – Schrifttheorie und ihre Bedeutung für Slavistik // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata Sažeci I F–K. Zagreb, 1978
- Gołb Z 1978 – Conservatism and innovatism in the development of the Slavic languages // American contributions to the Eighth International Congress of Slavists Zagreb and Ljubljana, September 3–9, 1978 V I Linguistics and poetics / Ed by H Birnbaum Columbus, Ohio, 1978
- Havranek B 1970 – VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968 Akta sjezdu I Praha, 1970
- Horalek K 1973 – Kritéria genetických souvislostí // VII Międzynarodowy kongres slawistów Streszczenia referatów i komunikatów Warszawa, 1973
- Isačenko A V 1939 – Versuch einer Typologie der slavischen Sprachen // Linguistica Slovaca I, Bratislava, 1939
- Jakobson R 1992 – Synchronní a diachronní studium jazyka // Slavia. 61/1, 1992
- Jerzyńska Z 1996 – [предисловие к одному томику] Jan Kochanowski Dzbanie mój pisany Warszawa, 1996
- Kotarbinski T 1973 – Traktat o dobrej robocie Wyd 5 Wrocław, 1973
- Kovács A 1993 – Comparative poetics of Slavic literatures // XI Međzinárodný zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava, 1993
- Kuylowicz J 1962–1963 – O tzw wewnętrznej rekonstrukcji // Sprawozdania Wydziału nauk społecznych PAN 1962–1963
- Lenček R L 1978 – Baudouin de Courtenay s concept of mixed languages // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata Sažeci II L–Y, Zagreb, 1978
- Martinet A 1987 – De la philologie à la linguistique // La linguistique V 23, 1987
- Mathiasen T 1993 – XI Međzinárodný zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava, 1993
- Maxwell D 1983 – IX Международный съезд славистов Резюме докладов и письменных сообщений М., 1983
- Moray K 1978 – Z zagadnień frazeologii porównawczej języków słowiańskich // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata Sažeci II L–Y Zagreb, 1978
- Němec I 1959 – Vývojové problémy soudobé nauky o vidu // Slavia XXVIII/3, 1959
- Němec I 1964 – V mezinárodní sjezd slavistů v Sofii – Slavia, roč XXXIII, seš 3, 1964
- Němec I 1974 – Historická lexikologie a VII Mezinárodní sjezd slavistů // Slavia XLII, 2, 1974
- Němec I 1992 – Slovanská etymologie v stém výročí smrti F Miklošiče // Slavia, ročn 61, 1992
- Niebrzegowska S 1996 – Polski sennik ludowy Lublin, 1996
- Orožen M 1993 – Kontinuiteta starocerkvenoslovanske leksike v slovenskem jeziku // XI međzinárodný zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava, 1993
- Pelc J 1973 – Europejskość i swoistość literatury polskiego renesansu // VII Międzynarodowy kongres slawistów Streszczenia referatów i komunikatów Warszawa, 1973
- Pelc J 1988 – Renaissance humanism in Polish literature origins and further stages // X Международный конгрес на славистите Резюме на докладите София, 1988
- Petrů E 1978 – Les problèmes méthodologiques des recherches sur le mouvement humaniste dans les littératures slaves // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata. Sažeci II L–Y Zagreb, 1978
- Petrů E 1993 – Barokní humanismus ve slovanských literaturách // České přednášky pro XI mezinárodní sjezd slavistů Česká slavistika 1993 (Slavia)
- Picchio R 1978 – Принципы сравнительной славяно-романской истории литературы // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata Sažeci II L–Y Zagreb, 1978
- Popowska-Taborska H 1978 – Rôle et limite des arguments linguistiques dans les recherches sur l'ethnogénese des Slaves // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata. Sažeci II L–Y Zagreb, 1978
- Popowska-Taborska H 1988 – The problem of linguistic peripheries in the ethnogenetic researches // X Международный конгрес на славистите Резюме на докладите София, 1988
- Rabanales A 1979 – Les interdisciplines linguistiques // La linguistique V 15, Fasc 2 Paris, 1979
- Reiter N 1986 – Anthropozentrismus und Sprachwissenschaft // Сборник за филологију и лингвистику XXIX/I, 1986
- Rothe H 1993 – Zum Humanismus bei den Slaven Stand und Aufgaben der Forschung // XI Međzinárodný zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava, 1993
- Savický N 1993 – Předchůdci poststrukturalismu v jazykovědě slovanských zemí // XI Međzinárodný zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava, 1993
- Simonides D 1978 – Ausgewählte Probleme der folkloristischen Textologie // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata Sažeci II L–Y Zagreb, 1978
- Štásky V 1993 – Místo historografie ve slavistických studiích // České přednášky pro XI Mezinárodní sjezd slavistů Česká slavistika 1993 (Slavia)
- Stolz B A 1973 – On the history of the Serbo-Croatian diplomatic language and its role in the formation of the contemporary standard // VII Międzynarodowy kongres slawistów Streszczenia referatów i komunikatów Warszawa, 1973
- Szemeleyni O 1967 – The new look of Indo-European Reconstruction and typology // Phonetica V 17, N 2, 1967

- Szemerényi O* 1972 – *Comparative linguistics // Current trends in linguistics / Ed Th A Sebeok V 9 Linguistics in Western Europe The Hague-Paris, 1972*
- Szemerényi O* 1982 – *Richtungen der modernen Sprachwissenschaft II Die funfzigere Jahre (1950–1960) Heidelberg 1982*
- Trubačev O N* 1978–1979 – *Bilješke jednog sudionika VIII Međunarodnog slavističkog kongresa (3 – 9,09 1978, Zagreb) // Jezik Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, god XXVI, 2, 1978–1979*
- Trubačev O N* 1991 – *Slavische Etymologie gestern und heute // Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd 37, 1991*
- Večerka R* 1993 – *Postavení staroslověnštiny v komplexní jazykové realitě staré Moravy // České přednášky pro XXI mezinárodní sjezd slavistů. Česká slavistika. 1993 (Slavia)*
- Vincenz A De* – *О лексическом составе языка западной миссии у славян // X Международен конгрес на славистите Резюме на докладите. София.*
- Wollman S* 1997 – *Pronásledování slavistů v Sovětském svazu a Slovanský ústav v Praze // Slavia Ročn 66, 1997*
- Wollman S* 1978 – *The methodological base of comparative Slavic literature // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata Sažeci II L–V Zagreb, 1978*
- WS* 1997 – *Współczesni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Kraków, 1997*
- Zolotova G* 1970 – *VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968 Akta sjezdu 1 Praha, 1970*
- Žirmunskij V* 1970 – *VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968 Akta sjezdu 1 Praha, 1970*

© 1998 г. В. Л. ЯНИН, А. А. ЗАЛИЗНЯК

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ ИЗ НОВГОРОДСКИХ РАСКОПОК 1997 г.

В 1997 г. новые берестяные грамоты в Новгороде были обнаружены на трех раскопах: Троицком-ХІ (1 документ), работы на котором начались с уровня рубежа XII—XIII вв. (руководитель П. Г. Гайдуков), Троицком-ХІІ (31 документ), где исследовались напластования конца XII — XIII вв. (руководитель А. Н. Сорокин), и Федоровском-VI (1 документ), где вся толща культурного слоя была полностью изучена на протяжении одного полевого сезона (руководитель Г. Е. Дубровин). Среди берестяных грамот Троицкого-ХІІ раскопа имеется некоторое количество мелких фрагментов, сохранивших лишь жалкие обрывки текста. В настоящую предварительную публикацию они не включены.

Ниже при воспроизведении текстов в квадратных скобках помещены буквы, читаемые неоднозначно (из-за обрывов или из-за плохой сохранности бересты), в круглых скобках — конъектуры издателей. Все приводимые стратиграфические оценки носят предварительный характер.

Лингвистические комментарии даются лишь выборочно: особенности, достаточно известные по другим берестяным грамотам, обычно уже не обсуждаются.

*

Грамота № 776. Троицкий раскоп, 30-е — 50-е гг. XII в. Усадьба Р.

грамота отъ ѿли ѿ отъ дѣмитра пѣсковж ко либимѣ :
 ко мостокѣ то ти матѣль въ поло гривнѣ . ложнице въ це-
 тыри кжнѣ юбржсе въ трѣѹ кжнѣ залле еси оу тыше
 трѣѹ кжнѣ а въ томъ шесть кжно присѣли :
 присѣли же мою ѿ малю нитокж ѿли не присолешн
 а ржти та хоцж :

В конце строки 3 (после *тыше*) зачеркнуто *поло*, в начале строки 4 — *гривь* (т. е. автор начал писать *поло гривнѣ*, но потом заменил это на *трѣѹ кжнѣ*). Между *оу* и *тыше* зачеркнута буква *т*.

Перевод: 'Грамота от Ильи и от Дмитра во Псков к ливу Мостке. Итак: плащ [ценой] в полгривны, одеяло в четыре куны, платок в три куны; ты занял у Теши (?) три куны. За это пришли шесть кун. Пришли же и мою малую нитку. Если же не пришлешь, то учиню тебе рубеж (конфискацию)'. Ниткой авторы явно называют низку жемчуга или бус и т. п.; адресат знал, о какой именно низке идет речь.

Можно предположить, что Мостка оставил Илье и Дмитру деньги на покупку плаща, одеяла и платка, причем три куны он занял у Теши, расплачиваться с которым придется тем же Илье и Дмитру. Учитывая реальную цену товаров и этот долг (может быть, также какие-то комиссионные), следует получить с Мостки еще шесть кун.

Перед нами редчайший случай, когда в грамоте указан не только адресат, но и адрес: 'во Псков'. При этом, однако, письмо, адресованное во Псков, найдено в Новгороде. Маловероятно, что письмо осталось неотосланным: такие письма обычно недописаны или не обрезаны. Не исключено, что перед нами черновик или копия, оставленная для себя. Но вероятнее всего то, что письмо привез обратно в Новгород сам адресат — лив Мостка; оно могло играть роль списка заказов, т. е. служить свидетельством того, что он привез всё, что требовалось.

Дмитр — по всей вероятности тот же, которому адресовано письмо № 735 от Якима и Семьюна, найденное на соседней усадьбе И. Лив Мостка — по-видимому, старейший из ливов, названных в письменном документе по имени. Ливы (летописная *ливь*) — финно-угорская народность, населяющая побережье Рижского залива. Про ливов известно, между прочим, что в средние века они активно участвовали в торговле.

Написание *отъ Или ї* — вероятно, вместо *отъ Ылиѣ ї*, т. е. здесь в скоплении гласных пропущен *ѣ* (если предположить здесь словоделение *отъ Ылиѣ отъ Дмитра*, возникнут более серьезные трудности: незаконное отсутствие союза и необъяснимое окончание в *Ылиѣ*).

Чтение *оу Тьше* ненадежно. Мыслимо имя *Тѣша* (гипокористическое от *Тѣхъ*, *Тѣшенъ* и т. п.), ср. топоним *Тешино* [НПК, I: 297]; менее вероятны *Тѣша* или *Тѣша* (гипокористические, скажем, от *Тѣмьнъ*, *Тѣплъ* и т. п.). Но в грамоте нет других примеров смешения *ь* с *ѣ* или *е*, и отрезок *тьше* весьма похож на конечную часть словоформы типа *Пжтьше* или *Ратьше*. Поэтому не исключено, что автор имел в виду какое-то из этих вполне обычных имен (скажем, хотел написать *оу Пжтьше*), но в процессе производившейся в данном месте правки несколько запутался и получилось *оутьше*.

В двух случаях в грамоте представлена несколько неожиданная йотация начальной гласной: *юбржсе*, а не *оубржсе*, и *ѣли* (= *ѣли*), а не *оли*. Поскольку морфология и синтаксис грамоты не имеют какой-либо книжной окраски, трудно предположить, что *ѣли* — это церковнославянизм, а *юбржсе* — гиперславянизм. Очевидно, йотированные варианты существовали в живом говоре.

Союз *ели* 'если' (также 'или') отмечен в СРНГ [8: 341] с пометой Олон., Беломор., Ленингр., Новг., Твер., Нижегород., Костром., Моск., Калуж., Ворон. (и разные места Сибири).

Что касается *ю* в *юбржсе*, то здесь свидетельство данной грамоты оказывается уникальным. Оно заставляет нас более критически взглянуть на традиционную формулу, согласно которой в православнославянском начальное *ју-* (любого происхождения, т. е. как из **ју-*, так и из **јр-*) перешло в *у-*. Эта формула практически основана на словах: *угъ* 'юг', *унъ* 'юный', *уха*, *утро*, *уже* (и их производных; относительно заимствованных имен типа *Устинъ*, *Ульянъ* см. [Шахматов 1915: 143]). Современные *юг*, *юный* объясняются как церковнославянизмы. Однако этой формуле не соответствует ряд слов заведомо народного происхождения: *юр*, *юрить* 'спешить, волноваться', 'резвиться в воде', *юркий* (и другие производные от *юр-*), *юла*, *юлить*, *ютить*, *юзгаться* 'бороться, состязаться' (олон.), *юзжать* (*южать*) 'визжать', 'плакать' (новг., ворон., тамб.), также укр. *юдá* 'род злого духа', *юдити* 'подстрекать', блр. *юдзиць* 'хитрить, лукавить', укр. *югá* 'род сухого тумана в жаркий день' и др. (см. [Фасмер; ЭССЯ, 8]). Поэтому более объективная оценка ситуации состоит в том, что переход *ју-* в *у-* был нерегулярным; он относительно последовательно осуществился лишь в части слов (ср. сходную ситуацию с переходом *је-* в *е-* и далее в *о-*). По-видимо-

му, как обычно бывает в таких случаях, в разных группах говоров наборы слов, охваченных данным переходом, были несколько различны, т. е. ряд слов фактически испытывал колебания между ю- и у-. Понятно, что в такие колебания могли втягиваться и отдельные слова с исконным у-. Примером этого может служить как раз слово *убрусь*, где у- исконно (по происхождению это приставка у-: исходным здесь было **u-br̥snqti* 'утереть'; но слово *убрусь*, по-видимому, уже в древнерусскую эпоху опростилось и потеряло смысловую связь с глаголом).

В северо-западных говорах можно отметить ряд заимствованных слов с начальным ю-, которые должны были пройти через фазу колебаний между у- (иногда также гу-) и ю-: *юдега* 'иней' (олон.), наряду с *гудега* 'густой иней на деревьях' (арх.) — из финск. *huude* 'иней' (< **huudek*), Р. ед. *huuteen* (< **huuteken*); *юлега* 'шум, вьюга, ураган' (олон.) — из финск. *ule, ulo* 'холодный весенний ветер, туман'; *юрá* 'шило' (новг.) — ср. эст. *ora* 'шило', южн.-эст. *uur* (Р. ед. *uurí*) 'сверло' (см. соответствующие статьи у Фасмера, чьи сомнения по поводу этих слов ныне можно считать излишними).

Колебания между у- и ю- иногда отмечаются в говорах и в исконных словах: ср. *съ-по ютру* (волог.; см. [Шахматов 1915: 142]); *по юлицы, по юлочцы, ю мужа, ю лужочку, ю хату* и др. в белорусских говорах [Карский 1955: 304]. Учитывая все приведенные факты, следует с большей внимательностью отнестись также к многочисленным колебаниям между этимологически правильным у- (из *р- или *и-) и вторичным ю-, которые наблюдаются в древнерусской книжной письменности начиная с XI в., например, уже 'веревка' и *юже, уза* и *юза, уродъ* и *юродъ, ужика* и *южика, утроба* и *ютроба, удоль* и *юдоль, угль* и *югль, учьрмьнъ* 'красноватый' и *ючьрмьнъ* и ряд других (см. [Срезн.]). Варианты с ю- здесь традиционно рассматриваются как церковнославянизмы; но в данном случае ситуация не столь проста, поскольку в старославянском все эти слова выступают как раз без [j], а варианты с ю- (*ж-*) свойственны именно русской письменной традиции. Обычно здесь предполагают гиперкорректное построение по образцу *унъ* (русское) — *юнъ* (старославянское). Но большое распространение вариантов с ю- (*ж-*) типа *юза* (*жза*), *юродъ* (*жродъ*) уже в самый начальный период русской письменности (в Изборнике 1073 г., Пандектах Антиоха, Путятиной минее, Чудовской псалтири и других памятниках XI в.) позволяет предположить, что они опирались не только на механизм гиперкоррекции, но и на возможность вариативной фонетической реализации слов с таким началом.

Для изучения древненовгородской морфологии очень ценно то, что в грамоте прямо противопоставлены окончания И. ед. муж. *-е* при твердой основе (*ложьнице, юбржсе*, также перфект *заале*) и *-ь* при мягкой (*матьль*), причем в тексте нет ни одного надежного примера смешения *ь* и *е* (хотя *ь* и *о* смешиваются). До сих пор для древнейшего периода это противопоставление было засвидетельствовано в сущности лишь одной грамотой (№ 247, где представлено *-е* в *замъке, кѣле*, но *-ь* в *господарь*).

Исключительный интерес представляет словоформа В. (жен.) *тры̆* (2х). За этой орфограммой в данном случае явно стоит [тры̆ji], т. е. словоформа с тем же окончанием, что в обычном *тр-и*, но с другой основой: [тры̆j-]. Эта основа возникает как результат переразложения словоформ Р. *тры̆и* [тр-ь̆j̆] и И. муж. *тры̆е* [тр-ь̆j̆e]: по аналогии с Р. *четырь-ъ* (и *четырь-ь*) и И. муж. *четырь-е* эти словоформы переосмысляются как [тры̆j-ь̆] и [тры̆j-ӗ]. Далее, по аналогии со словоформами *четырь-и* (В. всех родов), *четырь-ьмъ, четырь-ьми, четырь-ьхъ* (где основа *четырь-* едина для всей парадигмы) основа [тры̆j-] обобщается, т. е. заме-

няет собою прежнее *тр-*: на месте *тр-и*, *тр-ьмъ*, *тр-ьми*, *тр-ьхъ* появляются [тръ-и], [тръ-ьмъ], [тръ-ьми], [тръ-ьхъ].

Это явление засвидетельствовано памятниками XIV—XVI вв., когда [тръ-] предстает уже в виде [три-] или [тре-] (в зависимости от говора и от степени книжности). Ср. *триима путми* (Комисс. НПЛ, под 1435 г.), *вѣ трѣехъ лицѣхъ* (хронограф конца XVI в., РГБ, ф. 98, № 202, л. 131 об.); ср. также некоторые из примеров, собранных А. А. Шахматовым [1957: 301, 304]: *по трее^х лѣте^х* (Ермолинский летописец, л. 300 об.), *по тѣхъ триех* (Книги законные XV в.), *под трѣ епархиа* (В. жен.), *ѿ трѣю сихъ* (Летопись Авраамки), *во устѣхъ двою или трѣю свѣдитель* (новгородское евангелие XIV в.). В староукраинских документах XV в. находим Д. *трѣемь*, М. *оу трѣе^х* и даже Т. *трѣи* (см. [ССУМ, II: 444]).

Свидетельство грамоты № 776 поразительно тем, что оно на 250—300 лет старше, чем самые ранние из указанных примеров. Очередной раз берестяные грамоты показывают нам, сколь рискованно полагаться в вопросах хронологии на первые фиксации того или иного явления в традиционных памятниках, а также сколь превратно общее представление о том, что аналогические процессы, видоизменяющие древнерусскую морфологическую систему, возникают лишь в позднерусскую эпоху.

С синтаксической точки зрения очень интересна частица *и* в *присъли же мою ї малю нитокж*. Этот пример проливает свет на определенный тип фраз в берестяных грамотах и других древнерусских памятниках, которые представляются странными или даже малопонятными из-за “лишнего” *и*, стоящего в неожиданном месте.

Основная особенность, отличающая здесь древнерусский синтаксис от современного, состоит в том, что частица *и* в древности шире, чем теперь, использовалась в роли энклитики, причем такой, которая присоединялась к первому члену группы (как, например, *то в наш-то Иван* и т. п.). В современном языке частица *и* выступает в такой просодической роли, например, во фразах типа *ему велели, он и поехал*; но чаще *и* функционирует как проклитика (*и ребенку ясно* и т. п.)

Сами значения частицы *и* могли быть различными. Большинство из них существует и поныне; но некоторые свойственны только древнему языку (что создает дополнительную трудность в истолковании соответствующих конструкций).

Примеры с обычными и для современного языка значениями частицы *и* (в частности, близкими к ‘также’, ‘даже’): *присъли же мою ї малю нитокж* ‘пришли же и мою малую нитку’ № 776; *по днѣхъ* и сихъ видѣ Сарра* ‘и после этих дней увидела Сарра’ (псковская палея 1494 г., л. 105, см. [Каринский 1909: 33]); *Аже дѣеши: «Ты мой еси ѡць», — а ты мой и снъ* ‘Если ты говоришь: «Ты мой отец», — то и ты мой сын’ [Ипат., под 1150 г., л. 152]; *Гюрги намъ кнзъ и свои* ‘Юрий для нас и [есть] собственный князь’ [Ипат., под 1149 г., л. 139].

Приведем также замечательный пример такого же *и* в старославянском: *ѣлж вамъ ѣко цркѣе і болши естъ съде* (Зогр. ев., Мт. XII. 6; так же и в Мар. ев.: *цркѣе і болше*). Усилительное *и*, столь уместное здесь по смыслу, появилось под пером Кирилла: в греч. оригинале *λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὄβε* никакого эквивалента этого *и* нет. Древний перевод сохраняется, например, в Мстиславовом ев. (*цркѣе и болше*, л. 36а), в Милятином ев. (*цркѣе и боле*, л. 23а). Но в Добролюбовом ев. находим уже другой порядок слов — такой же, как в современном языке: *ѣлю же вамъ ѣко и цркѣе болше ксть сде* (л. 54б). В поздних переводах, заново сверенных с греческим оригиналом, *и* вообще устранено;

ср., в частности, *ѿако цр̄кве бѡле ѣсть здѣ* в Острожской библии, *ѿакоу цѣркве бѡлѣ ѣсть здѣ* в синодальном переводе.

Особое значение древнего *и* — близкое к 'то есть', 'а именно'. Более эксплицитно его можно представить так: *X и Y* — 'X, что есть также Y', 'X, он же Y'. В современном языке частица *и* этого значения уже не допускает. Ныне оно может быть приблизительно передано, в частности, частицей *то* (например, *Иван, друг-то мой* и т. п.). Примеры: (м)[ол]и *Воньзда шурина и моего оти выволоци доскъ 'проси Внезда, шурина-то моего, пусть вытащит доски'* № 82; и сѣ^то^то^таше · въ прабошнахъ · въ черевыхъ и въ протоптаныхъ · ѿко примѣръзнаше нози ѣго къ камени 'и стоял в башмаках, в черевиках-то протоптанных, так что примерзали ноги его к камню' ([Ипат., под 1074 г., л. 72]; пример указан А. А. Гиппиусом).

Значение, близкое к 'а именно', имеет также *и* во фразе: *добре известно изъ двѣа и Мр̄їа Гь по плоти м̄три ра^дслови^м* (псковская палея 1494 г., л. 401 об., см. [Каринский 1909: 34]). В связи с обсуждением данной проблемы А. А. Гиппиусу удалось обнаружить еще два важных примера, где *и* отчетливо значит 'он же': *Того же лѣта преставися Водовикъ и Внѣздъ, посадникъ новгородчкыи, в Черниговѣ* (Комисс. НПЛ, под 1231 г.; в Синод. НПЛ *и* отсутствует); *дѣду его Володимеру и Манамаху* в "Слове о погибели Русской земли".

Некое ослабленное значение *и* (типа 'вот') можно предполагать в примере: *а даю животное свое получение жене и своей Федосьи в одерень* ([Марасинова 1966, № 14], поздний список с псковской духовной грамоты XIV—XV вв.).

Ряд слов представляет интерес с лексикографической точки зрения.

Не засвидетельствованное в других источниках слово *либинъ* 'лив' образовано от *либь* 'ливы' так же, как *чюдинъ* от *чюдь*, *лопинъ* от *лопь*, *русинъ* от *русь*, *литвинъ* от *литва* и т. п.

Имя *лива* — по-видимому, *Мъстѣка*. Оно явно восходит к прибалтийско-финскому *musta* 'черный'. Имя *Musta* должно было отразиться в древнерусском как *Мъста* — совершенно так же, как название реки Мсты. Скорее всего *-ѣка* — это уже русский уменьшительный суффикс, присоединенный к имени *Мъста*. Впрочем, не исключено также, что какой-то суффикс с *-k-* имелся уже в прибалтийско-финской форме (ср., например, фин. *mustahko* 'черноватый'). Косвенными свидетельствами существования на новгородской территории антропонима *Musta* служат топонимы: *Мстино селище* [НПК, VI: 478], *Мостинъ Ручей* [НПК, II: 858], *Мустино селище* [НПК, VI: 794]. В первых двух отразилась древняя форма *Мъста*; в третьем представлено заимствование более позднего времени, когда прибалтийско-финское краткое *и* уже передавалось русским *у*.

Матьль — 'плащ'; слово представлено здесь в правильной раннедревнерусской форме (оно встретилось также в более поздней грамоте № 765).

Ложьникъ — 'одеяло' (или какой-то другой покров на кровать, ложе); см. [Слов. XI—XVII, 8: 275].

Глагол *рути* 'подвергать конфискации имущества' встретился, наконец, в берестяной грамоте в бесприставочной форме; ср. *вырути* в грамотах № 246 и 332. Правда, синтаксическая структура в данном случае не совсем такая, как в изученных ранее контекстах. В № 246 мы имели дело с двуместной конструкцией: *вырути кого (А) въ кого (В)* 'конфисковать товар у лица А за вину лица В' (см. [НГБ 1977—83: 173, табл. 8]). В настоящей грамоте мы находим одноместную конструкцию: *рути кого* (причем в качестве объекта здесь явно выступает само виновное лицо). Возможно, в данном случае имеется в виду более прямая ак-

ция, чем в грамоте № 246, т. е. автор угрожает конфисковать товар не у соотечественников Мостки, а непосредственно у него самого (заметим, что для этого ему достаточно просто не отдать Мостке закупленные по его заказу вещи).

Грамота № 777. Троицкий раскоп, 2 пол. XIV в. Усадьба С.

...|-- м[и]х[а]лю не ро[с]ход[...]
са про село двѣ и пр...
--- (гр)[ив]ънъ .Г. и бол[е] ...

Грамота № 778. Троицкий раскоп, 1 четв. XIII в. Усадьба Е.

а б в г д е ж з и љ к л
м н о п р с т о у ф х ѿ ц
ч ш њ ѣ ж х ю а

Азбука выписана уверенным крупным каллиграфическим почерком. Очевидно, это учебное пособие — изготовленный учителем образец, с которого ученики делали копии.

Обнаружение этого документа существенно пополняет наши представления о древнерусских азбечдариях. Вместе с уже опубликованными берестяными азбуками — №№ 591 (1 пол. XI в.) и 460 (посл. четв. XII в.) она входит в единую группу, которую можно обозначить как первый тип древнерусской кириллической азбуки.

Самая ранняя из них (№ 591) отражает первоначальный вид азбук этого типа (если не считать отрезка между з и м, который в № 591 искажен и известен нам лишь по азбукам № 778 и 460). Из двух других азбук ближе к первоначальному виду стоит № 778 (хотя она и относится к чуть более позднему времени, чем № 460).

Важнейшая особенность азбук первого типа — отсутствие ряда букв, реально употреблявшихся в древнерусской письменности (как книжной, так и бытовой). Прежде всего, отсутствует буква ѡ. Тем самым эти азбуки, подобно текстам с такой особенностью, можно назвать од но е р о в ы м и (и более точно — безъеревыми). Кроме того, отсутствуют буквы ѿ (кроме № 460) и ѡ. В азбуке № 591 отсутствует также ѡ.

Другую особенность азбук первого типа составляют буквы, стоящие в их конечной части, а именно, между ѣ и а. Эта зона алфавита состоит из трех мест; все они заняты буквами, передающими [y] или [jy], но состав этих букв не вполне стабилен. В № 591 это ж ѡ ѣ (зеркальное у, воплощающее ижицу); в № 460 — ж, ю, ѣ. Из их сравнения непосредственно видна эквивалентность ѡ и ю.

В азбуке № 778 первый член этой группы — такой же, как в № 591 и 460, т. е. ж; на третьем месте стоит не ѣ, а ю. Возможность такой замены определялась тем, что ижица и ю находились в отношении частичной эквивалентности: ижица могла читаться как ю, как оу и как и.

Но самый большой сюрприз представляет собой буква, стоящая в № 778 в соответствии с ѡ из № 591 (или ю из № 460). Эта буква имеет вид большого юса без вертикального среднего штриха: ѡ.

Понятно, что, будучи встречено в тексте, такое начертание легко могло бы

быть принято за недописанную (или небрежно написанную) букву ж. Но в данном случае оно стоит рядом с ж и занимает отдельное место в азбуке. Тем самым не остается сомнений, что в системе азбуки № 778 ж — это особая буква.

Встречается ли эта ранее неизвестная славянская буква в текстах? Оказывается, да. Берестяная грамота № 151 (20-е — 30-е гг. XIII в.), от которой сохранился лишь маленький фрагмент, содержит следующий текст: ж ви... | ж до[м]... Это явно фрагмент долгового списка, состоящего из записей по модели 'у такого-то столько-то', например, 'у Витослава', 'у Домажира' (или какие-то сходные имена). Издатель грамоты А. В. Арциховский пишет с оправданной осторожностью [НГБ 1955: 29]: "Большой юс изображен без средней линии и потому спорен. Но другого толкования этой буквы нет". Мы узнаём из этой грамоты, что буква ж читалась (по крайней мере в некоторых случаях или в некоторых школах письма) как [y].

Т. В. Рождественская указала на использование этой же буквы ж в древнеболгарской надписи на свинцовом амулете из селения Орешак (округ Варна) [Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 119]. В этом тексте (который, к сожалению, в ряде мест темен) вместо букв ж и ѝж последовательно пишется ж и ѝж: кахъ сѣ 'я поклялся, проклял' (ж вместо ж, которое, в свою очередь, стоит вместо а в силу "мены юсов"), мамонтѣ (предположительно В. ед. жен.), ...иѣ (какое-то окончание), вѣсокѣ (по-видимому, = высокѣ, со смешением йотированного и нейотированного юса).

Болгарские примеры указывают на то, что буква ж появилась уже на болгарской почве; на Русь она попала среди прочих разновидностей юсов.

В настоящей публикации нет необходимости рассматривать подробно вопрос об эволюции кириллических азбук и об их соотношении с практикой письма. Подчеркнем лишь, что азбука № 778, относящаяся к началу XIII в., оказалась почти тождественной древнейшей азбуке № 571 (1 пол. XI в.) и тем самым продемонстрировала высокую устойчивость традиционных азбук и их относительно слабую зависимость от реальной практики письма. Мы понимаем теперь, что в обучении грамоте азбука могла играть лишь роль фундамента. Остальное довершала практика: в процессе чтения обучавшиеся убеждались в том, что существуют и некоторые другие, еще не изученные ими буквы. Вероятно, эти дополнительные буквы осваивались разными людьми в разной степени: одни постепенно научались правильно ими пользоваться и включали их в свой активный фонд, другие умели лишь их опознавать.

Грамота № 779. Троицкий раскоп, 1 четв. XIII в. Усадьба Е.

Ѡ д[ъбр]...

носъка съмь[н]...

ноу криль ти есмь зь[м](лю) -----

скъ не могли са ослоушати

От имени автора, к сожалению, сохранилось только начало; но всё же весьма вероятно, что это, как и в грамотах № 664 и 665, Доброшка. Разница почерков в данном случае мало о чем говорит: исходящие от Доброшки грамоты № 664 и 665 написаны разными почерками, т. е. уже известно, что Доброшка пользовался для написания писем услугами третьих лиц.

Письмо явно начиналось с какого-то императива — скорее всего *заими* (ме-

нее вероятно — *крьни*). Далее шло указание, у кого; наиболее вероятна конъектура (оу О-ф-о)|носъка (хотя, конечно, имя могло быть и иным). Последующее *сьмь[н]...* — очевидно, <сѣмень> 'семян' или <сѣмена> 'семена'; должно было быть указано также их количество и/или категория. Конъектуры для ...|ноу могут быть различными. Все они, разумеется, не очень надежны. Наиболее привлекательной из них представляется конъектура (въ полови)|ноу: если обычной операцией было *заяти въ треть*, т. е. под 33% роста, то в данном случае, когда автору семена требовались срочно (он только что купил землю), он мог пойти и на невыгодный заем *въ половиноу*, т. е. под 50% роста. Не исключено, что он написал что-нибудь вроде *хотѣ си въ половиноу* 'хотя бы и в половину'. Заключение *не моги сѣ ослоушати*, возможно, связано именно с тем, что адресат мог счесть требуемую от него акцию слишком уж разорительной.

Дальнейший текст ясен; невосстановимо лишь название места (на -ско, типа *Глинско*), где автор купил землю.

Таким образом, с конъектурами разной степени надежности перевод выглядит так: 'От Доброшки (?) [к] ... [Займи (?)] у Офнооска (?) семян [столько-то кадей] ... [хотя бы и под отдачу половины (?)] — я ведь купил землю [в] ...ске. Сделай непременно (букв.: не смей слушаться)'.

Грамота № 780. Троицкий раскоп, 1 четв. XIII в. Усадьба Е.

графиа ...е : сновиде : страшка [:]
по[л]огє

Документ содержит список имен, первое из которых фрагментировано. Значение начального *графиа* остается недостаточно ясным. Вдобавок нет полной уверенности в том, что перед нами целый документ, а не второй из двух листов. В последнем случае *графиа* могло быть концом какого-то более длинного слова, а могло быть и другое слововедение: ...|графиа а...е — скажем, от (изо)|графиа 'художники'.

Грамота № 781. Троицкий раскоп, 1 пол. XIII в. Усадьба Е.

... | ...[и] а цто са --- содѣ по -о[л]...
...о[л]-цивши кто поедь [:] а а ...
... конь са охромилъ [б]о...
...ако послаи · оже боуд...
...инее ко пльсков(оу) ...
...-ором[и]-и[ц]є · обѣд...
...м... ...[в]отѣ шиша [б]ы...
...та... ...-омо : и за м-...

Это один из кусков, на которые адресат разрезал большое деловое письмо с тем, чтобы его нельзя было понять. Представляет значительный интерес упоминание Пскова.

Грамота № 783. Троицкий раскоп, 1 пол. XIII в. Усадьба С.

а б в г д е ж з з

... | ...ѣ гривьнѣ · а гриди полъ третье
 [гривь]н[ѣ] оклада же · [и] добръ же ств^ра ни в ошевѣ пра-
 ви же лоньскоую гривьноу · кѣде ти недоемае бездѣ-
 де тѣ вѣдаеши

Во второй строке фактически написано *ствра нни*; между буквами *в* и *р* втиснуто *о*, между *р* и *а* — еще одно *о*. Таким образом, *ствра* исправлено на *створа*. Но второе *о* — результат какой-то ошибки; возможно, автор вначале ошибся в том, куда именно надо вставить недостающее *о* в *ствра*; менее вероятно, что он имел в виду недостающее *о* в соседнем *нни* (если это вместо *нони*).

Большие трудности связаны с отрезком *ннивошевѣправи*, где даже деление на слова пока еще лишь предположительно. В качестве рабочей версии, по-видимому, может быть принята интерпретация, согласно которой *нни* — это 'ныне', а далее следует *в Ошево* (= <Ошево>) *прави* 'отправь в Ошево'.

Перевод: '... гривны. А гридям (княжеским дружинникам) две с половиной гривны жалованья. И, пожалуйста, теперь (?) в Ошево (?) отправь прошлогоднюю гривну. А где недобирает Бездед, об этом знаешь (или: этим ведаешь) ты'.

В грамоте встретилось редкое слово *гридь* (собирательное) 'княжеские дружинники'.

Слово *окладъ* в принципе могло означать как 'жалованье', 'оклад', так и 'обложение', 'раскладка налога'.

Очередной раз встретилось этикетное выражение *добръ с(ъ)твора* 'пожалуйста', известное уже по целому ряду других берестяных грамот.

Имя *Бездѣдъ* ('не имеющий деда') образовано по древней модели — той же, что в *Безуи*, *Бесынъ* (отразившемся в производном *Бесыньскъ* в грамоте № 761), *Бесынъ* (преобразованном впоследствии в *Бессонъ*), *Безнось*, *Беспаль* и т. п. Само имя *Бездѣдъ* встречено впервые, но образованное от него притяжательное *Бездѣжь* встречается в качестве топонима. Так назывался город в Астраханской губернии, упоминаемый в летописях, в частности, в связи с тем, что через него в 1319 г. везли на родину тело убитого в Орде князя Михаила Тверского. То же название носило местечко в Гродненской губернии.

Этот документ содержит весьма ценные сведения о порядке взимания государственных податей с некоторых территорий Новгородской земли на рубеже XII—XIII вв. Нормы взаимоотношения Новгорода и князя, фиксированные в докончаниях XIII—XV вв., закрепляли всю фискальную систему Новгорода за боярской элитой: *Что волостии всехъ новгородьскихъ, техъ волостии, княже, не держати ти своими мужи, нъ держати мужи новгородьскими; а даръ, княже, тебе имати от техъ волостии*. Исключение составляли лишь домениальные княжеские земли, где сбор пошлин осуществляли княжеские люди ("гриди"), и некоторые территории, особым образом закрепленные за князем. К числу подобных областей на рубеже XII—XIII вв. относились Великие Луки и примыкающая к ним с севера Ржева, где в конце XII в. новгородцами было учреждено особое княжество, оборонявшее Новгородскую землю от Литвы. Когда в 1198 г. умер сын новгородского князя Ярослава Владимировича Изяслав, летопись сообщила: *Изяслав бѣше посаженъ на Лукахъ княжити и от Литвы оплечь Новгороду, и тамо преставися* [НПЛ: 44]. Ошевской погост (нынешнее Ашево Псковской обл.), по-видимому, упомянутый в этой грамоте, составлял значительную часть Ржевы.

шидовицихъ на нѣгосѣмѣ на рѣжковѣ за
ти грѣна шидовицихъ ж домана ж тоудорова и
згона ꙗ коунъ городьцьскѣ вѣльцинѣ на рокыши ꙗ коу
въ ламѣ

В третьей строке слова ꙗ коунъ написаны поверх частично затертого слова гривна.

Перевод: 'В Шидовичах за Негосемом, Режковым зятем, гривна. В Шидовичах у Домана, Тудорова изгоя, 10 кун. В Городецке (Бежецком) в [волости] Волчине за Рокишем 6 кун в [деревне] Ламе'.

Это долговой список, сходный с берестяной грамотой № 526. Для топонима *Шидовичи* ср. в НПК *Шидовица* [I: 845, 846], *Шидово* [I: 94]. *Городьцьскѣ* — в Городецке Бежецком (ныне Бежецк). *Волчина* — река, приток Мологи, *Волчино* — озеро; но в данном случае, очевидно, имеется в виду прилегающая к ним волость. Топоним *Лама*, по-видимому, не связан с рекой Ламой, на которой стоит Волоколамск.

В грамоте представлена редчайшая для ранних берестяных грамот особенность — использование *и* (*изгоя*); это книжная черта. Почерк каллиграфический; профессиональный навык проявился также в написании *коу*.

Отметим беспредложные локативы: *Шидовицихъ* (2х), *Городьцьскѣ*, *Вѣльцинѣ*. Различие между *Вѣльцинѣ* (без предлога) и *въ Ламѣ* по всей вероятности означает, что один из этих топонимов принадлежал к *а*-склонению (*Лама*), а другой — к *о*-склонению (по-видимому, среднего рода: *Вѣльчино*); ср. [ДНД, § 4.7]. Для *Городьцьскѣ* следует предполагать исходную форму *Городьчьско* или *Городьчьскѣ*.

Чрезвычайно интересно выражение *Тудоровъ изгой*. Слово *изгой* (от *из-жити*) по своей внутренней форме означает человека, выпавшего ("выжитого") из своего сословия. *Изгой трои: поповъ сынъ грамотѣ не умѣетъ, холопѣ из холопства выкупитъ, купецъ одолжаетъ; а се и четверток изгойство и себѣ приложимъ: аще князь осиротѣетъ* (церковный устав Всеволода; см. [Срезн., I: 1052]). Для настоящей грамоты подходит только значение 'выкупившийся холоп': Доман был холопом Тудора, но выкупился на волю. Мы впервые узнаём из этой грамоты, что выкупившийся назывался "изгоем такого-то" — подобно вольноотпущеннику в Греции и Риме.

Все имена, кроме *Тудоръ*, — дохристианские. *Нѣгосѣмѣ* — 'любящий семью' (или 'любимый семьей'). Элемент *нѣг-* в составе древних славянских имен хорошо известен, особенно в Новгороде. Напротив, элемент *сѣм-* на восточнославянской почве в составе имен был практически неизвестен; ср. др.-польск. имена типа *Siemomysł*, *Siemowit*, *Siemirad*. *Рокышь* — уникальное имя, по-видимому, родственное словам *рокотать*, *рокот*, а также *рѣкша* 'сизоворонка' (птица). *Рѣжко* — вероятно, производное от корня *рѣз-*. Имя *Доманъ* встречается в берестяных грамотах неоднократно.

Грамота очень важна для изучения проблемы формирования территории Новгородского государства. Коль скоро в ней исчислены недоимки из населенных пунктов, расположенных у восточной границы Бежецкой пятины (Шидовичи — к югу от Вышнего Волочка, Волчина, впадающая в Мологу на границе с Бежецким Верхом), и сам Бежецкий Верх (центром которого был Городецк, а селение Лама обнаруживается против устья Волчины на городецкой стороне), очевидно,

что эти территории были освоены новгородскими государственными пошлинами уже к началу XII в. Это обстоятельство выясняется впервые.

Грамота № 793. Троицкий раскоп, посл. четв. XII в. Усадьба Е.

(... |) ... (о)[в]ьс|а съ възъ и вези же въ село ко раѣ
... [оу] и[ль]кѣ оу полюжда старостѣ аче ти са
... ..ти а [с]амъ не мо[г]и) ... (| ...)

Перевод (с коньектурами): '... [наложи (?)] овса с воз и вези в село к Ра..., [сложи (?)] у Ильки, Полюдова старосты. Если же [он будет возражать (?)], то ты сам не смей [ничего сказать (?)]'. Предположительная реконструкция конца грамоты основана на аналогии с грамотой Смол. 12 (см. [ДНД, Б 33]), которая кончается так: *чи ти поченете (ч)етъ лести(ти) ... , а не мѣзи четъ (м)ѣльвити 'если же он начнет как-либо хитрить ..., то не смей ничего сказать'*.

Тем же почерком написана грамота № 806.

Грамота № 794. Троицкий раскоп, посл. четв. XII в. Усадьба Е.

+ отъ петра к[ъ] маренѣ ци ти пѣць|ѣ
не князь кѣпѣць надѣлвати аѣ
ци ти присъле къ тѣбѣ а ты емѣ мѣ
ѣльви ты княже вѣдаешъ цѣт(ъ)
мѣжъ мѣр|ѣ зимѣси вѣзале т[ъ] --|...

Перевод: 'От Петра к Марене. Если станет князь наделять купцов и придет к тебе, то ты ему скажи: «Ты, князь, знаешь, сколько мужей мор этой зимой унес ...»'. Впрочем, не исключено также, что после *вѣдаешъ* шло относительное предложение с *чѣт<о>* ... *т<о>* ... («Ты, князь, знаешь: сколько мужей мор этой зимой унес, столько ...»).

Заметим, что словоформа И. ед. *мѣре* (= <море>) в др.-новг. диалекте была двусмысленна: это и 'мор', и 'море'. Версия 'сколько мужей море этой зимой унесло' на первый взгляд вполне согласуется с упоминанием о купцах. В действительности, однако, эта версия неприемлема: не говоря уже о том, что зимой морской путь в Новгород (через замерзающий Финский залив) был закрыт, словоформа *вѣзале* (а не *вѣзало*) однозначно указывает на подлежащее мужского, а не среднего рода.

Вероятно, автор письма — это тот же Петр, который послал на усадьбу В грамоту № 550 (письмо к Овраму). Но если это так, то по крайней мере одно из этих писем Петр писал не сам: почерки не совпадают. Марена — явно тот же, что в грамоте № 798.

Представляет интерес наречие *зиму-си* 'этой зимой', где указательный элемент имеет необычную форму *-си* (ср. *-се* в *сѣде-се*, *сѣдѣ-се*).

Имя (или прозвище) *Марена* — то же, что отмеченное у Даля [I: 298] *марена* (малоросс.) 'чучело, которое носят при встрече весны, 1 марта, по улицам и поют веснянки'. Это производное от *марá* 'наваждение', 'призрак', 'привидение', 'род кикиморы', *марить* 'одурманивать' и т. п. Отзвук слова *марена* в новгородской зоне — *день Маремьяны-кикиморы* (в народном календаре: день 17 февраля по старому стилю; см. [СРНГ, 17: 371], с пометой Новг.).

Грамота № 795. Троицкий раскоп, посл. четв. XII в. Усадьба Е.

(... |) ... ко Фомѣ ... (| ...)

Публикуем здесь этот ничтожный обрывок из-за имени адресата. Из того же стратиграфического горизонта в свое время была извлечена берестяная грамота № 671 с именами Фомы, Климяты, Торки, Бориса, Тверьши, Степана, попа, Черьмяна, Сбыслава, соответствующими дворовладельцам раскапываемого участка, которая была трактована как список участников соседской братчины. Фома тогда был предположительно отождествлен с упоминаемым в летописи Фомой Доброшничем [НПЛ: 53, 252, 446]. Обнаружение в том же комплексе грамот, связанных с Доброшкой, подтверждает справедливость этого предположения.

Грамота № 797. Троицкий раскоп, посл. четв. XII в. Усадьба Е.

Ѡ отъ дѣ[м] отъ ди м [д] д

Автор, которого явно звали *Дѣмитръ*, упражнялся в написании адресной формулы. Выписав Ѡ, он предпочел заменить его на *отъ*. Написав *отъ дѣ[м]* (буква *м* не закончена), он решил назвать себя более официально — *Димитрии* и написал *отъ Ди*. В конце строки — орнаментальная сетка из штрихов, в которую вставлены буквы *м* и *д* (явно из имени автора).

Грамота № 798. Троицкий раскоп, 2 пол. XII в. Усадьба Е.

(поклд)[н]аниѣ ѡ завидѣ къ т[ε]--(-)ѣ
къ оу котораго ти сыноу вѣр[ь]ѣ
шь повели оти вѣдада датѣ
тъ маренѣ оже а придоу ти вѣ
даж[ь] опать вѣрьшью же
и поклдѣю ти са

Перевод: 'Поклон от Завида к ... (возможно, к тетке). Тому из твоих сыновей, у которого есть зерно, прикажи, чтобы отдали дань Марене, поскольку я приду и ты тогда отдашь (очевидно, своему сыну) (букв.: отдай) назад зерном же. Кланяюсь тебе.' Марена — несомненно тот же, что в № 794.

В конце третьей строки у автора не уместилось слово *дать*: буква *т* уперлась в самый край грамоты. Очевидно, автор привык делать перенос только по слогам, поэтому он вписал на следующую строку графический слог *тъ*; но лишнее *т* осталось незачеркнутым.

Отметим Р. ед. *у*-склонения *сыноу* (до сих пор форма Р. ед. от слова *сынъ*, важная для грамматики, в берестяных грамотах раннедревнерусского периода не встречалась).

Основная фраза письма — превосходный пример архаического типа относительного предложения: *оу котораго ти сыноу вѣр[ь]ѣ, повели ...* (с опущением слова *тому*). Отметим отсутствие связки. Множ. число словоформы *вѣдада* не согласовано с *сыноу*, а определяется непосредственно смыслом: 'пусть отдадут' (сын может отдать зерно и не сам).

В предложении *ти вѣдаж[ь] опать вѣрьшью же* выступает союз *ти* 'то', 'тогда', который, в отличие от частицы *ти*, в новгородских берестяных грамотах встречается очень редко.

Слово *дать*, по-видимому, означает здесь 'подать', 'дань' (по морфологической структуре ср. *подать*). До сих пор оно было отмечено только в церковных контекстах (в значении 'даяние', 'дар'; см. [Срезн., I: 635]).

Грамота № 799. Троицкий раскоп, посл. четв. XII в. Усадьба Е.

... | рѣзана въ сѣредоу на рѣба
хъ ѿ: въ пѣтъницоу на
рѣбахъ ѿ на смолѣ вѣ
оушькѣ положена коуна
ж радатѣ не възато полъ
третьѣ гривнѣ

Перевод: '... [за то-то] резана. В среду за рыб 10 (вероятно, резан); в пятницу за рыб 10.' Последующий отрезок недостаточно ясен. Конец: 'У Радаты не взято две с половиной гривны.'

В срединном отрезке слова *на смолѣ*, вероятно, означают 'за смолу'; но не исключено и понимание 'за Смолой' (где *Смола* — имя собственное). Неизвестно значение слова *оушькѣ* (т. е. «ушек»); это может быть, в частности, товарно-денежная единица или просто какой-то вид товара. Наконец, *положена* может означать либо 'полагается', либо 'положена на сохранение', 'отложена'. Таким образом, в принципе здесь возможно несколько различных интерпретаций, в частности: 'За смолу 12 (подразумевается: резан). «Ушек» полагается на куну'. Или: 'За смолу 12 «ушек». Отложена куну'. С грамматической точки зрения несколько более вероятно первое, поскольку в древненовгородском диалекте в эту эпоху значение '12 ушек' скорее было бы выражено как *12 оушька*, а не *12 оушькѣ*.

При всей неоднозначности толкования этого текста упоминание в нем сумм, положенных в среду и пятницу за рыб, ориентирует его на нормы "Покона вирного", в котором вирникам назначается пониженное довольствие в постные дни: *а в сѣредоу коуна ѡже сырѣ, а в пѣтъницоу тожде*.

Грамота № 800. Троицкий раскоп, 2 пол. XII в. Усадьба Е.

...[в]оу : але ти с[а е]с[ь]мь за погосто : аци цѣто ми ... | ...

Перевод: '[От ... к] ...ву. Я поручился (взялся отвечать) за погост. Если что-нибудь мне ...'

Грамота № 803. Троицкий раскоп, посл. четв. XII в. Усадьба Е.

(поклад)[а]мнѣ · о[гъ брат]илѣ · къ за...
...[тв]ѣ ти полотьскѣ д... (| ...)

Сохранившаяся часть документа составила из двух маленьких фрагментов, найденных примерно в 4 м друг от друга; их единство было обнаружено не сразу.

Адресат грамоты — почти наверное Завид (на *За...* начинаются только имена *Завидъ* и *Захарья*); естественно видеть в нем то же лицо, что в № 665 и 798. Имя автора (*Братила*) читается, к сожалению, не совсем надежно.

Написания *Братилѣ* и *Полотьскѣ* позволяют думать, что в этой грамоте *ѣ* не заменялось на *е*. В этих условиях на ...*тве* могут оканчиваться, по-видимому, всего лишь две др.-новг. словоформы: И. ед. муж. *мьрътве* и *чьръстве*. Отсюда единственная правдоподобная конъектура: (*мьрь*)[*твѣ*] *ти Полотьскѣ* Д... 'умер вот в Полоцке Д...' Типовой структуре берестяных писем такое начало соответствует очень хорошо; ср. начала типа *Гюръги ти дошьле* (в № 165), *сторови ти есме вохе* (в № 670) и т. п. Относительно *мьрътве* в значении 'умер' см. [ДНД: 421—422].

Это уже третье упоминание Полоцка и полочан в берестяных грамотах (после № 502 и 636).

Грамота № 804. Троицкий раскоп, посл. четв. XII в. Усадьба Е. Грамота отрезана от того же куска бересты, что № 797 (но почерки не совпадают).

отъ незнамънка къ рюрѣ хоцеси ли платити ·ѣ· гривнъ али не хоцеси
а поѣди въ городъ

Перевод: 'От Незнанка к Рюре. Собираешься ли платить 6 гривен? Если не собираешься, то поезжай [на суд] в город'.

Оба имени встречены впервые. *Незнанъко* — уменьшительное от *Незнанъ* (ср. *Неданъ* и т. п.). *Рюрд* — явно уменьшительное от *Рюрикъ*. До сих пор имя *Рюрикъ* (из скандинавского, ср. др.-исл. *Hróðrekr* < прагерм. **Hrōð a-rīkaz* 'славной могучий') встречалось в древнерусских источниках только в качестве княжеского. Грамота № 804 показывает, что по крайней мере в Новгороде этого ограничения не было.

Грамота № 805. Троицкий раскоп, посл. четв. XII в. Усадьба Е.

...|люч(є) [χ]ото(сла)|в|лю [з]емлю [к]ром[ѣ] т|р|ѣ|-----
ож[є] (т)|и| съв[ь]р[ь]ж[є](тъ) [шиш]акъ рало посли же с=|
--- (на) [жит]ици(є) ----- (от)|р|окомъ оти орють орогъ
а а пышеничю · пр(а)|вл|ю · а отрок- [о]же ти шишакъ
гонить [-] посади же въ радъко[в](ѣ) [в]ежькѣ

Сохранившаяся часть письма собрана из целой серии фрагментов, найденных по отдельности. Левая часть первых двух строк не примыкает к остальному массиву вплотную; поэтому величина разрывов здесь определяется лишь приблизительно.

В предпоследней строке после *отрок* виден краешек горизонтального штриха; он допускает как реконструкцию *отрок[ѣ]*, так и *отрок[ы]*.

В первой строке без труда читается 'Хотославоу землю, кроме Тре... (или: за пределами Тре...)'. Хозяина этой земли Хотослава, вероятно, можно отождествить с Хотеславком (или Хотеславцем), которому адресовано письмо № 654, найденное на усадьбе Г. Буквы *люч-* в начале строки — может быть, конец словоформы *заемлюче* 'захватывая' или *ѡемлюче* 'отнимая'. Не исключено, например, что какие-то люди пахали, захватывая при этом часть Хотославовой земли (т. е. нарушая межу).

Во второй строке читается: 'Если же сбросит Шишак рало, то пошли ...' По аналогии с известной по Русской Правде (ст. 20) формулой *а оже съвержетъ*

виру 'а если сбросит с себя виру (т. е. освободится от виры, отведет от себя необходимость ее платить)' следует понимать, что *рало* здесь — не 'плуг', а 'поралье', 'налог с плуга' (как в грамоте № 663). Речь идет, таким образом, о том, что Шишак может в ответ на какие-то предписываемые адресату действия (скорее всего карательного свойства) отказаться платить поралье; возможно, это просто значит, что он откажется далее сидеть на этой земле. Адресат в этом случае должен послать с--- (может быть, *соху* — 'небольшую крестьянскую общину?') на *житище*, т. е. поле из-под ячменя, и велеть "отрокам" пахать лошину. Дальнейший текст сохранился почти целиком: 'А я пшеницу пришло. А отроков если Шишак начнет гнать, то посади [его] в Радкову башенку'. Последняя, как можно полагать, могла при необходимости использоваться в роли тюрьмы.

В графике и в морфологии автор так близок к книжным стандартам, что новгородское происхождение грамоты проявилось только в цоканье (*пшеничию*) и в *к* (а не *ц*) в [в]ежъкѣ (двусмысленное *отрок* — не в счет).

Отметим употребление презенса *гонить* в значении будущего времени: *оже ти гонить* 'если же будет гнать'; аналогично *правлю* 'пошлю', 'пришлю'.

Слово *житище* (от *жито* 'ячмень') в говорах известно: *жѣтище* 'подсечная нива из-под сжатого ячменя', 'поле, с которого убрано жито' Олон., Новг., Калинин., Петерб. [СРНГ, 9: 190].

Слово *орогъ* встречается впервые. Очевидно, это то же, что диалектное (северо-западное) *орга* 'болотистое топкое место', 'лощина, овраг между горами, холмами' (и ряд близких значений) — [СРНГ, 23: 330] (с пометами Арх., Олон., Ленингр., Север., Волог.); см. также [Слов. XI—XVII, 13:62]. Слово заимствовано из карельск. *orgo* 'влажная долина, низина' (финск. *orko*, эст. *org*), см. [Фасмер, III: 149]. Известно также производное *орожный* (о дереве) Олон. [СРНГ, 23: 345]. Варьирование *орга* — *орогъ* скорее всего связано с возможностью исчезновения конечной гласной в самих прибалтийско-финских диалектах. Наряду с *орга* известен также вариант *ворга* (с вторичным *в*), см. [СРНГ, 5: 98, Слов. XI—XVII, 3: 29, Фасмер, I: 351]. В связи с этим представляет интерес слово *ворог* 'овраг' Осташк. [СРНГ, 5: 108]: возможно, оно связано не с *враг* 'овраг', а именно с *орогъ*, представленным в настоящей грамоте.

В написании *орогъ* интересную проблему составляет второе *о*. Заимствование из *org-* (не слишком древнее) должно было дать *оръгъ-*. Возможно, *орогъ* — это и в самом деле лишь форма записи для <*оръгъ*>. Однако других замен *ъ* на *о* в грамоте нет, поэтому более вероятно всё же, что за этим *о* стоит настоящее [o]. Это либо просто результат прояснения сильного *ъ*, либо особый тип уподобления сочетания *оръ* полногласному *оро* (как, например, в слове *уборокъ* 'мера зерна' <*уборъкъ*>, у которого в Синодальном списке Русской Правды [и многих других списках] Р. мн. имеет вид *убороковъ*). Различить эти две возможности можно было бы лишь при наличии какой-то косвенной формы, скажем, Р. ед. *оръга* (*орга*) или *орога*.

Слово *отрокъ*, по-видимому, имеет в настоящей грамоте несколько иное значение, чем в большинстве других берестяных грамот, где так обозначается младшее должностное лицо. Поскольку в данном случае отроки должны пахать лошину, скорее всего речь идет о какой-то категории зависимых от адресата крестьян.

Вежка — уменьшительное от слова *вежа*, имевшего целый ряд значений, в частности, 'шатер', 'палатка', 'легкая постройка', но также и 'отдельно стоящая постройка вообще' и специально 'укрепленная постройка', 'башня'.

Имя (прозвище) *Шишакъ* встречается впервые. Лишь на четыре века позже отмечено нарицательное *шишакъ* 'островерхий шлем'. В древнерусскую эпоху в этом значении засвидетельствовано только *чичакъ* (в частности, в берестяной грамоте № 358, сер. XIV в.) и *чечакъ*. Характер связи между *шишакъ* и *чичакъ* (*чечакъ*) остается проблематичным (ср. [Фасмер, IV: 355, 445]). Не исключено, что прозвище *Шишакъ* ассоциировалось не с шлемом, а со словами *шишь*, *шишька*.

Грамота № 806. Троицкий раскоп, посл. четв. XII в. Усадьба Е.

Два срединных фрагмента (соответствие строк лишь предположительно):

...єзе [ж]...

мене борисе а повѣжь є[м](оу) ...

...а...

[х]от[а] · а поуцт...

... отъ степана къ [б]є...

Фрагменты конечной части грамоты:

то же а даало коу(н)...

а брате его добр...

...оу а ж[и]----- з[а](сла)ло въ пого-

сть въ въхъ то [с]...

...(гри)вѣмъ а по пол(оу)цѣвьрьтѣ м(а) мѣсачь

Из первых фрагментов извлекаются в основном лишь имена: Борис, Степан, чей-то брат Добр... (Доброшка?). Но заключительная фраза письма в общих чертах понятна: 'А Жи... (может быть, Жирослав) заслал в весь погост такое [слово (?): «... столько-то] гривен — по три с половиной на месяц».'

Представляет чрезвычайный интерес отрезок *въ пого|сть въ въхъ* (сохранившийся, к счастью, без утрат). *Въхъ* здесь бесспорно означает 'весь'. Это очередной пример *х* (а не *с*) в данной основе, но, кроме того, свидетельство раннего перехода *въхъ* в *вѣхъ* (ср. В. ед. *животъ* ... *вохъ* в грамоте 1412 г. — [ДНД: 576]). Очевидно, этот переход представлял собой ассимиляцию корневого [ъ] последующему [ъ].

Грамота № 808. Троицкий раскоп, посл. четв. XII в. Усадьба Е.

стъпане

брьвьмъ

Наиболее вероятная интерпретация: 'Степан Бревно' (имя и прозвище). Менее вероятны: 'Степаново бревно' (ярлычок); 'Степан — бревно'.

•

Помимо берестяных грамот на Федоровском раскопе был найден круглый плоский слиток свинца с началом азбуки (= свинцовая грамота № 2), палеографически датируемый 2 половиной XII в.:

а б в г д

є ж з з и к

Там же в слое XII в. обнаружен деревянный цилиндр с надписью:

...|ре въ ·є

гривн

На Троицком-ХІ раскопе в слое середины ХІІ в. усадьбы Р найден фрагмент деревянной чаши с надписью:

· [А]къшина · шри-ни(на)

Это владельческая надпись: хозяевами дома были Якша (т. е. Яков или Яким) и Орина.*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Даль — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. М., 1955.
ДНД — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.
Ипат. — Полное собрание русских летописей. Том второй. Ипатьевская летопись. М., 1962.
Каринский Н. М. 1909 — Язык Пскова и его области в XV веке. СПб., 1909.
Карский Е. Ф. 1955 — Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 1. Исторический очерк звуков белорусского языка. М., 1955.
Комисс. НПЛ — Комиссионный список Новгородской I летописи.
Марасинова Л. М. 1966 — Новые псковские грамоты XIV—XV веков. М., 1966.
НГБ 1955 — А. В. Арциховский, В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.). М., 1958.
НГБ 1977—83 — В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951—1983 гг.). М., 1986.
НПК — Новгородские писцовые книги. Т. I—VI и указатель. СПб., Пг., 1859—1915.
НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.—Л., 1950.
РГБ — Российская Государственная библиотека в Москве (ранее: ГБЛ).
Синод. НПЛ — Синодальный список Новгородской I летописи.
Слов. XI—XVII — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1—. М., 1975—.
Срезн. — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I—III. СПб., 1893—1903.
СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1—. М.; Л., 1965—.
ССУМ — Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. Т. 1—2. Київ, 1977—1978.
Фасмер — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1964—1973.
Шахматов А. А. 1915 — Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
Шахматов А. А. 1957 — Историческая морфология русского языка. М., 1957.
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1—. М., 1974—.
Popkonstantinov K., Kronsteiner O. 1994 — Старобългарски надписи. Altbulgarische Inschriften // Die Slavischen Sprachen. Bd. 37. (Salzburg), 1994.

* Работа выполнена при финансовой поддержке INTAS/РФФИ (проект № 95-0368) и РГНФ (проект № 96-01-00567).

© 1998 г. Е.С. ЯКОВЛЕВА

О ПОНЯТИИ "КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ"
В ПРИМЕНЕНИИ К СЕМАНТИКЕ СЛОВА*

Памяти моего учителя –
Веры Арсеньевны Белошапковой

1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ

1.1. О двух аспектах культурно-исторической мотивации современного словоупотребления. То, что обращение к историческому прошлому слова может помочь в уяснении его смысла, закономерностей употребления и на синхронном уровне, не нуждается в особых доказательствах. Интерес представляет установление самого круга языковых явлений, с неизбежностью требующих применения метода "культурно-исторической диагностики", а также конкретные результаты подобного рода описаний.

Как кажется, о культурно-исторической мотивации семантики современной языковой единицы можно говорить в двух аспектах.

1.1.1. **Первый аспект.** Отдельные, не связанные между собой случаи, когда затемненный для современного сознания первоначальный смысл влияет на словоупотребление, неявно мотивирует его.

Сошлемся в качестве примера на весьма характерный фрагмент из Ф.И. Буслаева: "Определяя точный смысл каждого синонима, мы не только достигаем точности в уразумении самого понятия, словом выражаемого, но и придаем отвлеченному понятию живость первоначального впечатления (разрядка наша — Е. Я.). Для точного определения синонимов надлежит обращаться к старинному и народному языку, где с большей ясностью высказывается происхождение и первоначальное значение слов. Например, синонимы *труд* и *работа*, теперь определяемые только по различным понятиям, с этими словами соединенными (*труд* — понятие об усилении, *работа* — о производстве самого дела — Е. Я.), первоначально отличались весьма резко, указывая на различные впечатления, тем и другим словом выраженные: слово *труд*, кроме нынешнего значения, употреблялось в смысле бедствия, болезни, страдания; например, *беззаконіе и трѣдѣ посредѣ егѣ и неправда*, Псалт. 54: 11; слово же *работа* означало не только дело, но и рабство; например, в Изб. Свят. 1073 г. *не сътрѣпѣ свободы, то приими работу...*" [Буслаев 1959: 293], ср. еще (из Первого послания Ивана Грозного Андрею Курбскому): *Вспомяни же, егда бог извождаше Израиля из работы* [Переписка...: 21]. Об этом же в другой работе Ф.И. Буслаева читаем: "*Труд* — бедствие, болезнь, страдание душевное: *нищѣ есмь азъ и въ трѣдѣхъ отъ юности моея* (Пс. LXXXVI, 16) (...) *Работа* — рабство, от глагола *робити* — делать: *а другіе работѣ предасть мужемъ своимъ* (Нест. по Лавр. сп., 31)" [Буслаев 1992: 304]. Ср. толкования данных слов у П.А. Гильтебрандта: *трѣдѣ* — труд, доука,

* Работа осуществляется при поддержке РГНФ, инициативный проект 97-04-06234.

беспокойство, досаждение, болезнь [Гильтебрандт, VI: 2190]; работа — рабство, дело (Там же, V: 1741) ¹.

Этот экскурс в историю языка помогает понять, почему в современном словоупотреблении *труд*, в отличие от *работы*, не используется относительно неодушевленных агентов (предметов, артефактов..), ср. *работа* (а не *труд*!) *этого механизма*; почему о *работе*, а не о *труде*, мы говорим в случае обсуждения сроков выполнения (*эта работа занимает 2 часа*), места (*эта работа может быть выполнена дома*) и др. “технических” обстоятельств

Другой пример. В современном литературном языке можно наблюдать семантическое сближение между словами *известный* и *определенный* в тех случаях, когда они используются в роли модальных модификаторов — показателей неопределенности, ср.: *В деле наметился известный / определенный (= некоторый) сдвиг*; *Мы достигли известных / определенных (= некоторых) улучшений* (подробнее об этом см. [Яковлева 1994: Гл. 3]). Это сближение разных по “качеству” прилагательных (ср. *Это очень известный фильм* и *Дай мне совершенно определенный ответ*) может показаться произвольным. Однако оно имеет свои истоки. В церковнославянском языке *извѣститисѧ* значило “удостовериться, несомненно узнать” [Гильтебрандт, II: 764]; наречию *извѣстнѣ* соответствовали смыслы “достоверно”, “точно”, “определенно”, “подлинно”, прилагательное же *извѣстнѣи* значило “достоверный”, “подлинный”, “уверенный”, “знаемый”, “ведомый”, ср.: *сами бо въ извѣстнѣ вѣсте* (1 Фессал. 5: 2) — ведь вы сами хорошо (“достоверно”) знаете; *шедше испытаете извѣстнѣ* (Мф. 2: 8) — пойдите тщательно разведайте... [Гильтебрандт, II: 764] Не только в языке евангелий, но и в летописях можно встретить примеры подобного использования слов из данной лексико-семантической группы, ср.: (*извѣститисѧ* = “удостовериться”) — *А извѣстимся и ѿще, ако на семь пути ни тяжи имѣти, ни которого же извѣта. Ин л 6655 г.* [Срезневский, I: 1045]; (*извѣщатисѧ* = “утверждать”) — *Извѣщаю передь вами, да Богъ ми будетъ , яко не послати ми къ Всеволодовичю. Ин л 6672 г.* (Там же.: 1050). Таким образом, исторически *известный* и *определенный* находятся в близких, синонимических, отношениях, и именно на основе этой “близости” рождается вышеупомянутая модализация — употребление слов с семантикой “достоверность”, “определенность” в роли показателей неопределенности.

Мы привели примеры исторической мотивации современного употребления, между которыми нет связи, позволяющей говорить о каких-либо эволюционных тенденциях.

1.1.2. Второй аспект. Это как раз случаи системных эволюционных преобразований. В первую очередь здесь имеется в виду, конечно, церковнославянская лексика, о которой В.В. Виноградов сказал с присущей ему категоричностью: “ миграция церковнославянизмов — центральная проблема русской литературной речи” [Виноградов 1977а: 12]. Одним из важнейших факторов, определивших миграции церковнославянизмов, является “русское литературное двуязычие, или билингвизм, в донациональную эпоху” [Виноградов

¹ Вообще говоря, в древнерусском языке слова *трудъ*, *болѣзнь*, *педушкие*, *нищета* образуют единую понятийную область “нужды” (страдания, испытания), ср. *нападоша на мя пакы беси и зело мя утрудиха* [ЖАвв 60], *Болѣзнь житѣя сего Паис сб* [Срезневский, I 149], *очи мои изнемогостѣ ѿ нищеты* (Пс 87 10) [Гильтебрандт 231] Последний пример не случаен понимание *нищеты* как “бедствия”, “страдания” для древнерусского языкового сознания связывалось, прежде всего, с Псалтырью (см [Дьяченко 1993 355]) Думается, что современные коллоквиализмы типа *болеть за кого / за что-либо*, *большевик* восходят к этому пониманию *болести* как “беспокойства”, ср. *Нижше бо о сроднищих по плоти тако болезиую (= “страдаю”, “беспокоюсь”), о вас же рыдая не престая* [ЖМор 124], *Что же, собака, и пишешь и болезиуешь* (в переводе — *жалуешься*, т.е. опять же “беспокоишься”), *совершив такую злобу* [Переписка 17]

1967 118]. Как известно, в результате распада этого билингвизма, в условиях современной языковой ситуации, за церковнославянизмами закрепляются особые функции — выражение абстрактного, возвышенного, поэтического содержания [Успенский 1994: 118]². Приведем в пояснение лишь один пример, поскольку в дальнейшем не будет недостатка в языковом материале, иллюстрирующем эту общую тенденцию семантической эволюции церковнославянизмов. Некогда слово *дѣтище* могло пониматься не только абстрактно, но и конкретно — в значении ‘младенец, отрок, дитя, мальчик’: нѣкая жена държачи дѣтищѣ *Пр Л. XIII* [СДРЯ, II. 166] ; в современном языке *детиче* истолковывается только абстрактно — как плод творческой, интеллектуальной, ментальной деятельности.

Как и в примерах из п.1.1.1, так и в этом, втором, случае слово изменило свой исконный смысл, но “помнит” нечто из своего прошлого. Но если там “запомнились” случайные характеристики, то здесь, как мы постараемся показать далее, — существенные, связанные с исконным предназначением слова, относящиеся к системе ценностей языкового социума, характеризующие особенности мышления и мировосприятия носителей языка. Именно в этом случае можно говорить о семантической эволюции слова как результате действия его “культурной памяти”. И именно этот аспект культурно-исторической мотивации будет предметом настоящей работы

Замечание. Во избежание путаницы и недопонимания несколько слов о терминопотреблении “Церковнославянизм” понимается нами расширительно, скорее, как синоним “книжного” слова (в противоположность “бытовому”, “разговорному”) — с акцентом на функциональном, а не на генетическом аспекте значения. В сущности, то, что в дальнейшем именуется церковнославянским с полным основанием могло бы называться древнерусским (или старорусским) литературным языком — не случайно практически весь наш иллюстративный материал покрывается словарями таких изданий, как [СДРЯ] и [СлРЯ XI—XVII вв.] Но поскольку “единственным фундаментальным текстом, который служит эталоном для всей остальной (древнерусской — *Е Я*) книжности вне зависимости от ее частных характеристик, является Св Писание” [Живов 1996 61]³, название книжного языка “церковнославянским” кажется нам не только оправданным, но и целесообразным при сопоставлении старорусского и современного русского литературных языков оно помогает высветить оппозицию “духовное” / “светское”, которая, как мы увидим далее, оказывает существенное влияние на процессы семантических преобразований в ряду церковнославянской — книжной, литературной — лексики

Итак, в современном языке церковнославянизмам присуща абстрактность, умозрительность. Сейчас это семантические составляющие соответствующих языковых единиц; некогда же “умозрение”, “абстрагирование” существовали на уровне сознания — как особенности мировосприятия. Наследуя эти особенности, церковнославянизмы несут следы иного мировоззрения, иной картины мира. Остановимся на этом вопросе.

1.2. Умозрение: в картине мира / в значении слова. Необходимым атрибутом религиозного сознания является способность к “мысленному, умному зрению, видению”, предполагающему противопоставление объектов и ситуаций по линии материальное / идеальное, физическое / духовное, внешнее / внутреннее. Восприятие мира как “видимого и невидимого здания” (= творения Бо-

² Как бы ни решался вопрос о “наличии / отсутствии диглоссиной ситуации в Древней Руси” (дискуссию на эту тему см в [Кречмер 1995]), доминантность этой линии функциональных эволюционных преобразований церковнославянизмов на современной языковой почве представляется бесспорной

³ В М Живов здесь развивает известные положения Р Пиккио о роли Священного Писания в истории русской средневековой словесности и одновременно полемизирует с ним, акцентируя безальтернативность сакрального Образца для *Slavia Orthodoxa* “тогда как для Византии и Западной Европы” эталоном могли служить «и “классические” (т е античные) авторы» [Живов 1996 43] (о работах Р Пиккио, посвященных славянскому Средневековью, см в [Седакова 1992])

га)⁴ характеризует носителя древнерусского языка. О значимости различия “материального” и “идеального” в этом языке свидетельствуют весьма характерные противопоставления: *ока* “внешнего” (*телесного, плотского*) и “внутреннего” (*духовного, умного, сердечного*), *молитвы* “простой” (словесной) и *умной* (мысленной) и даже *уха* “внешнего” и “внутреннего”, ср.: *Есть же зовемое оухо внѣоуду, видимое всѣми, естъ же и другое внутрюоуду. Пал. XIV в.* [Срезневский, III: 1329] (вариантом “внутреннего уха” может выступать и “ухо умное”. *Аще и слѣха моя оглѣшити, но слѣхѹ оумною не оглѣшити ми. Муч. Зосим Мин сент XV в* [Срезневский, III: 435]).

Поскольку “внутреннее”, “безвещественное” предпочиталось “внешней тине и мятежу”, само слово *вънѣшній* соотносится с такими понятиями, как “ложный”, “обманчивый”, “неистинный”, ср.: *Не внешняя бо мудрости искаше, но паче горних желая и к ним подвизашеся* [ЖСавв.: 26]; *Не зри внѣшняя моя, но зри внутреная. Сл Дан Зат.* [Срезневский, I: 392]

Становится понятной терминологическая значимость в средневековом языке оппозиции *вънѣшній / въноутръний*. Наряду с тривиальным значением “находящийся внутри”, слово *въноутръний* имело и такие, как “соответствующий правилам христианства, духовный” — (и) *въноутрънюю двѣю юже паче жених любить. неч(с)тными помыслы растлѣвати. ПНЧ XIV* — и “христианский (не языческий)”: *наоучи же са не точию стѣмъ книгамъ. но и внутренему и внѣшнему писанию. и бѣ мдрѣ зѣло. Пр Юр XIV* (толкования и примеры из [СДРЯ, II 188—189]). Соответственно, и слово *вънѣшній* могло пониматься как “чужой, посторонний” — *труд(х) наши(х) къ внѣшним(м) елиномъ и жиде(м). ГБ XIV*, — “мирской, светский” — *Мниха обрѣтающагося въ крчмѣ достойть оумоудрити. оубо въ властехъ внѣшнихъ. посаднакомъ да оумоудрит(с) ПНЧ XIV*, — “не соответствующий правилам христианской морали; чувственный, плотский” — *безъ претыкания подобаетъ намъ быти. ко внешнимъ КР 1284*, — “языческий, нехристианский”. и оучению *вънѣшнему* прикасашеся *ЖФСт.* [СДРЯ, II: 194—195]. Ср в этой связи обмен любезностями между Иваном Грозным (первый пример) и Андреем Курбским (второй пример — отклик): *Понеже бо и во внешних писаних древних реченно есть, но обаче прилично. (...)* [Переписка 32] (перевод: *Говорит же древнее изречение, хоть и мирское, но справедливое: (...)* [Переписка .: 142]) и *. . не токмо внешней философии искусны, но и во священных писаниях силны* [Переписка .: 106]

Важно, однако, что при всей антагонистичности “внешнего” (видимого, материального) и “внутреннего” (невидимого, идеального) оба эти полюса описываются одним языком⁵: в приведенных выше примерах — и это весьма

⁴ Ср *Нѣо естъ обатье видимаго и невидимаго зѣданиа Ио екс Бог 121* [Срезневский, II 571]

⁵ Сказанное, разумеется, не означает, что в церковнославянском отсутствует абстрактная лексика, соотносящаяся — в оппозиции феноменального / ноуменального — с последним, умопостигаемым, началом. О кирилло-мефодиевской традиции терминотворчества при переводе с «привыкшего к философствованию» греческого языка» пишет Е. М. Верещагин [Верещагин 1982, 1988]. Замечательно, что “первый философский термин на славянской почве” родился в результате отождествления лексемы *слово*, обладающей “обиходно-бытовой семантикой”, по существу, с непереводаемым “ключевым философским термином” *λογος* [Верещагин 1982: 105—107] (о древнерусской философской терминологии см также [Юрченко 1988]). Говоря об одном языке для описания полюсов “внешнего” и “внутреннего”, мы имеем в виду принципиальную открытость многих церковнославянских лексем к интерпретации в терминах “физического” / “духовного”. Это кажущееся неразличение конкретного и абстрактного, свободное переключение из одного плана в другой, не требующее использования специального языкового кода, хорошо соответствует представлениям об окружающем человека мире как о двойном бытии — с параллелизмом материального и идеального, который выражается уже самим тождеством называния.

характерно — “умозрительность” не является собственной семантической составляющей слов (*очи, молитва, мудрость*), но привносится с определением, спецификатором, ср.: Стоящоу роукама съвзанома въздѣ срѣдчное око къ Боу. *Мин Пут XI в.*; Стражець внѣшнии члѣк *Пат Син XI в* [Срезневский, I: 392]; но аще и внѣшній нашъ члѣвѣкъ тлѣетъ, обаче внѣтренній ~~внѣвнѣетъ~~ по всѣмъ дни. 2 *Коринф 4 16* [Гильтебрандт, II: 537]. Весьма показательны следующие примеры из [ЖЕп. 100], текста XVII в.: *И скоро наиде на мя сон мал И вижу сердечныма очима моима: темничное оконце мое на все страны широко стало и свет велик ко мне в темницу сияет < > Аз же отворил очи мои телесныя и поглядел на оконце мое темничное.*

Часто слово просто обладает потенциалом двойного осмысления и истолковывается исходя из контекста, например, зрѣти — это и “видеть”, и “иметь в мыслях” (зрѣти на *Володимѣрь* — думать о Владимире [Дьяченко 1993: 207], см. также примеры из [Срезневский, I: 1011—1013]); животъ — это и “жизнь, органическое существование” (сконча животъ — окончил жизнь, при своемъ животѣ — при жизни), и “жизнь блаженная, вечная” (Тесенъ поутѣ въводи въ животъ (Мк. 7: 4); Глагола емъ Исѣ: азъ емъ пѣть и истина и живота (Иоан. 3: 36) — современный перевод этих стихов с необходимостью использует спецификатор); будѣшнии — это не только предстоящий в этой жизни, но и загробный (Въ будѣшемъ вѣцѣ спасаеми (есмы) Богомъ. *Феод Печ Отв.*; Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века...)

Слова с пространственной семантикой, выражающие идеи перемещения, местоположения, в церковнославянском (и шире — старорусском) языке, как правило, обладают относительной свободой осмысления в терминах физического / духовного, материального / идеального. К примеру, смысловой диапазон слова пѣть простирался от конкретно-пространственного, близкого значению современной *дороги* до такого абстрактного, как “повод, причина”, ср *Дѣва слѣпца, съѣдаца при пѣти Мф ХХ 30* [Евангелие] и Крымские Татарове .. безъ пути начаша воевати *Соф. вр 7025; въздвигнути* — имело значение, близкое к ‘поднять’, поэтому *воздвигнути* можно было и *глаза, и руку, и голос*, а также — *город, стену...*, ср. *Очи въздвижоу. Изб. 1073; Въздвигъ руцѣ на нбо. Нест Бор.* [Срезневский, I: 350]; слово *съвергнути* — это ‘снять, переместить вниз’, пример из [Гак 1985] *Свергъ порты* — “скинув одежду”. То же, что сегодня называется этим словом, зачастую описывалось с помощью глагола *спихнути*. А иные люди съ степеня на вѣчи спихнули его и онъ поѣхалъ изо Пскова съ безчестиемъ на Москву .. жаловатися на Псковъ *Псков 1л 6971 г* [Срезневский, III: 793]. Сама эта *степень* могла осмысляться и конкретно — “ступень”, — и абстрактно — “должность” (именно так ее надо понимать в последнем примере).

Иными словами, в исконном употреблении слова с пространственной семантикой парадоксальным образом были более абстрактными, нежели в современном.

Замечание. Здесь нам хотелось бы сослаться на работу В Г Гака “К эволюции способов речевой номинации” [Гак 1985], в которой представлены результаты сравнительного анализа древнерусских текстов с их современными переводами. Проведенный В Г Гаком анализ, позволяет сделать вывод о том, что древнерусскому языку в большей степени, чем современному, было свойственно такое явление, как гиперонимия (абстрактность) лексем в тексте. Тенденция же к лексико-семантической конкретизации в полной мере проявилась лишь в последнее столетие. В Г Гак, в частности, приводит пример, поразительно напоминающий нам современные английский или французский языки *ити* в древнерусском прилагался и к ползущим, и к летящим, и к плывущим объектам, ср *Видя мравѣище и тѣхъ множество*, исходяща и входяща *Жит 1о Черн* [Срезневский, II 183], *Пришедшимъ врломъ и многимъ ворономъ, яко вблокоу великоу Ип лет 6757, Приидоша ѣмъ воевать въ Ладозское озѣро въ лодкахъ Новг 1л 6736* [Срезнев-

скии, II 1757], Далече заиде соколь, птиць бья к морю *Сл и И* [Срезневский, III 459] Как кажется, еще более яркой иллюстрацией абстрактности глагола *ити*, его отрешенности от физических параметров “идушего” объекта, может служить следующий фрагмент и *бъзистъ облакъ шѣнѣла нхъ и прїиде гласъ из облака Марк 9 7* (цит по [Гильтебрандт, III—IV 1256])

Помимо чисто содержательного интереса, работа В Г Гака представляет для нас и в идеальном плане весьма ценный опыт думается, что подобного рода сравнительные исследования (“прошлого” и “настоящего” в языке) помогают понять внутреннюю логику, мотивы, причины и пути языковой концептуализации

Поэтому, когда мы говорим, что в условиях современной языковой ситуации, которая характеризуется “двумерностью” (термин Б. Унбегауна) — взаимодействием двух языковых стихий, русской и церковнославянской, — за церковнославянизмами закрепляется “книжность”, с ее абстрактностью, возвышенностью, поэтичностью, это обретение “абстрактности” не следует понимать как переход от частного к общему, от гипонима к гиперониму (сфера употребления церковнославянизмов, как мы увидим ниже, напротив, сужается); “абстрактность” в данном случае — это отвлечение от физической конкретики, выход за пределы физической пространственности в умозрительные сферы. Ср.: *прѣходити* (из кельи в келью, из города в город) [Срезневский, II: 1712] и *преходить* (“оканчивать земное существование”), *наслѣдїе* (“наследство”, понимаемое в конкретном, имущественном, плане) и *наследіе* (“наследство” духовное), *наитїе* (“нашествие”: *Избави ны изъ напасти и скръби и бѣдъ всачьскихъ и наитїа поганыхъ. Мин 1096 г* [Срезневский, II: 289]) и *наитїе* (духовное внушение); *снѣденїе* (“съедение”. *Мы же со владыкою приказали ево среди улицы ввергнути псом на снадение* [ЖАВв.: 17]) и *снадение* (“эмоциональное”, “душевное”)...

Замечание. Разумеется, реально процесс семантических преобразований не был односторонним. В современном русском языке есть и такие слова, которые эволюционировали в сторону конкретизации значения. Например, первым значением слова *область*, согласно и П А Гильтебрандту, и И И Срезневскому, является “власть, господство” *И дана еѣ область имъ вѣдїти челоуѣкъ пать мѣсць Апокалипс 9 10* [Гильтебрандт, III—IV 1256], *Дастъ намъ область на дїавола Панд Аит XI в* [Срезневский, II 516], *По сану и по области, иже ми далъ Богъ, учю вась, свонхъ дѣтен, а вы моего слова слушайте Грам Кипр Псков 1395* [Срезневский, III 437], ср цитирование Иваном Грозным строк из (Лук 22 52—53) *Яко ни разбойники изыдоша со оружием и дрекольми яти мя По вся дни бех пред вами, уча в церкви, и не прострости руки на мя, по сие есть ваша година область темная* [Переписка 46] И Срезневский, и Гильтебрандт у слова *жиръ* — как основное — отмечают значение “богатство, обилие, избыток” Вспомним из “Слова о полку Игореве” *Печаль жирна утече средѣ земли Рускыи* или оттуда же *Въстали обиди , убуди жирна времена* Хорошен иллюстрацией развиваемого в этом замечании контрастуса является соотношение абстрактного, идеального и конкретного, “реалистического” у таких слов, как *непосѣдливый* (только о человеке, вполне определенных его характеристиках) и *непосѣдны* — стремительный, неудержимый Быстрина *непосѣдныа Никон Панд* [Срезневский, II 412] Вообще, “эволюция способов речевой номинации” была куда более сложной и внешне — менее предсказуемой Мы же из ряда возможных альтернатив указываем ту, которая имеет непосредственное отношение к нашей теме

Итак, в современном русском литературном языке благодаря сопряжению двух языковых стихий антагонизм “внутреннего” и “внешнего” находит достаточно последовательное языковое выражение. При этом в оппозиции “материальное” / “идеальное” маркированным оказывается именно “идеальный” компонент: слово, помеченное соответствующей семантикой, не способно описывать физически конкретные — “внешние”! — предметы. Таким образом, то, что в церковнославянском обладало потенциалом двойной интерпретации, “в перспективе носителя русского языка” [Успенский 1994 188] обладает однозначной предметной соотносительностью: мир “идеального”, “умозрительного” получает в этой перспективе специальные языковые средства выражения.

Несколько примеров в пояснение сказанного. Церковнославянизмы *отверсты* и *восприятие* в следующих строках из [ЖМор.. 118] могут быть поняты и конкретно, и абстрактно (как актуализаторы “духовного” в “физическом”) ... *наш дом отверсты врата имея к восприятию странных рабов Христовых*. В современном же языке круг объектов “восприятия” ограничен духовной, ментальной сферой. Яркой иллюстрацией абстрактности исходных церковнославянизмов, вернее — их открытости к реализации как абстрактного, идеального, так и конкретного, материального содержания может служить следующее словоупотребление: ... *от великого глада сдается великая Феодора* [ЖМор.: 143]. Свобода от конкретного, “вещественного” проявляется в этом примере с особой отчетливостью: понятийно противоположные сущности поставлены в одноронный ряд — “голод” оказывается способным “поедать”.

Наличие у церковнославянизмов в исконном употреблении этого потенциала двойной актуализации и создает определенные трудности при их переводе на современный язык, ср.: *Те убо плоды дел своих снутят* [Переписка...: 157]. Слово *плody* употреблено в переносном значении, следовательно, *снутят* исключает конкретно-физическое осмысление. Но поскольку для современного сознания за *снутием* закрепилась вполне определенная “питательная” среда, переводчик должен искать ближайший “абстрактный” аналог “...вкусят .”, читаем мы в переводе (с. 157), либо же “пожнут (плоды своего труда)”, подсказывает нам память и интуиция.

1.3. Содержательная интерпретация “умозрительности” церковнославянской лексики. “Умозрение” в применении к церковнославянизмам обладает вполне определенным содержанием и поэтому может рассматриваться как особая категория. В основе этой категории лежит идея созерцания некоего идеального пространства, которое понимается либо как время (прошедшее, будущее, протяженное), либо как в о б р а ж е н и е, мысленное / образное представление. Зачастую в семантике слова содержатся обе эти составляющие.

Приведем несколько примеров. “Овременность” глагола *обрести* сказывается в том, что он называет действие, протяженное, рассредоточенное во времени: *обретают* с течением жизни, на жизненном пути. Аналогично и *воздвигать* реализуется на некотором у ч а с т к е времени. Ни тот, ни другой глагол не способны к актуальному употреблению. Данные слова именно “овременились”, но не вовсе потеряли связь с идеей пространства, чего нельзя сказать о таких формах, как *минуть*, *минувший*, *грясти*, *грядущий*, *преходить*, *преходящий*. Ср., между тем, использование *минуты* в древнерусском языке в значении “проходить мимо”: *Минухомъ же и мимо тѣхъ. Жит Андр Юр.* [Срезневский, II: 144].

Умозрительность таких слов, как *очи*, *уста*, *взор* проявляется в том, что образы, ими называемые, реализуются в пространстве нашего в о о б р а ж е н и я — не конкретном, доступном непосредственному восприятию, но именно “мысленном” (подробнее об этих словах см ниже, в разделе 4).

В свете сказанного становится понятной функциональная выделенность “высокого”, “книжного” слова *взор* по сравнению с нейтральным *взглядом*. С одной стороны, именно *взор* может быть *мысленным*, *внутренним*: *Перед его мысленным взором (*взглядом) вставали картины прошлого*; именно *взор* прилагается к обобщенному субъекту: *Взоры (*взгляды) Европы устремлены сюда; Взоры (*взгляды) всех россиян обращены к вам*. С другой стороны, *взор*, в отличие от *взгляда*, способен описывать чисто внешнюю — не функциональную — сторону объекта, образное впечатление от него: *взор* может быть *голубым*, *сверкающим*, *небесным*...

Важной особенностью “пространства умозрения” является безразличность к системе ценностей языкового коллектива — позитивная ориентация.

Существенно, что эта ценностная отмеченность не присуща исконным языковым формам; она является следствием отстоящей во времени духовной рефлексии носителей языка. Так, именно в современном языковом узусе *обрести* предполагает судьбозначимость “предмета речи”, ср.: *Я наконец нашел очки и Я наконец обрел друга*. Употребляется соответствующий глагол по преимуществу апостериори и потому лишен многих форм. В прошлом же глагол *обрѣсти* был вполне нейтрален и поэтому универсален: прилагался к любому субъекту в любой предметной ситуации, ср.: *И на ину ноц един бес, в хижу мою вошед, походя и нечево не обрете, токмо чотки из рук моих вышиб и исчезе* [ЖАвв.: 61]; *Сего ради такого и государя себе обрел еси, еже по своему злобесному сабцокому хотению ..* [Переписка...: 47].

Замечание. Мы опускаем сейчас вопрос о других преобразованиях в семантике этого слова называя некое проявление судьбы в жизни человека, современное *обрести* лишено волевого, целеполагающего начала (это в древнерусском языке было слово *обрѣтальникъ* — “разыскатель”!), оно описывает действие, результат которого не зависит от воли субъекта, ср. *Я наконец обрел возможность общаться с вами* (потому что открыли границы) и *Я наконец нашел возможность* (именно “изыскал”) Если ситуации, описываемые современными квазисинонимами *найти* и *обрести*, рассмотреть с точки зрения отношений “взять” / “получить”, то субъект *обретающий*, конечно, будет отнесен к последнему, “пассивному”, типу, ср. соответствующее понимание “обретения” в старорусском языке *да от боги сам милость обрящет* [Переписка 40]

Воздвигнуть также несет информацию о предмете речи (с последующей оценкой всей ситуации в целом), не говоря уже о таких словах, как *очи* и *уста* — называющих эстетически привлекательный объект и характеризующих вследствие этого только человека [Апресян 1986: 67].

Думается, что современное значение упомянутых нами и многих им подобных слов — существенно редуцированное по сравнению с исходным, но и сдвинутое в сторону “высокого”, “умозрительного” содержания — определяется их ассоциативной или даже непосредственной связью с неким значимым в культурной традиции носителей языка текстовым источником: мы имеем в виду библейские (и шире — религиозные) тексты. Ведь события, ситуации этого текстового мотиванта реализуются именно в пространстве умозрения, которое понимается как альтернативная область существования.

Как мы уже упоминали ранее, русская книжность в качестве единственного эталона, сверхобразца имела Священное Писание; нормы книжного языка, нарративные модели ориентировались на духовные тексты, впрочем, как и вся культура в целом (см. об этом [Живов 1996: 43, 61]). Поэтому не приходится удивляться, что в перспективе современного полифункционального, многостилевого и — что очень важно — секуляризованного языка эта связь некоторых языковых единиц с определенным типом текста проступает с особой отчетливостью и зачастую получает интерпретацию в терминах “исконной культурной принадлежности”. Между тем как раз и с к о н н о слово могло обладать более широкой предметной сферой. И это понятно: “духовность” исконного церковнославянизма — это его общая принадлежность культурному языковому слою; современное же, секуляризованное, сознание может осмыслять эту “духовность” в терминах религиозности, церковности, отводя ей тем самым узкоспециальную предметную область. Приведем в пояснение этого тезиса несколько примеров.

1.4. Эволюция церковнославянизмов в свете тезиса о наличии у слова “культурной памяти”. *Риза* в современном употреблении прилагается только к церковным реалиям (это верхнее облачение священника, либо же оклад иконы), между тем вошло оно в язык с более широким значением — “одежда” (отголоски его слышны во фразеологизмах *до положения риз; разодрать на себе ризы*). Используя для названия своего романа *п е р е в о д*, а не исходный тек-

стовый вариант, В. Дудинцев учитывал неизбежность тех ассоциаций, которые вызовет у носителя современного языка фраза *Белые ризы*. Между тем, древнерусский аналог *ризы* выходит за рамки библейской тематики: *риза* используется и как название одежды вообще, ср.: И поидоша же боаре и боарынѣ, израдившеса во брачныа порты и ризы. *Ип. л. 6769 г.* [Срезневский, III: 121]; Васъ одеждятъ ризы, мене же прав'да. *Супр. р. 14* [Срезневский, II: 626]. (Заметим, что и слово *игумень* на древнерусской почве реализовало, хоть и достаточно скупо, свою исходную семантику — куда более широкую по сравнению с современной: по аналогии со своим греческим этимологом слово *игумень* могло называть “вождя”, “наставника”: Ис тебе бо изидеть игоумень наыкомъ *Стихир.* [Срезневский, I: 1022]).

Тесная связь с вполне определенной “предметной ситуацией” привела, по существу, к идиоматизации таких форм, как *пришествие*, *сошествие*. Поэтому, когда однажды в бойком журналистском репортаже прозвучала фраза *Пришествие Ельцина в Кремль*, она воспринималась как намек. Заметим, что функциональное размежевание нейтрального *прихода* и узко специального *пришествия* произошло именно в условиях языковой “двумерности”: в древнерусском *пришествие* наравне с *приходом* описывало “прибытие” (частным случаем которого был евангельский сюжет), ср.: Услышавша она страна святителево пришествие ..., поклонишася владыцѣ. *Новг. I л. 6926 г.*; Избави Ги, ... ѿ глада, гоубитѣльства, троуса, потопа, шгна, меча, пришествия иноплѣмнникъ и ѿ соубныа рати. *Служ Варл XIIв* [Срезневский, II: 1498—1499]; *Дворница же поведи Феодоре пришествие их* [ЖМор.: 128].

Интересна в указанном смысле судьба слова *воздвигать*. Имея первоначально вполне абстрактное значение ‘двинуть’, ‘поднять’, *воздвигнѣти* в евангельских текстах весьма часто прилагалось к Христу и прочитывалось как ‘воскресить’. Именно так толкует употребление этого слова (и некоторых его форм) П. Гильтебрандт, ср.: *Вамъ первѣе Бгъ воздвигнѣи отрока своего Исца, посла его (Деян. 3: 26); Воздвигнѣи Хрѣта изъ мертвъхъ (Римл. 8: 11); Воздвигнѣи Гда Исца, и насъ со Исцомъ воздвигнетъ (2 Коринф. 4: 14)*. Именно так используется это слово и в речи самого Христа: *разоритѣ црковь сѣю, и тремиднями воздвигнѣю (Иоан. 2: 19)* [Гильтебрандт, I: 310]. Кроме того, в евангелиях, а также в дальнейшем и в житиях, летописях, посланиях... *въздвигнути* употребляется в значении ‘побудить’, ‘поднять’, ‘возбудить’, ср. у Аввакума (о злом начальнике): *И он презрев моление наше, воздвиг на меня бурю, и у церкви, пришед сонмом, до смерти меня задавил* [ЖАВв.: 9]; *крамолу воздвигоша* [ЖМор.: 128]; ср. из [Переписка...]: *...благия аггелы на веселие воздвигет (с. 48); ...на нашу царицу Анастасию ненависть зельну воздвигше (с. 32); ...отовсюду на православие рати воздвизающе... (с. 27); ... царицу Анастасию .. святыи преподобный князь Федор Ростиславович действием святаго духа ... от врат смертных воздвиг (с. 45)* (ср. также приводимые нами ранее примеры). Еще в [Ушаков, I: 337] отмечается выражение *воздвигать гонения на кого-либо* с пометами “книжн.”, “устар.”, что свидетельствует о хоть и угасающей, но памяти о былых возможностях этого слова. Для современного же носителя языка *воздвигать* ассоциируется со значением “строить”, что парадоксальным образом соотносится с евангельским (условно говоря, “исходным”) употреблением этой формы, с той лишь разницей, что Иисус говорил притчами, а современное языковое сознание склонно к буквальному прочтению метафоры “строительства” — “воскрешения” Здания.

1.5. Слово в свете духовной рефлексии носителей языка. Возвращаясь к вопросу о ценностной ориентации умозрительного пространства, укажем на два фактора, определивших этот процесс.

1.5.1. Языковая концептуализация “добраго” и “злаго”. Первый фактор определяется произошедшими в картине мира носителями языка преобразованиями, которые условно можно назвать языковой поляризацией Добра и Зла. вслед за осознанием и усвоением христианских духовных ценностей происходит их языковая концептуализация. И часто то, что в исходном тексте было нейтральным, в свете духовной рефлексии становится отмеченным, специфицированным с точки зрения того или другого полюса. К примеру, **вождедѣти** в тексте евангелий называло нейтральное в этическом плане чувство — “сильно, страстно желать, пожелать”: **Бгда вождедѣте єдинагѡ дне Бѡа челоѡѣческагѡ видѣти** (Лук. 17: 22) [Гильтебрандт, I: 299]. Созвучны такому пониманию многие другие примеры использования этого слова, ср.: (из послания Курбского Ивану Грозному): *Того ради что ни есть похвально, то и благо-словенно, и цветуще, и возделенно подобает* [Переписка.... 111], (из [ЖМор]): *Феодора и благоверная Евдокия, возделеста в жизни сей видетися в лице и побеседовати* (с. 127); ... *патриарх рече: “Дивлюся аз, яко тако возлюбила еси чепь сию и не хоцещи с нею разлучитися”. Святая же рече: “Воистинну возлюбих, и не точию просто люблю, но ниже еще насладихся возделеннаго зрениа юз сих¹. аз такаяя грециница сподобихся видети на себе, кунно же и поносити, Павловы юзы...* (с. 130). Позднее именно под воздействием евангельского учения и в контексте евангельских догматов *возделеть*, по крайней мере в ряде своих употреблений, перемещается в разряд негативных (мы специально оговариваем “контекст” поскольку именно он определяет прочтение таких форм, как *возделение, с возделением, лукавство, лукаво* и некот. др.. в обыденном сознании с лукавством связывается меньшее зло, чем, скажем, с ложью или неискренностью⁶; сильное желание может описываться формами типа *с возделением, возделенно* и без какой-либо оценочной подоплеки).

Некогда *искусити* значило и “искусить”, и “испытать”, “получить опыт” **Не всакомѡ дѡхѡ вѣрѡйте, но искушайте дѡхи** (испытывайте духов) **аще ѡ Бѡга сѣть** (1 Иоан. 4: 1) [Гильтебрандт, III: 816]. Соответственно, *искусъ* называл и искушение, и испытание, а *искушающій* мог быть и прельщающим, и испытывающим. И если в современном языке этот круг слов обслуживает, скажем так, “негативный полюс”, то в языке-источнике в роли искушающего moi выступать и Господь, ср.: **Оугождающе — — Бѡѡ искушающеѡ** (испытывающему) **сердца наша** (1 Солун. 2: 4) [Гильтебрандт, III: 816]; **Аще искуси когда Бѡѡ. Вмз IV 33 по сп XIV в** [Срезневский, I: 1122—1123]

Заметим опять же, что современное сознание с “искушением” связывает совершенно определенную, быть может даже специальную, предметную область, чего нельзя сказать об исконном употреблении слов из данной лексико-сематической группы, ср.: **Дѡло же свое да искушааетъ къждо. Панд Ант XI в.** [Срезневский, I: 1123]; **Искусити Дону великаго. Сл плк Иг**; И рѣша ему боаре: **посли к нему дары, искоусимъ и, любѣзнивъ ли есть злату, ли паволокамъ. Пов вр л 6479 г.** (Там же: 1122); **Царь же ему (патриарху) отвещавше “Не рех ли ти прежде лютость жены твоя? Аз бо искусихя и вем жестокость ея** [ЖМор : 132]. Поскольку в древнерусском языке “искушение” мыслилось как “получение опыта, знаний”, слово *искусный* имело значения “испытанный”, а также “знающий, опытный”; аналогично, *искусъ* moi пониматься как “знание, умение”, ср.: **Грамотѣ искусу научишася. Козм Инд.** [Срезневский, I 1122]. В настоящее время соотносительная связь между словами *искушение* и *искусный* ощущается весьма слабо, поскольку они разошлись по разным тема-

⁶ Ср между тем типичное не только в рамках одного идиостиля употребление древнерусского аналога “лукавства” *прегордый лукавый раб, лукав совет совещанще лукавства ради, лукавый обычай, лукавое умышление, злолукавая измена, вселукавые тици, пре лукавые нравы* (примеры из [Переписка])

тическим областям. О былой общности между ними свидетельствует, пожалуй, лишь слово *искушенный*.

Как видим, в ряде случаев имеет место специализация некогда универсальной лексики, прилагавшейся к широкому кругу "предметов" и жизнедеятельности

1.5.2. "Старое" как синоним "хорошего". Второй фактор связан с рефлексией на языковую форму. В паре близких по смыслу слов, одно из которых воспринимается носителем языка как архаичное, "старое", а другое — как нейтральное, "современное", "старое", как правило, соотносится с небезразличным к ценностной ориентации идеальным миром — умозрительным пространством. Ср.: *преобразить* и *изменить*, *веровать* и *верить*, *ведать* и *знать*; ср. также упомянутые выше *пришествие* и *приход*, *воздвигать* и *поднимать*, *очи* и *уста* и под. Проиллюстрируем сказанное.

В современном языке *преобразить* всегда подразумевает изменение к лучшему, в древнерусском же языке *прѣобразити* значило просто "видоизменить", ср.: На оунышее прѣобразать. *Ефр Кр* [Срезневский, II: 1677]. Сейчас мы не говорим **преобразить к лучшему* именно потому, что это "лучшее" уже содержится в презумпции глагола, ср. нейтральное *изменить: к лучшему / к худшему*⁷.

Вѣдати некогда было вполне нейтральным словом с семантикой "знать, понимать": Вѣдаите, дѣти, занеже многажды рѣчи и мятежь былѣ промежи двѣма владыками, Рязанскимъ и Саранскимъ. *Грам. Θεογн.* [Срезневский, I: 478]. В настоящее время *ведать* соотносится с особой разновидностью знания (см. [Апресян 1997: 129—137]) и не употребляется, условно говоря, с "негативным" субъектом, ср.: *Бог ведает..*, *Бог весть что* и *Черт (его) знает, черт знает что*. Можно выразить идею неосведомленности, принципиальной невозможности знать с помощью фразем *кто его знает, как знать; ведасть же* непотребимо в подобных случаях.

Замечание. Любопытно, что современное соотношение *ведать* и *знать* на "шкале ценностей", по-видимому, прямо противоположно исходному, ср. «Производные от корня *вѣд-* тяготеют по значению к производным от *вид-*, т.е. "получать знание через органы чувств, прежде всего, через зрение", синонимом к *вѣдать* оказывается *слышать, слышати* (...) Напротив, производные от корня *зна-* передают "чистое знание" (...) Знание, выраженное посредством корня *зна-*, относится к высшей сфере, к "мудрости", поэтому *знахарь* означает "знающий человек", "лекарь", "добрый колдун" Напротив, знание-ведение, от корня *вѣд-*, относится к земной, бытовой сфере В Новгородских берестяных грамотах, содержание которых — быт и повседневная жизнь, почти никогда не употребляется *знать*, только — *вѣдать*. В отличие от *знахарь*, — *вѣдунъ, ведун, ведьма* — "злые колдуны"» [Степанов 1997: 344—345] Приведем в подтверждение этого тезиса несколько примеров (из [Переписка]) *Много отпушено всяких людей спрося их, уведай* (с 105), *Ежи вси ведят, в какове чести и богатстве родители твои жили и како убо отец твой, князь Михайло, в какове жславоуше и богатстве и чести был* *Се вси ведят* (с 42) (*ведешие* в этих случаях описывает внешнее, доступное всем знание), (из [ЖМор]) *Научена же бысть добродетелюму житию и правым догматом священномучеником Аввакумом протопопом* *Егда же токмо уведи* ("узнала" = "услышала"), *о православии возревновали zelo и развращеннаго всего отвариши* (с 110), *Елена же с прочими сестрами крыхуся страха ради* *И не могуца уведети о святой Феодоре целую неделю, и тужаху zelo* (с 123) Косвенным подтверждением функционально-семантической близости основ на *вид-* и на *вѣд-* являются отмеченные О В Твороговым случаи неправильного употребления *вѣдѣти* вместо *видѣти* и, наоборот, *видяху* вместо *вѣдаху* в "Повести временных лет" (см [ЛЛ])

⁷ Быть может, обретенное глаголом *преобразить* этой априорной позитивности связано с постепенной идиоматизацией евангельского сюжета Преображения, во всяком случае, существительное *прѣображение*, в отличие от глагола *прѣобразити*, и у Срезневского зафиксировано только в одном значении — "праздник" [Срезневский, II 1676—1677]

И наконец, несколько слов о судьбе слова *вѣровати*, которое в древнерусском было синонимом *вѣрити* и употреблялось как с предлогами (*вѣровати* в кого, во что), так и беспредложно (*вѣровати* кому)⁸, прилагаясь к весьма широкому кругу ситуаций, ср *Вѣроутѣ въ Бѣ̄ и въ мѣ̄ вѣроутѣ* *Io XIV I Остр ев*, Еллини вѣроваша въ животная, въ коркодилы, и въ козлы, и въ змве, въ вгнь и въ воду *Никиф м посл Влад Мон* [Срезневский, I 491], Ови вѣровааху слышаше си а друзии не вѣровааху нъ акы лъжю мнаху *Ск БГ XII [СДРЯ, II 301]* В современном языке относительно десакрализованных, с точки зрения говорящего, объектов веры используется глагол *верить*, ср *Верить в духов, в домового*, но *веровать в торжество справедливости, в истину* В отличие от церковнославянского, современное *веровать* не употребляется с отрицанием, называя не просто состояние сознания, но именно результат волевого акта (*вѣровати* = *вероути*), это слово не способно к обезличиванию (*не*) *верется* при некорректности **(не) веруется* Ср между тем типичные для *вѣровати* контексты *Азъ же зане истиннѣ глголю, не вѣрѣете мнѣ* (Иоан 8 45), *Аще ли истиннѣ глголю, почто въи не вѣрѣете мнѣ* (Иоан 8 46), *И сѣи корене не имѣтъ, нже во время вѣрѣютъ, и во время напасти ѿпадаютъ* (Лук 8 13) [Гильтебрандт, III 829] Ср также пример эпистемического *веровать* из языка конца XVII в (царь патриарху) *И аще не веруеши словесем моим, то изволи искусить собою вещь и, призвав ю* (боярыню Морозову — *Е Я*) *пред ся, воприси, и тогда увеси крепость ея* [ЖМор 129] Мы видим, что с течением времени за *веровать* закрепляется сакральный смысл, а эпистемические нюансы — наличие / отсутствие доверия, благоприятствующее доверию состояние (*верится*) — остаются в ведении глагола *верить* Весьма симптоматично, что наше восприятие слова *веровать* расходится с представлениями составителей словаря [Ушаков], в котором для “религиозного” *веровать* не оговаривается ценностный статус “веры”, высказывание *Веровать в домового* приводится как иллюстрация, и что еще более важно — выделяется “эпистемическое” *веровать*, трактуемое как синоним *верить*, с примером из Пушкина *Муж во всем ей веровал беспечно* Как видим, здесь языковая форма воспринимается в общем ряду употреблений, ее специфика (по сравнению с универсальным *верить*), ценностная отмеченность не осознаются или, во всяком случае, не признаются лингвистически релевантными Аналогично, между прочим, дается в этом словаре и слово *обрести* — без учета особенностей контекста специального (условно говоря, библейского) и более широкого, литературного, ср “обрести — найти, отыскать (разрядка наша — *Е Я*) — *Людей способных, людей талантливых у нас десятки тысяч Надо только их знать и вовремя выдвигать Ищите да обряцете* (Сталин), *Обрел себе друга, обрел покой*” [Ушаков, II 702]

Таким образом, ценностная отмеченность языковой формы может быть связана с тем, что в ряду близких по смыслу слов происходит дифференциация

⁸ На колебание между различными дополнениями “глаголов нравственного и отвлеченного значения” (типа *молиться, надеяться, каяться, уповать веровать*) обращает внимание Ф И Буслаев, связывая последующую унификацию форм глагольного управления с “изменением внутреннего смысла (этих глаголов — *Е Я*) в историческом развитии языка” [Буслаев 1959 502—503] Симпатично, что апелляция к различию в способах управления глаголов *верить* и *веровать* может служить своего рода семантическим толкованием Так, П М Бицилли, комментируя один из случаев «намеренной языковой “ошибки” у Достоевского» (имеются в виду слова Кириллова “Ставрогин, если верует, то не верует, что он верует Если же не верует, то не верует, что он не верует”), пишет “Между *веровать* и *верить* различие не видовое и не эмоциональное, а чисто смысловое *веровать во что и всрить чему (кому)*” [Бицилли 1996 220]

по признаку “старое” / “новое” — и “старые”⁹ формы типа *веровать, ведать* становятся “духовно отмеченными” на фоне нейтральных *верить* и *знать*. Соответствующая маркированность языковой единицы не позволяет ей “опускаться” до уровня обыденных “предметных ситуаций” и тем более — использоваться с субъектом-духовным антагонистом

Замечание О ‘лексикографической рефлексии’ на языковую форму (“процессе осознания архаизмов как церковнославянизмов” в словарной практике) писал В В Виноградов “Ввиду того, что церковнославянизмы всегда были соединены с особым оттенком архаической значительности, являлась в языковом сознании разных эпох тенденция к объединению в общем лексическом плане с церковнославянизмами всех вообще возрождающихся архаизмов” [Виноградов 1977а 32]. В приведенных нами случаях спонтанной языковой рефлексии ‘архаизмы’ получают не стилистическую, а именно семантическую интерпретацию — соотнесенность с духовной идеальной сферой

1.6. Память слова как объект реформаторской деятельности Мы проследили за тем, как слово под воздействием духовной рефлексии носителей языка обретает особого рода оценочность, чувствительность к полюсам “доброе” и “злого”. Возможно и обратное частичное или даже полное забвение словом своего “прошлого”. К примеру, *неприя́зь* для носителя современного языка никак не соотносится с самим источником зла (*неприя́зь* в древнерусском и церковнославянском — это одно из названий дьявола), ср. Игры неприя́зники и всякая злоба *Кир Тур О премудр* [Срезневский, I 1000]

Помимо каких-то частных и случайных примеров семантической амнезии в истории русского литературного языка, как известно, имели место системные преобразования в ряду церковнославянизмов, связанные с целенаправленной реформаторской деятельностью по сближению русской языковой модели с европейской (французской). Этого процесс хорошо описан в работах Б.А. Успенского и В.М. Живова. Вследствие секуляризации — ‘при пересадке из церковной области в мирскую’ [Живов 1996 498] — многие церковнославянизмы были переосмыслены, ср. примеры из [Виноградов 1977б 93—94] *очаровать, обаять, прельстить, обворожительный, чары*, из [Живов 1996 497—507] *мечта, страсть, прелесть, восхищение*¹⁰, *пленительный, возглас* (см также [Успенский 1985 53] о факторах, определивших переосмысление слов *очаровательный, обаятельный, обожать* и др., там же см литературу по этому вопросу). Редукция сакрального в названиях эмоций, зачастую ведущая к затемнению внутренней формы слова (ср. *восхищение* — “похищение”, *пленительный* — “берущий в плен”), была следствием общей интенции этой семантической реформы — обмирщения, секуляризации чувств. Высокие проявления, эмоциональные пики отныне мыслятся не только в свете религиозного источника.

Обращает на себя внимание приведенный В.М. Живовым случай переосмысления слов *гордиться, гордость* — их перемещения из отрицательно оцениваемых (*гордиться* — ‘неправедно превозноситься’) в нейтральные [Живов 1996. 506—507]. Этот случай показателен в плане лингвистической реакции словарей, их весьма долгой перестройки, переориентации от отрицания к нейтралитету (т.е. нравственность, этика, в отличие от психологии и эстетики, с

⁹ Еще раз подчеркнем: речь не идет о реальном старшинстве формы, но именно о ее восприятии как ‘старшей’, ‘архаичной’. Зачастую подобное восприятие основывается как раз на большей употребительности в ‘старом’ языке той формы, которая интерпретируется современным сознанием как ‘архаичная’. Например, согласно частотному указателю лексем к “Повести временных лет”, составленному О.В. Твороговым, *знати* встречается в этом тексте 1 раз, а *вѣдѣти* — 44 раза, *вѣрити* вовсе не употребляется летописцем, *вѣровати* же используется 23 раза [ЛЛ].

¹⁰ Семантический путь слова *восхитить* прослеживается в [Бабаева, Журавлев, Макеева 1997 45] (словарная статья И.И. Макеевой).

трудом отстывает от прежнего текстового образца) Как мы знаем, данный конфликт между “светским” и “духовным” языком был решен благодаря синонимии: попирающее первую из заповедей блаженств чувство связывается у носителей современного языка со словом *гордыня*. Но, как показывает, в частности, и приводимый в нашей работе материал, синонимия не всегда приходит на помощь: в каких-то случаях, вследствие нежелательной оценочности, приходится отказываться от исходного варианта. К примеру, *вождь* в цитированных ранее строках (Лук. 17: 22) заменяется на нейтральное *желать*, ср. *Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого..* Есть и такие слова, которые существуют как бы в двух измерениях, соединяя подчас противоположные значения; к ним относятся упомянутые выше *лукаство*, *прелесть* и некот. др. (Иногда принадлежность слова к тому или иному контексту — “духовному” / “мирскому” — маркируется акцентным оформлением, ср.: *страстной, восхищенный, обожение и страстный, восхищенный, обожание*). Совмещение полярных оценок может истолковываться и как глубокозначимое. Ср. в этом плане существовавшую в языке возможность понимания слова *случай* и как “случайности”, и как “предначертания”: По сълоучаю же Божию отъиде мѣти его на село. *Нест Жит Феод 4* [Срезневский, III: 739]. Ср. также пару “искушение” и “испытание” — одновременную актуализацию обоих смыслов во фразе *Искушение есть житие сѣ*. *Панд Ант. XI в.* [Срезневский, I: 1124].

Итак, вследствие секуляризации церковнославянской лексики появляются слова с полной или частичной амнезией — потерей памяти о своем “прошлом”. К последним, например, можно отнести *страсть*: ее связь со “страхом”¹¹ и всем комплексом “страдания”, “испытания”, “подвига” и “очищения” обыденным языковым сознанием не ощущается (слово реализует два значения: “духовное”, религиозное, и “светское”, мирское¹², при этом “духовное” воспринимается современным носителем языка как узкоспециальное — “церковное”).

Мы затронули вопрос о секуляризации церковнославянизмов, которая имела место в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX вв и была инициирована писательской деятельностью культуртрегеров, поскольку данный процесс также относится к теме “памяти” слова. Но если в этом случае речь шла о сознательной и целенаправленной работе по переориентации “семантических интересов” слова, то упомянутая выше “духовная рефлексия” языкового коллектива — явление стихийное, быть может, неочевидное для самих носителей языка, протекающее на значительном отрезке времени и опирающееся в качестве мотивирующего источника на литературную традицию обработки лексемы в целом, а не на тот или иной авторский идиостиль. “Духовная рефлексия” не приводит к глобальным семантическим изменениям слова; она затрагивает ту часть содержания языковой единицы, которую условно можно назвать “прагматической” — оценочной, модусной. Следствием духовной рефлексии может быть скрытая систематизация в ряду близких по смыслу слов, тематических групп, в результате которой находят языковое ограждение какие-то аспекты картины мира носителей языка. Некоторые факты такой концептуализации будут ниже нами рассмотрены.

Дальнейшее изложение призвано проиллюстрировать тезис о том, что фактор скрытой текстовой мотивации может сказываться на семантической

¹¹ Ср понимание *страстного* как “страшного” в следующем примере (предсмертный плач мученицы Иустины) *Сыне Божий, ущедри мя и сподоби одесную тебе стати и слышати сладкаго твоего гласа Избави же мене от страстного отого и жесточайшаго гласа, с же речехи грешным, сущим ошуюю тебе “Отидите от мене ”* [ЖМор 150]

¹² О факторах, определяющих переосмысление этого слова см [Живов 1996 498]

эволюции слова и определять его восприятие носителями современного языка (разделы 2 и 3); кроме того, предполагается рассмотреть, как, какими средствами, языковыми механизмами поддерживается “культурная память” слова (раздел 4).

2. ПАМЯТЬ СЛОВА КАК ФАКТОР ЕГО СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (ГРЯДУЩЕЕ: БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ ПРИХОДИТ ИЗ ПРОШЛОГО)

2.1. Данные словарей. В качестве примера мы возьмем весьма яркий и отчетливый случай — когда семантическая эволюция слова определяется его непосредственной связью с библейской тематикой. Речь пойдет о словах *грядущее*, *грядущий*, *грядет*, которые в современном языке являются альтернативными названиями будущего. Между тем, мы знаем, что слова эти восходят к глаголу *грясти*, имеющему значение “приближаться, двигаться, шагать, пересекая пространство”, ср.: *Иже хоцеть по мѣнѣ ити, да отвержеться себе и възьметъ крѣсть свои и грядеть по мѣнѣ. Мр VIII 34 Остр. ев.* [Срезневский, I: 606], *Не вѣсте, отъкъдоу грядоу. Ио VIII. 14. Остр. ев.* (Там же); *Грядеть на востокъ соущи по горинѣ. Жит Акак Мин. Чет. апр. 263.* [Срезневский, I: 554], *Грядеть на нь сила Велика Татарскаа. Новг л 6888 г.* [Срезневский, I: 606], *А наемникъ — — видитъ вѣзка градца, и оставлетъ овцы, вѣгае. Иоан 10:12* [Гильтебрандт, I. 200]; *И се Иоаким, архимандрит Чюдова монастыря, грядише с великою гордостию и вниде в постельную дерзько...* [ЖМор.. 118].

Для носителя современного языка слова *грядущее*, *грядущий* обладают явной стилистической отмеченностью. Уже в [Ушаков, I: 633] *грядущий* сопровождается пометой “книжн.”, “ритор.” Из всех словарей современного литературного языка только БАС фиксирует употребление глагола *грясти* в значении “идти, шествовать”. Симптоматичен приводимый Словарем пример из “Соборян” Лескова: *Послышался издалека с горы кашель отца протопопа — Во! грядет поп Савелий!* — воскликнул Ахилла [БАС, III. 460]. Причастная форма и “в значении прилагательного” (*грядущий X*), и “в значении существительного” (*грядущее*), согласно словарям, является “высоким” синонимом *будущего* [Словарь синонимов. 45]. В [МАС, I. 354] *грядущий* определяется как “приближающийся, наступающий, будущий”. *Грядущие поколения*¹³.

Таким образом, в современном речевом обиходе слова *грядущий*, *грядущее* являются альтернативными названиями будущего. Заметим, что глагол с конкретно-пространственным значением и у Н.С. Лескова использовался весьма нейтрально — с явной иронической подоплекой.

В дальнейшем нам предстоит ответить на следующие вопросы. Почему рассматриваемые нами слова порывают связь с пространственностью? Что способствует их полной и окончательной темпоральной адаптации? Существуют ли какие-либо “качественные”, собственно смысловые, различия между словами *будущее* и *грядущее*?¹³ Можно ли говорить — на основе наличия в русском языке двух обозначений для “будущего” — об особой, более детальной его спецификации?

¹³ Укажем на некоторые примеры, в которых угадывается функциональная нетождественность этих слов *Характерно само ощущение древнего эпоса не как прошлого, а как будущего, грядущего, наконец-то являющегося нам* (С Аверинцев) — употребление в одном перечислительном ряду само по себе свидетельствует о смысловой нетождественности слов, с точки зрения автора. *Масса безыменных для нас лиц, масса, которую можно рассматривать как одного великого ученого, великого философа, уже тысячелетия совершенствует способы распределения по общим разрядам ускорения мысли и слагает на пользу грядущим плоды своих усилий* (А Потебня) — прилагательное *будущий* не обладает потенциалом субстантивации и поэтому неуместно в приведенном контексте

Для решения этих вопросов обратимся к языку Библии.

2.2. Данные мотивирующего текстового источника. Начнем с того, что в этом языке нередки случаи пространственного употребления форм от *грясти*: *Бог от Фенана грядет // и Святой от горы Фаран* (Авв. 3: 3.). Любопытно, однако, что это та пространственность, которая очень легко может быть переосмыслена в терминах времени, ср. строки из Псалмов о Втором пришествии во славе: *Грядет Бог наш, и не в безмолвии* (Пс. 49: 3—6) — *грядет* здесь понимается и пространственно — *идет* в некоем “настоящем” пророческого прозрения, и темпорально — *приближается* и неизбежно появится, “наступит” в будущем. Ср. еще: *Она (Марфа) говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир* (Ин. 11: 27); *грядущий* здесь — это *приходящий* сейчас, на моих глазах и Тот, Который придет, Которого ждали и ждут.

Замечание. Сама эта возможность двойной интерпретации связана с определенным типом текста или, лучше сказать, определенной предметной сферой описания: в современном, секуляризованном, сознании *грядет* четко противопоставлено *идет* как “будущее” “настоящему”, ср.: *Идет экзамен* (“проходит”, “имеет место”: *Тихо! Идет экзамен*) и *Грядет экзамен* (“приближается”, “скоро наступит”: *Готовьтесь! Грядет экзамен*).

2.2.1. Грясти — идти. Грамматической предпосылкой понимания *грядущего* как “будущего” является принципиальная “имперфективность” этого слова: в отличие от *идти*, парадигма *грясти* не имеет перфектной формы, ср. *грясти, гряду, гряди, грядущий...*, но не *грянул*. Последняя форма из другой парадигмы — глагола *гряднуги*, который определяется в [Преображенский, I: 116], как *ударить, броситься, внезапно появиться*. В.И. Даль рассматривал приведенные формы в рамках одной словарной статьи, что, по-видимому, свидетельствует об их ассоциативной (парадигматической) близости: “Грясти, гряднуги, идти, шествовать, подвигаться, близиться, приходить; // однократ. набегать, налетать, наскокивать, накидываться на кого; ударить...” [Даль, I: 404]. Ср.: *грядет день* (“идет, наступает, близится”) и *грянул час* (“ударил, пробил, наступил”).

В Библии, однако, есть место, где форма *гряду* употребляется, несмотря на очевидную “перфектность” контекста (“скоро приду”), ср.: *Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего* (Откр. 3: 11). Выбор формы от *грясти*, а не от *идти*, закономерен в этом контексте — он диктуется особой значимостью данного слова в языке Библии, закрепленностью за его формами особой предметной области. В последнем примере речь идет о Втором пришествии, близком, неизбежном, находящемся “при дверях”, и прилагаясь к Христу, *грясти* (а также *грядущий*) выступает как своего рода “пароль”, понятный носителю соответствующей культурно-языковой традиции, ср.: “Воскливание Маран-афа (т.е. Господь грядет, или по другим: Маран-фа, т.е. Гряди, Господи) было обычным среди тогдашних христиан, как у нас Аминь, и выражало напряженное ожидание второго пришествия и суда Господня” (из Краткого толкователя к Новому Завету по поводу *1 Кор. 16: 22* [Новый Завет: 468]).

Одним из следствий этой идиоматичности форм *грясти* является возможность их использования по типу имени собственного, ср.: *Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит* (Евр. 10: 37); *Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, чтобы веровали в Грядущего по нем, т.е. во Иисуса Христа* (Деян. 19: 4); *Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: “благословен Грядый во имя Господне”* (Лк. 13: 75).

Замечание. Имя собственное задает интерпретацию по линии “определенность”. “конкретность”, “известность”, “соотнесенность с прежде сказанным”. Особого рода определенность сохраняется и при современном, нарицательном, употреблении, ср.: *грядущий день* и *будущий день*, *грядущие войны* и *будущие войны* — в последних случаях имя не обязательно понимается конкретно, или, лучше сказать, реально: *день*, который является одним из многих в будущем; *грядущий* за-

дает именно реальное осмысление X-а как чего-то заранее известного и неминуемого, поэтому в гипотетическом контексте, лишенном этой определенности, данный временной спецификатор исключен, ср.: *Чтобы предотвратить возможность каких-либо будущих (нельзя *грядущих) войн...*

О том, что *Грядущий* — это не просто 'идуший', а Тот, о Ком пророчествовали, свидетельствует, в частности, место из [Евангелие], где посланные Иоанном Крестителем ученики вопрошают у Христа: *Ты ли еси грядъи, или многъ чаемъ — Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать другого* (Мф. 11: 3).

Показательны случаи интерференции идти и грати в церковнославянских текстах и последующее ее устранение в современной версии Нового Завета; устранение, согласующееся с той системой отношений, которая сложилась между этими квазисинонимами — когда за *грядущим* окончательно закрепилась особая предметная область, ср. в Остр. св.: *Тогда оузрачь сынь члвчскъи, идъиць (в современной версии — грядущего!) на облацехъ съ слою и славомъ мъногомъ* (Лк. 21: 27).

2.2.2. Грядущий — будущий. Итак, постепенное темпоральное переосмысление *грядущего* происходит под влиянием идиоматизации — регулярной соотношенности этого слова с определенным типом ситуаций. К таковым, в частности, относится предсказание Иисуса на суде синедриона: *Иисус сказал ... и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на облаках небесных* (Мк. 14: 62) — 'сидящего' и 'идушего' ... противоречия не возникает не только потому, что речь идет о движении "вместе" с облаками, но и потому, что движение это локализовано в пространстве умозрительном, пространстве-времени, ср. аналогичное поверхностное рассогласование: *Скажите дочери Сионой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной* (Мф. 21: 5); *грядет* здесь — 'приближается': в пространстве и во времени.

Для истолкования того будущего, которое описывает *грядущее*, немало важно, как в дальнейшем эта пророческая тема (тема Второго пришествия) развивается в Новом Завете. В Откровении мы находим: *Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его* (1: 7). Здесь *грядет* актуализирует сразу все три временных плана: прошлое — сбылось сказанное Иисусом; настоящее — действие разворачивается перед духовными очами Иоанна; будущее — настоящее пророческого прозрения соответствует будущему земного свершения.

Весьма важны — в плане понимания смысловой эволюции форм от *грати* — примеры, описывающие Вход Господень в Иерусалим: *Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!* (Мф. 21: 9). Причастие здесь прочитывается двояко: а) грамматическое настоящее совпадает с семантическим — 'идуший' сейчас, Тот, Которого мы видим и сопровождаем на пути в Иерусалим (пространственная интерпретация); б) грамматическое настоящее не совпадает с семантической контекстной формы — действие, описываемое причастием, предшествует настоящему: Грядущий — Тот, Который придет (временная интерпретация), т.е. конкретный, настоящий вход в Иерусалим мыслится здесь как прообраз будущего Прихода в силе и славе. Приведем в подтверждение описание этой же сцены в (Мк. 11: 9—10): *И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида* — мы видим, как из пространственного спонтанно рождается временное понимание "грядущего", в котором соединяются настоящее (видимое) и будущее (невидимое). "Грядущее" — это то будущее, которое предощущается: либо мыслится как объективно неизбежное, либо включено в актуальное поле зрения, в любом случае — соотносится с "настоящим". При этом само будущее, которое описывает *грядущее*, понима-

ется особо — как актуализация прошлого, как исполнение некогда сказанного пророками, поэтому “грядущее” принадлежит модусу знания, а не мнения

2.2.3. Грядет: ‘сейчас’ или ‘скоро’? / в пространстве или во времени? Таким образом, анализируя случаи канонического употребления слов *гряду*, *грядущий* в библейских текстах, можно видеть столкновение архаического и современного сознаний: исходно, прототипически *грядущий* называет действие, локализованное в пространстве и происходящее сейчас, на глазах, но современное сознание интерпретирует это же действие как приближающееся, будущее через ступень общености, соотнося его (“вход”, “появление”, “движение с облаками”.) с мессианской идеей

Иными словами, эта двойная интерпретация *грядущего* связана с принципиальной двойственностью восприятия самой предметной ситуации изнутри, с точки зрения участников происходящего, так сказать “онтологически”, *грядущий* — это, прежде всего, ‘идуший’ (превалирует пространственный акцент), а внешне, с точки зрения (позднейших) читателей священного Текста, *грядущий* — это ‘близящийся’, ‘наступающий во времени’, это ‘идуший’ со знаком постоянного свершения (здесь акцент смещается в область времени, которое, впрочем, можно было бы назвать и “вечностью”)

То, что *грядущее* в своем темпоральном употреблении исходит из идей а) “движение” (прототипическая лексическая семантика) и б) “настоящее” (прототипическая грамматическая семантика), позволяет этому слову задавать особое понимание будущего — как “движения в настоящее”, как времени активного, вторгающегося в настоящее, несущего с собой значимые события Семантический же ареал этих событий для русского языкового сознания задается евангельскими (и шире — библейскими) контекстами, где слова *грядущий*, *грядет* прилагаются преимущественно к божественной сфере

Замечание О том, что *грядет* называет модус бытия Бога и об особой “вневременности” этого бытия, свидетельствуют известные слова Откровения (1 8) *Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет, Вседержитель* Вечность природы, вселенной, любви, жизни утверждается триадой *есть, был, будет*, где последнее слово задает проспективную бесконечность В приведенных же выше строках сообщается не только о вечном бытии, но и о постоянном свершении, единственно возможным субъектом такого высказывания является Бог

2.2.4. “Будущее” — предлежит, а “грядущее” — свершается? Напомним, что в церковнославянском для обозначения будущего использовалось несколько форм, каждая из которых интерпретировала его по-своему, ср. “*Бышащии — futurus, будущий. — Възвѣстѣю тебѣ възшащия Дан. VIII. 19 (...)* Пророчество не нзыгѣшнаго прѣтѣжана явлаетъ по възшащее по седмидесатъ лѣтъ Упыр 284 < .> Будущии, как прил в смысле загробный — *Да боудѣтъ проклати въ сии вѣкъ и въ боудущии Церк Уст Влад д 1011 г. [Срезневский, I 209—210].*

Таким образом, время, описываемое *будущим*, мыслится как пространство, статичное, предлежащее настоящему¹⁴; *грядущее* же не “предлежит” — оно вторгается в настоящее, в полном смысле слова “наступает” Именно поэтому *грядущий X* понимается как “следующий за настоящим, ближайший к нему” (и в этом смысле определенный!), ср. . . *чтобы пересказать грядущему роду* (Мф. 48·14). Недаром И И Срезневский в качестве смыслового перевода фразы — *Въ грядущее врѣмя* — дал *in sequens tempus* Из сказанного, в частности,

¹⁴ В этом, церковнославянском, значении *будущее*, как кажется, имеет ассоциативное сходство с одним из современных названий прошлого — словом *прежнее*, сходство это можно усмотреть в таких общих компонентах, как “отдаленность от плана настоящего” и “наличие качественного барьера между ними, непретекаемость одного в другое” (о *прежнем* и др современных названиях времени см в [Яковлева 1994])

следует, что выбор в современном синодальном переводе *будущего* в отношении пакибытия терминологически значим и безальтернативен, ср из (3 Ездр) *День же суда будет концом времени сего и началом будущего бессмертия* (7 43), *И теперь я вижу, что будущий век принесет сладость немногим, а мучения многим* (7 47), *этот век Всевышний сотворил для многих, а будущий для немногих* (8 1) и под

Замечание Показательны в этом плане случаи неправильного использования слова *грядущий* (вместо *будущий*), которое впоследствии было откорректировано в соответствии с каноническими представлениями *Не отъпоуститъся ѹмоу ни въ съ вѣкъ ни въ грядѹщии Остр ев* [Срезневский I 484] — в современной версии (Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему если же кто скажет на Духа Святого) *не простится сѹ му ни в сѹ м веки, ни в будущем, въ вѣкъ грядѹщии животъ вѣчнѹй* (Марк 10 30), *Не точию въ вѣцѣ семъ но и во грядѹщемъ* (Ефес 1 21) *вѣтованіе имѣюще живота нънѣшнаго и грядѹщаго* (1 Тимоф 4 8), *Сназъ грядѹщаго вѣка* (Евр 6 5), *Не имамъ бо здѣ пребывающаго града, но грядѹщаго възискѣмъ* (Евр 6 14) (цит по [Гильтебрандт, II 504]) Любопытно, что еще в Словаре Академии Руссиской [Сл Акад , I 1287] можно видеть это смешение слов *будущий* и *грядущий* при описании пакибытия — определив слово *грядущий* как “будущий, наступающий, приближающийся”, словарь дает пример *Не точию въ семь вѣцѣ, но и въ грядущемъ* (Ефес 1 21) Все это свидетельствует о том, что системные отношения между *грядущим* и *будущим* строились достаточно долго

Итак, благодаря наличию двух альтернативных названий будущего находит языковое воплощение (прежде всего, конечно, в церковнославянском языке) сложное представление о будущем — и как о предстоящем в жизни этой (*что день грядущий мне готовит*), и как о предстоящем в жизни той (*Будущий день несть покапанъ*)

Замечание На английский *грядти* переводится с помощью глагола *to come*, который, будучи деиктичным, выражает частный случай движения, а именно — приближение (к субъекту, “наблюдателю”) После днее кажется очень естественным, коль скоро речь идет о временном переносе (ведь время в картине мира современного человека эгоцентрично, оно движется навстречу воспринимаемому субъекту, именно “приближается”) Однако для темпорального переосмысления русского *грядти* условие эгоцентрической ориентации оказалось иррелевантным, поскольку исходно этот глагол не обладал названными признаками, ср *Тогда Инѣ рече оученикомъ своимъ аще кто хоцетъ по мнѣ ити, да ѡвержетъ себѣ, и возьметъ крестъ свой, и по мнѣ грядетъ* (Мф 16 24) (здесь и далее цит по [Евангелие]) — мы видим, во-первых, параллелизм *идти* и *грядти*, а во-вторых — реализацию значения ‘следовать’, а не ‘приближаться’, ср еще *Рече емѹ Инѣ гряди вслѣдъ менѣ* (Мф 19 21), ср также пример нарративного употребления слова *грядущий* из [ЖКир] *Въ грядущую же ночь паки послании разбоинници придоша* — *На следующую ночь вновь пришли подосланные разбоинники* (с 84—85), ср еще *А тогда же есмь угодил грядущесъ мнѣше твое на мя* (Третье послание Курбского) [Переписка 109] — а тогда я предугадал, что ты думаешь обо мне

Таким образом, переосмысление в терминах времени основывается в случае *грядти* (и производных от него) не столько на непосредственном семантическом содержании глагола (как у слова *близится* вечер, встреча), сколько на общих ценностных свойствах самой предметной сферы описания, что свидетельствует об особой значимости этой сферы для русского языкового сознания

Заметим, что в современном понимании *грядущий* обладает большей дейктичностью, чем *будущий* последнее слово может употребляться в нарративном режиме, в *futurum historicum*, а первое — нет, оно используется только непосредственно проспективно, “профетически”, ср *Когда я былъ молод, будущее пугало меня и Грядущее меня пугает* В этом плане может показаться парадоксальной приоритетность именно слова *грядущесъ* в метатексте Библии *грядущее собрание Израиля, образ грядущихъ Страстей Христовыхъ, грядущее обращение язычников* Как кажется, в этих и под случаях *грядущий* помогает сохранить живость предсказания и уйти от профанирующих интонации “будущего повествовательного”

Поскольку “будущее” предлежит, а “грядущее” именно *наступает*, естественно предположить, что субъект, который *грядет* или квалифицируется как *грядущий*, должен обладать событийной семантикой И в самом деле, если *будущий* в современном языке может употребляться относительно предметных

имен (*мой будущий муж, наша будущая квартира*), то *грядущий* — нет. Даже в текстовой разметке Библии (для которой слово *грядущий* является “своим”) можно проследить указанную тенденцию *грядущая война, но будущий избавитель*

Таким образом, эволюция форм от *грясти* — это их принципиальный разрыв с предметной сферой и переход к описанию событий. Таким событием можно считать и библейского Субъекта *грясти*, который мыслится религиозным сознанием именно как со-бытие, реализующееся в “пространстве духовной реальности”, умозрительном, не совпадающем с пространством “реальности чувственной”

3 СЛОВО КАК НОСИТЕЛЬ ПАМЯТИ О ‘СВОЕМ’ ТЕКСТЕ (ДЕНЬ И ЧАС: ВРЕМЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА)

3.0 О том, что современное употребление может мотивироваться именно наличием у носителей языка ощущения связи слова с неким исходным текстом (особым кругом ситуаций, особой предметной отнесенностью), свидетельствует сходство судеб церковнославянизмов с такими темпоральными показателями, как *час* и *день*. Последние не принадлежат к словам, наделенным, по выражению Г. О. Винокура, “экспрессией старины и церковности” (цит. по [Живов 1996: 114]), но их судьба, современное звучание во многом определяются библейской картиной мира, языком времени Ветхого и Нового Завета.

3.1. О временной ментальности носителей русского языка Известно, что для русского языкового сознания характерна качественная спецификация времени: время — какместилище событий — является другим названием для жизни, а жизнь мыслится и описывается в категориях времени (*мгновений, эпох, моментов*) [Яковлева 1994]. Анализ показал, что *час* в русской языковой картине времени занимает особое место: ему свойственны такие характеристики, как “духовность”, судьбозначимость, неизбежность [Яковлева 1995]. Все это позволяет предположить, что русский *час* в существенной степени наследует специфику *часа* Нового Завета, являясь манифестантом того типа “трудного” пути, который связан с искуплением. Обращение к библейским текстам, пусть и в современной русскоязычной версии [Библия], не только помогает понять феномен такого рода “языка времени”, но и позволяет обнаружить некоторые базовые понятия и оппозиции этого “языка”.

Замечание. Впрочем, обращение к языку современной Библии для нас носит принципиальный характер, поскольку именно он позволяет говорить о сложившейся системе отношении между *днем* и *часом*, ведь за этой простой оппозицией в исторической ретроспективе можно увидеть не один синонимический вариант: если *день* обладает вполне определенным и устойчивым смысловым содержанием, то *часу*, как известно, может соответствовать самый широкий круг слов — это и *мгновенье*, и *пора*, и *время*, и *година*, что показывают и различные (по времени) версии евангельского текста, ср. (из [Гильтебрандт, VI 2349]) *часъ многъ зъвишъ* — *оуже часъ многъ* (Марк 6:35) — “мног час” — “позднее время”, *показа емъ вса царствѣа вселенныа въ часѣ времѣннѣ* (Лук 2:38) — “в часе времени” — “в мгновении времени”, (из [Срезневский, I 534]) *Приде година да прославиѣса сынъ чловѣчскъи* *Io XII 23 Остр. в.* (о *часе* в русской языковой картине времени см. [Яковлева 1995]).

Постепенное складывание отношения между *днем* и *часом* можно сравнить с установлением четких функциональных различий между *будущим* и *грядущим* в Библии.

3.2. День и час в языке Библии Бог в Библии разговаривает с человеком на языке времени: активно посылая на землю *дни бедствий, годину искушения* и под. Понимать “знамения времен” — значит понимать смысл происходящего. В Ветхом Завете сроки свершения земных судеб предсказываются в терминах *дней, времени, лет, времен*, но окончательным, всеразрешающим, сроком является День Господень — Судный День, День Страшного Суда, Второ-

го Пришествия Новый Завет несет идею нового срока — *часа*, часа Иисуса И *час* этот становится как бы естественной частью ранее предсказанного *дня*

Известно, что библейский *день* может обозначать как известную часть времени от захода до захода солнца, так и время вообще [Дьяченко 1993 140] *День* это и орудие в руках Господа (единица макрокосма), и синоним человеческой жизни, самая естественная, органичная единица человеческого микрокосма *В Твоей руке дни мои* (Пс 30 16), *И умер Иов, насыщенный днями* (Иов 42 17), *Всех же дней Мафусаила было девятьсот шестьдесят девять лет, и он умер* (Быт 5 27), *Дней наших — семьдесят лет* (Пс 90 (89) 10), *Я сказал Боже мой! не восхити меня в половине дней моих* (Пс 102 (101) 25) — все это традиционные библейские формулы использования *дня* ¹⁵

Изоморфизм *дня* определяется тем, что именно это слово задает ассоциацию с неким жизненным целым, предполагающим “восход”, “зенит”, “закат” Однако, в свете нашей темы, не менее важно и то, что *день* — это не посредственный слепок с жизни, которая движется восходами и заходами солнца. В этом смысле время *дня* (или *дней*) — это время в не него пространства бытия, данного в непосредственном восприятии, неминуемого и общего для всех У *часа* же нет этих космологических ассоциаций — диктующих выход во внешнее жизненное пространство Поэтому с появлением *часа* открывается возможность описания времени внутреннего созерцания, времени индивидуальности и личности, времени как духовной категории

Замечание. Подчеркнем *час* Нового Завета — это не лингвистическое нововведение, следствие языка, на котором написаны Евангелия В древнееврейском языке был “час” (*шаа*) как обозначение части суток, и это слово встречается в Книге Пророка Даниила в значении момента (“точки”) (Дан 5 5) и в количественном значении (Дан 4 16)

Как кажется, выбор в Новом Завете именно *часа* (а не, скажем, *времени* или *дня*) для описания определенного круга ситуации, и реконструкция на основе этого выбора нового типа времени относятся к области мировоззренческих проблем Последовательность и регулярность перевода новозаветного *ѡра* в Евангелиях на латинском, церковнославянском и русском (здесь мы опираемся на сопоставление параллельных текстов Евангелия от Матфея [Евангелие]) — позволяет усмотреть в этом слове некую терминологическую значимость — соотнесенность с общей системой языка времени в Библии ¹⁶

¹⁵ Ср отголоски такого понимания “дня” в английском словоупотреблении *He has slept much in his day*, где *day* синонимично выражению *life time* В русском языке в значении “жизнь человека” используется форма мн числа слова *день*, при этом в современном употреблении возможности применения этой формы ограничены Ср между тем типичные примеры из древнерусского языка (весьма напоминающие нам библейское использование “дней”) и *яко съкончашася дние володимироу Ск БГ XII*, и тако живыи върѣно и правьдно да прѣидеть дни своя *Сб Тр XIII / XIII*, не трудихся въ слѣдъ тебе, і дни члѡвка не възлюбихъ *К Тур XII сп XIV* [СДРЯ, III 135] Ср также (из Третьего послания Курбского) *во время благочестивых твоих дней* — во время твоей благочестивой жизни [Переписка 108]

¹⁶ Нужно сказать, что практика современных переводов Библии далеко не так щепетильно относится к этой сторогости библейских времен и сроков Так, к примеру, в симфониях “модернизированных” англоязычных Библии “час” отсутствует, и соответствующий новозаветный прототип распыляется в переводах через *time*, *moment* и под Сказанное в какой-то степени относится и к переводам библейского *дня* в современных версиях *день* перестает восприниматься как базовая единица библейского времени-жизни, ср переводы традиционных библейских формул *И умер Иов, насыщенный днями* (Иов 42 16) — *And then he died at a very great age* [Collins Bible 537], *число дней твоих очень велико* (Иов 38 21) — *you re so old* [Collins Bible 533], *дни скорби объяли меня* (Иов 30 16) — *there is no relief for my suffering* [Collins Bible 527] При сопоставлении русских и французских библеизмов В Г Гак среди причин “культурного порядка” способствующих “тому, что тот или иной библейский фразеологизм существует в русском языке и отсутствует во французском”, называет “наличие единственного общепринятого перевода Библии Существование во Франции нескольких конкурирующих вариантов Библии

Час Нового Завета задает перспективу нового времени. Наметим тезисно его отличительные черты.

“Персоноцентричность”. Если *день*, движимый восходами и заходами солнца, является носителем “родо-временной перспективы” (выражение В.Н. Топорова), то *час* “движется” поступками людей и задает перспективу личностную: наступление или ненаступление “часа” определяется духовными человеческими проявлениями: ... *вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников* (...): *вот приблизился предающий Меня* (Мф. 26: 46)¹⁷. Этот пример хорошо показывает, как изменение, условно говоря, “масштаба” в названии сокровенного срока (от *дня* к *часу*) задает новое зрение, ведь деталями, по которым можно судить о приближающемся “часе”, являются именно поступки отдельных людей, их душевные проявления, а не, скажем, какие-то природные знамения (которые могли бы сигнализировать о приближении “дня”).

Духовность: *час* манифестирует время, испытывающее; Иисус (это повторяется во всех синоптических Евангелиях) говорит ученикам: *Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать* (Мф. 10: 19), т.е. путь учеников мыслится как повторение “часа” Учителя, прохождение через “час”. Таким образом, испытание является необходимым условием обретения этой новой временной ментальности.

Час Иисуса основывается на свободе выбора, наличии “воли выбирающей”: *часа* можно избежать, *час* может миновать человека (в отличие от *дня*, который мыслится как некая “пядь” жизненного пространства¹⁸, пройденного или предлежащего, неминуемого и всеобщего), ср.: *И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей* (Мк. 14: 35).

Отмеченные особенности подводят нас к мысли, что новозаветный *час* открывает возможность трансцендентного понимания времени: события *дня* реализуются “здесь”, а события *часа* могут реализоваться и “там”, за гранью *дней*, за пределами видимой физической реальности, ведь и День Судный мыслится в духе хилиастического осуществления “здесь”, между тем как *час* (*час последний*) задает перспективу перехода и тем самым связи временного и вечного, ср.: *Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их* (Ин. 13: 1).

Быть может, и в идее *последнего дня* (*extrema / summa dies*) носителей дохристианского сознания акцентировался момент расставания с этим миром, а понятие *последнего часа* несло новую идею — в ст р е ч и в мире том, а значит — ответственности, жизненного счета, итога. И быть может, это традиционное соединение *дня* и *часа* в проклятиях и прославлениях каких-либо жизненных моментов тоже несет следы различных ориентаций, ср. у А. Ахматовой: *Пусть миру этот день запомнится навеки, // Пусть будет вечности завещан этот час...* Во всяком случае язык Нового Завета весьма чувствителен к этой противопоставленности *часа* и *дня* по линии трансцендентного и реалистического понимания времени. В подтверждение приведем отрывок, в котором говорится о наступлении суда Божиего, но так как суд этот вершится в Откровении, в воображаемом пространстве пророческого прозрения, в тексте мы ви-

явилось помехой для фиксации формы выражения (...). В русских же текстах все ссылки даются по Синодальному изданию (1876 г.)” [Гак 1997: 57]. Думается, что и в нашем случае это единство текстового источника играет не последнюю роль.

¹⁷ В оригинале относительно “часа” и относительно “предающего” используется один и тот же глагол *πῦρεκεν*, что, естественно, усиливает ощущение каузативной связи между поступком Иуды и наступлением времени испытания Иисуса.

¹⁸ Ср.: “Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто, пред Тобою” (Пс 39 (38): 6).

дим час, а не день: ... и говорил он (Ангел) громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море, и источники вод (Откр. 14: 7).

Тезис о реалистичности дня и умозрительности часа находится в полном согласии с этимологией этих слов: исходно *день* связан со зрительным образом (многие этимологи возводят *день* к *di- 'сиять, излучать свет'), *день* описывает некое пространственно-временное единство (как кажется, именно пространственность определяет "здешнюю" область реализации событий дня); *час* же, обозначающий время активное, "срочное", свободен от какой-либо пространственности и поэтому способен описывать внутреннее созерцание, задавать область локализации событий как "здесь", так и "там".

Различие сфер локализации событий дня и часа хорошо видно из сравнения примеров, в одном из которых с необходимостью употреблен *день*, манифестирующий начало библейской истории, а в другом — *час*, задающий выход в некое трансцендентное время, события которого если и локализуются, то в каких-то иных, не физических, измерениях: (1) *Настоящая история Откровения начинается в тот день, когда некий семит-кочевник из окрестностей Ура Халдейского услышал зов и повиновался повелению свыше*; (2) *Библия в обеих своих частях есть ... повествование ... о действии Бога в мире от самого начала времен и до того часа, когда перед кончиной одного из апостолов слово Откровения было вручено на хранение Церкви Христовой* (примеры взяты из предисловия академика Даниеля-Ропса к брюссельскому изданию Библии).

Противопоставленность дня и часа по линии наличия / отсутствия "пространственности" — оппозиции, которая является, по сути, другим названием кантовских категорий внешнего и внутреннего созерцания — видна из сопоставления простейших примеров: о дне мы говорим *длинный / короткий*, а о часе — *долгий / краткий* (т.е. такой, который по к а з а л с я *долгим* или *кратким!*). *День можно видеть*, т.е. воспринимать непосредственно, быть его свидетелем, ср.: *В те дни — а вы их видели // И помните, в какие, — // Я был из ряда выделен // Волной самой стихии* (Б. Пастернак); (о похоронах Пастернака) *Перед ним плелась ненужная машина. Под ним была скорбная неписательская толпа — приехавшие и местные жители, свидетели и соседи его дней, зареванные студенты, героини его стихов* (А. Вознесенский); *час* же скорее "слышится", а не "видится", воспринимается в внутреннем зрении, прозревается (совсем не случайна идиоматизация звучащего часа), ср.: ... *сердце его стало качаться, как медная тарелка, но вдруг он застегнулся на все пуговицы и почувствовал: час пришел* (Ю. Тынянов). Данные примеры подводят нас к общелитературному употреблению рассматриваемых слов.

3.3. *День и час в литературном языке.* Думается, что проведенное сопоставление выходит за рамки библейской тематики и имеет собственно лингвистический интерес. Если рассматривать выявленную нами оппозицию под углом зрения "картины мира", то можно видеть: *час* и *день* задают две различные проекции описания жизни в терминах времени, и граница, условно говоря, проходит именно между этими временными показателями. *Час* (а также *мгновение, минута, миг*) проецируют события на внутренний мир: душевный, духовный, представляемый; в системе временных спецификаторов именно они предназначены для описания ментального плана жизни. *День* (как и *дни, времена, век, эпоха, годы, лета...*) описывает мир внешний: социальный, возрастной, природный, культурно-исторический аспекты; члены этого последнего ряда являются выразителями некоего "вещного" плана жизни. В огрубленном виде можно сказать, что слова типа *час* — это темпоральные спецификаторы качества времени (= события), а слова типа *день* — это названия отрезков жизненного пространства, отмеченного событием, это вместилища событий,

ср.: *эпоха плаката, век кино...* И таким образом переход от *дня* к *часу* знаменует смену мировоззрений: восприятие жизни как локализованной вовне сменяется или, лучше сказать, дополняется восприятием жизни в категориях внутреннего созерцания, которое с необходимостью предполагает личностную ориентацию.

Библейский же *день* в этом плане интересен тем, что может использоваться и по типу спецификатора, являясь своего рода темпоральной прокладкой при имени события, ср.: *Коня готовят на день битвы, // Но победа — от Господа* (Притчи 21:31) или *Блажен, кто помышляет о бедном (нищем)! // В день бедствия избавит его Господь* (Пс. 41 (40)). Именно в силу указанной причины в современных англоязычных переводах “день” (*day*) в подобных контекстах отсутствует, и событие называется непосредственно, ср.: *You can get horses ready for battle...; ... the Lord will help them when they are in trouble...* (примеры взяты из [Collins Bible]).

При обозначении жизненно важных сроков также возникает отчетливое ощущение переключки между *днем* и *часом*, и это навевается именно “культурной памятью” данных слов, ср.: *Онегин, помните ли тот час ...* и (из Е. Баратынского) *... Забуду ль о счастливом дне, // Когда приятельской рукою // Пожал Давыдов руку мне!*; (из “Дневника” Е.С. Булгаковой) *Настал день, когда истина открылась Шиловскому и Настал час, когда истина открылась ему.*

В обоих случаях мы видим идею реализации жизненного пути, на котором *день* и *час* отмечают “вехи”, при этом *день* акцентирует в этом “пути” в *нешней*, быть может, публичное (*день всеобщего торжества, день признания, славы*), а *час* — *внутреннее*, интимное (*час прозрения, постижения*). Именно *час* способен к описанию “тайных сроков”, указывающих на осуществление события в пространстве внутреннего созерцания, ср.: *И час настал. Свой плац скрутило время, // И меч блеснул, и стены разошлись. // И я пошел с толпой — туда, за всеми, // В туманную и злую высь* (А. Блок). И это понятно, ведь русский *час* восходит к новозаветному пониманию времени-жизни. Поскольку для этого понимания актуальны идеи личностности и духовности, то и “вехами” для *часа* могут быть далеко не всякие события, ср.: *Он давно хотел испытать себя. Наконец, этот час настал и Он давно хотел отведать мороженого. Наконец, этот *час (нужно: день) настал.*

В качестве итогового приведем пример, в котором одно и то же событие описывается сначала с внешней точки зрения (требующей использование *дня*), а потом — с точки зрения внутренней (и тут на смену *дню* приходит *час*): *Настанет день — и миром осужденный, // Чужой в родном краю, // На месте казни — гордый и презренный — // Я кончу жизнь мою ... Виновный пред людьми, не пред тобою, // Я твердо жду тот час; // Что смерть? — лишь ты не изменишь душою — // Смерть не разорзнит нас* (М. Лермонтов).

4. О СЛОВАХ ИЗ НАШЕЙ “КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ” (ОЧИ И УСТА: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЧЕЛОВЕКА)

4.1. В современном языке... *Очи* и *уста* относятся к стилистически отмеченной — высокой, поэтической — лексике. Следствием этой отмеченности является ограничение сферы их употребления: обладателем *очей* и *уст* может быть только человек. Широко известно замечание Ю.Д. Апресяна о том, что “в ряду квазисинонимов ГЛАЗА, ОЧИ, ЗЕНКИ ... лишь стилистически нейтральное слово ГЛАЗА обозначает орган зрения любого живого существа... Книжное слово ОЧИ и просторечное пейоративное ЗЕНКИ отличаются от своего нейтрального квазисинонима не чисто стилистически, как принято думать, но и семантически. ОЧИ обозначают большие, выразительные, краси-

вые глаза, притом обычно глаза человека. ЗЕНКИ тоже обозначают только глаза человека, но маленькие, некрасивые, неприятные” [Апресян 1986: 67]. Соотнесенность стилистически высокого (или даже просто “книжного”) с человеком является, по-видимому, языковой универсалией, эту тенденцию можно проследить не только на русском языковом материале (ср. *X нашел Y и X обрел Y, X раздражен и X вне себя, X боится и X испытывает страх* — вторые компоненты сравнительного ряда приложимы только к человеку, в отличие от первых, универсальных), но и в других языках, ср.: “В ряду синонимов *face, countenance, visage* ‘лицо’ лишь первое, стилистически нейтральное, слово способно обозначать переднюю часть головы не только человека, но и животного и, следовательно, сочетаться с названием животного: *the monkey’s face, “The face of Katy (имя свиньи) was a tiger’s face (Steinbeck). Countenance и visage*, слова книжного языка, с неизбежными в таких случаях ассоциациями красоты и величия, неспособны обозначать морду животного и используются, следовательно, только применительно к человеку” [Апресян 1995: 252].

4.2. В исторической ретроспективе... Эта выделенность человека на уровне стилистики является плодом развития языка: древнерусские аналоги *очей и уст* не были антропоцентричными, ср.: *И ѿже имещи прѣжде рыбѣ, възми и, отъврзь оуста ѿи, обращещи статирь. Мф. XVII. 27. Остр. ев.* [Срезневский, III: 1273]. *Избави мя ... яко овцу отъ усть лвовыхъ. Сл. Дан. Зат.* [Срезневский, II: 64]; *Меринъ игрень ... чалинка въ верхи повъше очей* [СлРЯ XI—XVII вв.: 327]¹⁹. Весьма показателен современный перевод фразы из Послания апостола Якова *И конемъ оудзы во оуста влагаемъ — Мы влагаем удила в рот коням.*

Если в современном языке *очи* и *уста* прилагаются только к эстетически приятным, “положительным” вещам (*очи* не могут быть *тупыми* или невыразительными, *уста* не могут *изрыгать проклятия* или *браниться...*), то в древнерусском языке оуста и очи были универсальным обозначением соответствующих объектов без какой-либо их качественной спецификации, ср. такие выражения, как *очеболь* = ‘имеющий большие глаза’, *разоць очи* = ‘косые глаза’, *оустнатый* = ‘большеротый’ (примеры из [Дьяченко 1993]).

Замечание. В последнем случае прилагательное описывает чисто физиологическую особенность субъекта и образовано от однокоренного с *устами* слова *оустнѣ*, которое у Алипия определяется как “губы” (в противоположность *оустамъ* — “рту”) [Алипий 1991: 81], а в Словаре к Новому Завету переводится как “язык”: *идъ аспѣдовъ под оустнами (= языком) нхъ Римл. 3, 13; сѣн людѣ оустнами (= языком) ма чтѣтъ. Марк. 7: 6* [Гильтебрандт, VI: 2267].

От слова *оуста* также имелось определение — *оустатѣи*, — но оно называло не внешний, физический, признак, а некоторое общее свойство субъекта, связанное с его “языковой компетенцией”: И.И. Срезневский определяет *оустатѣи* как “говорливый”, “зловычный” (в современ-

¹⁹ Некогда, в условиях другой языковой ситуации человек и животное (эти два “источника жизненности”, по выражению А.А. Веселовского) выступали как равноправные объекты описания. Скажем больше: многое из того, что сейчас воспринимается как зооморфизм, первоначально описывало человеческое содержание. Так, *лиати* первым своим значением имело ‘бранить, наветовать, клеветать’: *Лающе Его, ищущи уловити нѣчто отъ усть Его (Лук. 11: 54) [Дьяченко 1993: 279], ср. пример из [Срезневский, II: 13]: Лаяль ми посадникъ вашъ Остафеи, назваь мя псомъ. Новг. лет.* Обратим внимание на модель управления: *лет* ведет себя так же, как *ругает*, ср. употребление *лиать* в значении “обзывать” из [ЖМор.: 131]: (патриарх несколько раз назвал боярыню Морозову *страдалицей* — “каторжницей” — и *вражьей дочерью* — Е. Я.) *Блаженняя же отвеща тихим гласом: “Грешница аз, но обаче несть вражья дщерь, не дай мя сим, патриарх...* *Рускати* имело несколько значений, в каждом из которых присутствует “быстрота” и “стремительность”, но никак не выражена зооморфная природа субъекта [Срезневский, III: 123]. Приведем пример на *сърыскивати* = ‘сбегаться’ из Новгородской летописи 6926 г.: ... и начаша звонити по всему граду, и начаша людѣ сърыскивати съ обою страну, акы на рать въ dospѣсѣхъ на мость великыи... [Срезневский, III: 535] (подробнее о человеке и животном как предмете и средстве языкового описания см. в [Яковлева, в печ.]).

ном речевом обиходе это свойство передается по видимому, словом *языкостый*) ср Оунее есть жити в земли пустѣ, нежели съ женоу язычноу сварливоу и оустатоу *Писс сб 188* [Срезневский, III 1281] Для нас важно, что и в этом случае со словом *оуста* не связывались никакие априорные "положительные" ассоциации как видим, в древнерусском языке уста" могли и злословить, и проклинать

4.3. В терминах семантики... Соотнесенность "высоких", "книжных" вариантов с человеком в условиях стилистической дифференциации может иметь семантическое объяснение, ведь компонент 'умозрительность', который присущ исконно церковнославянской лексике, приложим именно к человеку

Но как с этой точки зрения следует интерпретировать современное языковое восприятие таких слов, как *очи* и *уста*? Можно ли их считать абстрактными, умозрительными вариантами нейтральных *глаз* и *губ*? В чем, собственно, может проявляться подобная "абстрактность"? В отсутствии физической пространственности? В отвлечении от внешних признаков соответствующих объектов?

Языковой материал позволяет говорить о двух функциональных возможностях использования *очей* и *уст*, в каждой из которых эти слова уникальны в том смысле, что описывают свою, особую, предметную область

Первая связана с образностью, наличием в семантике данных слов своего рода эстетической составляющей *Очи* — это не просто глаза, но выразительные, красивые, производящие впечатление Именно поэтому слово *очи* может быть просто противопоставлено слову *глаза* без каких-либо специальных пояснений мы имеем в виду известную фразу из "Молодой гвардии" А Фадеева — *У Ульяны не глаза, а очи*, где *очи* не только называют соответствующий объект, но и характеризуют его *Уста* — это не просто губы или рот, но и одновременное их определение, ср пример из Словаря эпитетов *О, Боже мой! Как лгут прекрасные уста, // Как холодны твои пленительные очи* (Апухтин) [Горбачевич, Хабло 1979 211]

Вторую возможность рассматриваемые слова обретают вследствие актуализации компонента "духовность" в современном языковом сознании *уста* и *очи* чужды обыденности, не нейтральны Именно поэтому "высокие" *очи* (в отличие от нейтральных *глаз*) описывают не только физические, но и духовные, присущие только человеку, способности, ср *перед его мысленными очами*, где *очи* прилагаются к памяти, воображению, *увидеть мысленными очами*, где *очи* являются органом интуиции

Аналогично и *уста*, помещаясь в разряд "высоких", теряют ассоциативную связь с анатомией и начинают восприниматься как источник речи, а значит — выразитель существа человека Не случайно из множества речений и поговорок в современном обиходе удержались лишь те, что связаны с этой смысловой доминантой *из уст в уста, из первых уст, у всех на устах, не сходит с уст, устами младенца* Зафиксированные у В И Даля пословицы, описывающие способность *уст* к восприятию "гастрономических" впечатлений, для носителя современного языка звучат архаично, ср *Этот кус не твоих уст, Всяк несет уста, где вода чиста, У кого в руках, у того и в устах* [Даль, IV 514]

Любопытно, что утверждению в этом новом статусе названий "орудий" высшей разумной деятельности — созерцания (*очи*) и речепроизводства (*уста*)²⁰ — способствует и подспудное действие компонента "абстрактность",

²⁰ О том, что дар слова, способность к речепроизводству в русской языковой картине мира относится к разряду высших ценностей, синонимизируясь с проявлением разума в человеке, свидетельствует понимание самого определения *словесными*, которое наряду со значением "словами выражаемы" имело и такие, как 'разумный', "духовный" [Срезневский, III 417] Ср 'Словесный (*λογος*) = ученый (Деян 18 24), *λογος* = разумный, духовный (Рим 12 1, Петр 2 2), *словеснѣ* = умственным образом, или что касается до ума, в рассуждении ума" [Дьяченко 1993]

связанного с церковнославянским происхождением рассматриваемых слов что называют *уста* (рот? губы? язык?) в высказываниях типа *Уста славят Господа, Во власти живых уст* или даже *Из уст в уста* ? Очевидно, что современным языковым сознанием предметная область данного слова воспринимается обобщенно²¹ Что называют *очи* в высказываниях *духовные очи, очи сердца, души, телесные очи* ? *Очи* здесь — не простой орган зрения, а название некоей общей способности человека к постижению явлений, способности, которая реализуется либо путем наружного зрения (*телесные, плотские очи*), либо посредством внутреннего зрения (*духовные очи*) Ср *И самого меня являешь ты // Очам души моей* (Ф Тютчев), *и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его* (Еф 1 18) В древнерусском языке “открыть сердечные очи” значило “открыть возможность к пониманию”, ср *Ѡверзль башеть ему БѠ очи срѣдчѣи* [ЛЛ 466] Как обозначение нетривиальной способности к восприятию и переживанию чувств *очи* используются в следующем примере (из Второго послания Курбского) *аще и многогрешному, но очи сердечные имущу* [Переписка 101], ср перевод *пусть и многогрешному, но имеющему чуткое сердце* Данный пример подсказывает, что выражения *сердечные очи, очи сердца* могли пониматься двояко — в зависимости от акцента на том или другом компоненте Определение *сердечные* актуализирует в *очах* “внутреннее”, т е *сердечные очи* — это “внутреннее, мысленное зрение”, ср *Плачу, а очи сердечные при реке Волге Вижу пловут стройно два корабля златы* [ЖАВв 9] *Очи* же в отношении “сердца” — *сердечного* — актуализируют “духовность” *сердечные очи* — это “чуткое (зоркое!) сердце”

Итак, будучи исходно названием “части”, *очи* и *уста* способны к описанию “целого” Приведем пример, где *око* выступает заместителем всего субъекта и, как следствие, обладает способностью не только “видеть”, но и “слышать”, а также “принимать решения”, “поступать” и под *Всевидающее же око Божие виде стонание их и не презре, но просимой ими от него восхоте им даровати и к великой страдалице причтати неразлучно* [ЖМор 137]

Замечание. Эта особенность отличает архаическое языковое сознание для которого естественно описание абстрактных способностей человека его поступков через название конкретных органов, обеспечивающих эти способности, не только отдельные действия но и целые ситуации могли описываться посредством называния “инструментов” их реализации Так, *рука* служила словесным заместителем “власти”, “силы”, “помощи”, а также абстрактной причинности “посредства” *отъ руки всякого зверя* — от всякого зверя (Быт 9 5), *преддаются в руки оружию* — преданы будут мечу (Пс 62 11) *глагола Господь рукою Моисея* — говорил Господь через Моисея (Лев 10 11) [Дьяченко 1993 559], *ноги и стопы* могли описывать “поведение” *направити ноги наша на путь миренъ* (Лук 1 79), жизненную позицию, “путь” но и *ходящимъ въ стопахъ вѣрны* — но и живущим в вере (по законам веры) (Римл 4 12) *оухо* традиционно передавало идею “внимания” *прикони ко мнѣ оухо* — обрати на меня внимание Само “внимание” в древнерусском языке могло истолковываться по разному в зависимости от орудия” его реализации *впяль душею* — пристратился, страстно полюбил *впяль ужомъ* — подумал, принял к сведению, обратил внимание [Дьяченко 1993 81]

616] Мы видим смысловое развитие лексико-семантической группы которое определяется кирилло-мефодиевским переводом — отождествлением *слова* с “логосом”

²¹ В [Павлович 1995 121] ‘уста’ выделяются в качестве (поэтического) инварианта ряда губы, уста, рот, пасть, зев Любопытно что в подавляющем большинстве случаев образная реализация этого инварианта основана на губах и ‘рте как наиболее подходящих объектах сравнения ‘Уста’ (в настоящее время!) в значительно меньшей степени способны порождать метафору, что связано с меньшей отчетливостью того конкретного образа, от которого отталкиваются ассоциации сравнивающего

То, что *уста* и *очи*, а не *губы* и *глаза*, могут мыслиться как целостная духовная сущность (*уста* — выступать как синоним “человека говорящего”, а *очи* — как синоним “человека созерцающего”), определяется и фактором “старшинства”: *губы* и *глаза* — слова куда более поздние, они получили широкое распространение только в XVI — XVII вв., при этом первоначально выступали как сниженные экспрессивные варианты нейтральных и универсальных *уст* и *очей* (см. об этом [Черных 1994. II])²². Закономерно поэтому, что религиозные словесные формулы используют *уста* и *очи*. Думается, однако, что рассматриваемые слова воспринимаются носителем современного языка как единственно возможные в контекстах типа *перед мысленными очами, все лгут прекрасные уста* не только в силу идиоматизации, но и потому, что за ними закрепились особая предметная область. Сказанное подтверждается фактами фразеологической сочетаемости, которые свидетельствуют о выборочности языковой памяти. Дело в том, что в языковом узусе не удержались те фразеологизмы, в которых слово *очи* используется в нейтральном значении тривиального органа зрения, ср. *Сам своим беззаконными очима видал еси* [Переписка...: 24]; *Аще ли не вѣруете. да оузрите своим очима* Л Л. 1377 [СДРЯ, II: 301]. В подобных случаях естественным образом произошла замена *очей* на *глаза*, и фразеологизм видоизменился, чего нельзя сказать о выражениях *мысленные очи, очи сердца, души, видеть внутренним оком* и под.

Замечание. Аналогичная перекодировка произошла в фразеологизмах со словом *перст*. В современном языке это слово обладает фразеологической связанностью которая задает соотношение с определенным кругом ситуации и, как следствие, наделяет *перст* устойчивой оценочностью, ср *указующий перст, перст судьбы*. Эта оценочность влечет к замене *перста* на *палец* в нейтральных, лишенных возвышенности фразеологизмах *бремя фарисейским обычаем на мя паложисте, сами же ни единым перстом не прикоснутесь* [Переписка 16].

Становится понятным, почему *очи* и *уста* труднопереводимы, ведь им нет точных аналогов в других языках. к примеру, как перевести сочетание *очи души* без потери смысла? Приведем в смысловом плане адекватную передачу “очей” с помощью “памяти” в современной англоязычной версии 109-го псалма. *Да будут они всегда в очах Господа .. — May the Lord always remember their sins* (цит по [Collins Bible]).

4.5. В ряду характеристик человека.... Итак, литературный язык сохранил для нас значения и многие модели употребления *очей* и *уст*, чего нельзя сказать о других “высоких” наименованиях частей тела. Сама эта парность названий, наличие “высоких”, поэтических вариантов, сохранилась лишь в редких случаях: *перст* и *стопа* — фразеологически связанные единицы, а *перси, ланиты, рамена* всецело относятся к прошлому языка. Между тем, *очи* и *уста*, находясь и на периферии повседневной речевой практики, в сознании носителей языка имеют вполне четкие смысловые ассоциации.

Устойчивость и универсальный характер этих ассоциаций, безусловно, определяют активностью использования рассматриваемых слов в культурно-значимых для носителей языка текстах — философских, поэтических, религиозных. Причина этого особого положения *очей* и *уст*, на наш взгляд, определяется ценностными представлениями носителей языка. В ряду характеристик человека *глаза* и *язык*, по-видимому, относятся к основным — и как два орудия воздействия, и как два источника впечатлений о человеке. Поэтому “высокие” *очи* можно рассматривать как эстетический эквивалент лица (настроения, характера..), а *уста* — как этический эквивалент личности (ее речевого поведения).

²² Приведем пример из жития XVII века, где эти слова употребляются как равноправные, являясь своего рода семантически дубликатами *А глаза-таки у мене бо ят по-старому и глоси заплывають, и аз раками глоси содираю со очей моих с печалю великою* [ЖЕП 102]

Кроме того, благодаря наличию “высокого” стилистического варианта для названия глаз в русском языке сохраняется противопоставление материального (физического) и идеального (духовного) зрения.

5. ИТОГИ

Приведенный в работе материал свидетельствует о том, что вопрос о “культурной памяти” слова встает в тех случаях, когда оно “помнит” или, напротив, “забывает” (а быть может, и реконструирует) какие-то значимые в культурной традиции носители языка представления и понятия “Культурная память” не обязательно подразумевает прямое и неукоснительное наследование исконной семантики языковой единицы. Слово может “помнить” то, что существенно с точки зрения новых языковых отношений. Так, семантический акцент на “умозрительности” в церковнославянизмах ставит их в “духовную” оппозицию физически-конкретному, “вещному”. Воспринимая слово *грядущее* как “старшее” по отношению к синониму *будущее*, современное сознание связывает с этим старшинством ценностную отмеченность. В результате сфера употребления слова *грядущее* сужается, специализируется. Но эта специализация происходит по определенной “культурной программе”, которая заложена в слове и о которой мы можем судить, обратившись к каноническому текстовому образцу сужения сферы употребления слов *грясти*, *грядущее*, *грядущий* в соответствии с этим Образцом позволяет догадаться о исходной связи “книжности” и “церковности” в русской культурной традиции.

Наблюдение за изменениями в употреблении таких слов, как *обретать*, *преображать*, *веровать*, *ведать*, *искушать*..., позволяет выдвинуть предположение: вслед за сознательной реформаторской деятельностью по секуляризации лексики последовала своеобразная “реакция” литературного (секуляризованного) языка, выразившаяся в том, что на уровне прагматики многие языковые средства получили добавочную ценностную отмеченность — компонент “духовность”, который стал оказывать существенное влияние на их употребление.

Механизмы “памяти” избирательны, поскольку в значительной степени основаны на некоем культурном посредничестве — языке писателей (и шире — носителей языкового самосознания). Именно в этом языке может происходить выравнивание или даже выстраивание системных отношений между тематически близкими словами (ср. *день* и *час*, *будущее* и *грядущее*). Важно, однако, что подобная избирательность “культурной памяти” помогает сохранить какие-то существенные с точки зрения носителей языка представления и понятия — элементы “картины мира”. Так, *очи* и *уста* в условиях современной языковой ситуации заметно сузили свою предметную область, сосредоточившись даже не просто на “человеческой тематике”, но на описании “эстетических” (*очи*) и “этических” (*уста*) проявлений человека. Ценностная отмеченность этих слов позволяет высветить такие характеристики человека, как способность к воображению, мысли (наличие *духовных*, *сердечных очей*) и словесный дар (который обеспечивается *устами*).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алипий 1991 — Иеромонах Алипий (Гаманович) Грамматика церковнославянского языка М, 1991
Апресьян Ю Д 1986 — Интегральное описание языка и толковый словарь // ВЯ 1986 № 2
Апресьян Ю Д 1995 — Английские синонимы и синонимический словарь // Избранные труды В 2-х томах М, 1995
Апресьян Ю Д 1997 — ЗНАТЬ 1 и ВЕДАТЬ 3 // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ рук акад Ю Д Апресьяна Первый выпуск М, 1997

- Бабаева Е Э, Журавлев А Ф, Максеев И И* 1997 — О проекте “Исторического словаря современного русского языка” // ВЯ 1997 № 2
- БАС** — Словарь современного русского литературного языка АН СССР В 17-ти томах М—Л, 1959—1965
- Библия** — Библия Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями Изд 2-е Брюссель, 1983
- Бицилли П М* 1996 — Заметки о роли фольклора в развитии русского языка и русской литературы // Избранные труды по филологии М, 1996
- Буслаев Ф И* 1959 — Историческая грамматика русского языка М, 1959
- Буслаев Ф И* 1992 — Преподавание отечественного языка М, 1992
- Верещагин Е М* 1982 — У истоков славянской философской терминологии ментализация как прием терминотворчества // ВЯ 1982 № 6
- Верещагин Е М* 1988 — Терминотворчество Кирилла и Мефодия // ВЯ 1988 № 2
- Виноградов В В* 1967 — Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития М, 1967
- Виноградов В В* 1977а — К истории лексики русского литературного языка // Избранные труды Лексикология и лексикография М, 1977
- Виноградов В В* 1977б — О некоторых вопросах исторической лексикологии // Избранные труды Лексикология и лексикография М, 1977
- Гак В Г* 1985 — К эволюции способов речевой номинации // ВЯ 1985 № 4
- Гак В Г* 1997 — Особенности библейских фразеологизмов в русском языке (в сопоставлении с французскими библеизмами) // ВЯ 1997 № 5
- Гильтебрандт П А* — Справочный и объяснительный словарь к Новому Завету Т I—VI Munchen, 1988
- Гильтебрандт П А* — Справочный и объяснительный словарь к Псалтири Munchen, 1993
- Горбачевич К С, Хаблю Е П* 1979 — Словарь эпитетов русского литературного языка Л, 1979
- Даль В И* — Толковый словарь живого великорусского языка В 4-х тт М, 1991
- Дьяченко Гр* 1993 — Полный церковно-славянский словарь (репринт 1890 г) М, 1993
- Евангелие** — Евангелие от Матфея на греческом, церковнославянском, латинском и русском языках с историко-текстологическими приложениями М, 1993
- Живов В М* 1996 — Язык и культура в России XVIII века М, 1996
- ЖАВВ** — Житие протопопа Аввакума Житие инока Епифания Житие боярыни Морозовой СПб, 1994
- ЖЕп** — Житие инока Епифания // Житие протопопа Аввакума Житие инока Епифания Житие боярыни Морозовой СПб, 1994
- ЖКир** — Житие и подвиги преподобного отца нашего игумена Кирилла // Преподобные Кирилл, Ферапонт, Мартиниан Белозерские СПб 1993
- ЖМор** — Житие боярыни Морозовой // Житие протопопа Аввакума Житие инока Епифания Житие боярыни Морозовой СПб, 1994
- ЖСавв** — Житие Саввы Сторожевского М, 1994
- Кречмер А* 1995 — Актуальные вопросы истории русского литературного языка // ВЯ 1995 № 6
- ЛЛ** — Лаврентьевская летопись М, 1997
- МАС** — Словарь русского языка В 4-х томах М, 1984
- Новый Завет** — Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа (в русском переводе с параллельными местами и приложениями) Брюссель, (6/г)
- Павлович Н В* 1995 — Язык образов парадигмы образов в русском поэтическом языке М, 1995
- Переписка** — Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским М, 1993
- Преображенский А* — Этимологический словарь русского языка М, 1910—1914 Т I А — О
- Седякови О А* 1992 — Филологические проблемы славянского Средневековья в работах Риккардо Пиккио // ВЯ 1992 № 1
- Сл Акад** — Словарь Академии Российской В 4-х томах СПб 1789—1794
- СДРЯ** — Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв) Т I—IV М, 1988—1991—
- СлРЯ XI—XVII вв** — Словарь русского языка XI—XVII вв Вып 12 М, 1987.
- Словарь синонимов** — Словарь синонимов / Под ред А П Евгеньевой Л, 1976
- Срезневский И И* — Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам Т I—III СПб, 1893—1913
- Степанов Ю С* 1997 — Константы Словарь русской культуры М, 1997
- Успенский Б А* 1985 — Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века М, 1985

- Успенский Б А 1994 — Очерк истории русского литературного языка (IX—XIX вв) М , 1994
- Ушаков Д Н — Толковый словарь русского языка / Под ред Д Н Ушакова Т I—III М , 1935—1940
- Черных П Я 1994 — Историко-этимологический словарь современного русского языка В 2-х томах М , 1994
- Юрченко А И 1988 — Изборник 1073 г интерпретация основных древнерусских философских терминов // ВЯ 1988 № 2
- Яковлева Е С 1994 — Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия) М , 1994
- Яковлева Е С 1995 — *Чис* в русской языковой картине времени // ВЯ 1995 № 6
- Яковлева Е С (в печ) — Человек ⇔ животное взаимные языковые проекции // Лики языка Сб трудов в честь Е А Земской М (в печ)
- Collins Bible — Good News Bible Today's English Version The Bible Societies Collins Bible 1982

© 1998 г. В.Б. КРЫСЬКО

**ДРЕВНИЙ НОВГОРОДСКО-ПСКОВСКИЙ ДИАЛЕКТ
НА ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ФОНЕ***

В этом году исполняется 47 лет со времени обнаружения новгородских берестяных грамот. Между тем в центре внимания палеорусистов и, шире, славистов всего мира они оказались лишь в последние пятнадцать лет. Всплеск энтузиазма начала 50-х годов сменился признанием малой информативности берестяных документов с лингвистической точки зрения еще в 1980 г. в посмертном издании "Истории русского языка" А.В. Исаченко утверждалось, что "для истории языка они дают очень мало. Наше представление о древненовгородской *lingua vernacula* (диалекте – ВК) едва ли изменилось из-за опубликования писем на бересте" [Issatschenko 1980: 67–68].

Тридцатилетний интервал, разделяющий открытие грамот и первые попытки их действительно научного и системного лингвистического истолкования, является следствием предшествующего периода в развитии советского языкознания, когда сравнительно историческое языковедение, и в частности историческая русистика, были практически уничтожены устами марристов и руками чекистов. Ко времени известной дискуссии 1950 г. "связь времен" в палеорусистике порвалась настолько решительно, что никакие наспех изготовленные учебники старославянского языка и исторической грамматики уже были неспособны возродить былые знания, былой уровень науки. В этих условиях введение в научный оборот принципиально нового лингвистического материала просто не могло получить адекватного отклика, и естественной реакцией на все то новое, что несли с собой берестяные грамоты, стало возобладавшее представление об их "безграмотности"¹.

Медленное изменение ситуации в исторической русистике, которое ознаменовалось в 60–70-е гг. появлением обобщающих работ, вновь, после полувекового перерыва, опирающихся на материал древних рукописей, постепенно все более совершенствовавшимися публикациями древнерусских памятников, подготовкой исторических словарей, отчасти восстановило статус русского исторического языкознания как науки и привлекло к древнерусскому языку внимание специалистов по общей и индоевропейской лингвистике, сумевших нетрадиционно взглянуть на традиционные проблемы и увидеть новое и нетривиальное там, где другим виделось лишь искаженное старое. Именно этот свежий взгляд со стороны и сделал возможным "реабилитацию" берестяных грамот как ценнейшего источника по русской языковой истории.

Впечатляющие опыты научной интерпретации лингвистического материала берестяных грамот, предпринятые в начале 80-х гг. А.А. Зализняком, привели не только к выявлению новых данных и распространению новых идей, но и к возрождению из научного небытия целого ряда фактов и гипотез, хорошо известных отечественным

* Предварительную версию статьи см. [Крысько 1997].

¹ Впрочем в смешении букв ъ и о, ѣ и ѣ, присутствующем отнюдь не только в бытовой системе письма, но и многим книжным текстам (ср., например в ЧН к XIII 17–17 об. *съ вѣи на вѣиноу избѣжнмѣ ко вѣжмъ пѣвелъ тѣго нѣзѣ шѣвати двѣими шѣвами пѣже дѣстѣишъ по томе*), трудно усматривать особый орфографический прием, но кажется более правомерным видеть именно нетвердость орфографических навыков.

ученым дореволюционной школы и классикам зарубежной славистики, но прочно забытых палеорусистикой в пору марристского террора и постмарристского безвременья Приходится лишь пожалеть о тех значительных затратах времени и сил, которые требуются современной науке для обоснования положений, высказанных и доказанных семьдесят или сто лет назад Так, всем историкам русского языка, очевидно, памятна блестящая расшифровка контекстов из грамот и летописи, содержащих глагол *рути* "подвергать конфискации имущества" [Зализняк 1984а 108–113, 1984б, 1986 168–171] Этот тонкий и глубокий анализ имел бы еще большее значение для науки, если бы А Х Востоков и А А Потебня не установили семантику и этимологию, а Б М Ляпунов – правильную форму инфинитива указанного глагола [Вост , 2 157, Потебня 1881 49, Ляпунов 1926 19] Яркое и основательное исследование древнерусских идеографических написаний типа *ѡддинъ = осподинъ* [Зализняк 1990, 1993 233–241] предвосхищено кратким примечанием Л Л Васильева [1908 205–206], согласно которому "здесь мы имеем (дело) просто-напросто с особым графическим приемом" и "эти сокращения надо читать именно без г, которое является излишним остатком традиционного письма" Не утратили значения и плодотворные идеи Васильева [1907 252–253, 1908] относительно особых явлений на границе предлогов / приставок и последующих корней, начинающихся с гласной, типа отмеченных в берестяных грамотах *оув Ыванова, к Июрию, възъиду* и др (ср [Shevelov 1972 XX–XXIV]), ссылка на Васильева [1905 222–223] была бы, думается, уместна и при изложении истории имени *Юрий* (ср [Зализняк 1995 86–87]) Трактовку Л Л Васильева [1909 311–312] по существу повторяет истолкование эволюции форм со вторым полногласием, отстаиваемое, вслед за историко-фонетическими работами 70–80-х гг, автором этих строк [Крысько 1994б 17–18] При установлении польского соответствия к наречию *нинѣ* [Зализняк 1995 486] полезно было бы учесть, что " совершенно аналогичные с п и п і е образования встречаются также в тех старших среднеболгарских текстах, которые в других случаях строго различают и и ѣ", и что, тем самым, возможна реконструкция "праслав п і п ѣ" [Ильинский 1909 242, 244] Возвращение классических трудов в современный научный обиход, бесспорно, позволило бы избжать ссылок на новейших исследователей рукописей при повторении старых примеров неординарных изменений, типа прогрессивной ассимиляции по глухости в форме *кте* из русской части "Саввиной книги" [Соболевский 1884 138, 153–154, Зализняк 1995 68] или замены *-ого* на *-ога* в форме *осмога* из "Захариинского паремейника" 1271 г [Каринский 1928 236, Зализняк 1993 224] С другой стороны, учет зарубежной славистической литературы также мог бы облегчить "новгородистам" решение сложных проблем Так, при анализе написаний с корнем *въх-*, по-видимому, стоило бы иметь в виду специально посвященную им статью Д Савиньяка [Savignac 1975] "Вопрос о том, имеется ли связь" между древненовгородскими притяжательными прилагательными типа *Зуикевъ* и польскими фамилиями типа *Mickiewicz* [Зализняк 1995 184], существенно проясняется благодаря работе Г Шевелева [Shevelov 1971], показавшего, что достаточно поздние (с XV в) образования на *-ewicz* в польском имеют белорусское происхождение, предложенная американским исследователем интерпретация этих форм как результата прогрессивной палатализации [к] после палатальных и палатализованных согласных позволяет не связывать *Зуикевъ* 'с влиянием др -новг диалектного окончания *-е* в И ед мужского рода" [Зализняк 1995 184] (что оставляет необъясненным отсутствие форм типа **Иваневъ*), но дает возможность соотнести их с зафиксированными в псковской письменности формами *толке, колке* Псков I лет , 87, 108, вероятно, реликтивно отражающими прогрессивную ассимиляцию по мягкости (ср [Васильев 1902 23])

К числу давно высказанных (но оттого не обязательно верных) гипотез, ставших популярными в современной палеорусистике, принадлежит и идея о западнославянском генезисе древних жителей Новгорода и Пскова и их диалектов Предположение это было выдвинуто еще в 1834 г историком М Т Каченовским, в инициированной

(а может быть, и написанной) им статье, которая была опубликована под именем М. Перемышлевского, указывалось, что "общества, возникшие на берегах Днепра и Волхова, не могли иметь одного начала" и что "...колония, основательница Новгорода, должна была принадлежать которому-нибудь из племен, известных вообще под именем Славян Немецких" (цит. по [Петровский 1920: 365–366]). Несмотря на осторожное возражение М.П. Погодина, подчеркнувшего, что "филология должна помочь в этом отношении истории и объяснить, есть ли какая связь Новгородского наречия с Польским, которое принадлежало так называемым Немецким Поморским Славянам" (цит. по [Петровский 1920: 367]), "светлая мысль" Каченовского "о заселении новгородской области с балтийского Поморья" нашла сторонников в лице только что процитированного А.А. Котляревского, С.А. Гедеонова, И.Е. Забелина (см. [Петровский 1920: 367–368]). Уже в начале уходящего столетия эту гипотезу горячо поддержал Н.М. Петровский (по его собственному признанию, "отнюдь не лингвист"), который, справедливо заметив, что "любая правильная мысль... может быть обставлена неверными доказательствами", дал несколько образцов подобных доказательств новгородско-западнославянского родства, как то: прогрессивную ассимиляцию *съдоровъ* > *сдоров* > *сторов*, имя *Валфромей*, сопоставленное с польск. *Varłomiej*, начальное *M* в имени *Микула*, имена *Ян*, *Матей* и даже гипокористику *Домаи* (от *Домаслав*, *Домажир* и под.), поставленную им в связь с *Thomas* [Петровский 1920: 369–385]

Правда, мнения о родстве западославянских языков и северо-западных ("кривичских") восточнославянских говоров высказывались и лингвистами [Соболевский 1912: 46–48; 1916: 140; Шахматов 1913: 9–10; 1915: 101–102, 318], причем в качестве аргументов рассматривались цоканье, сопоставляемое с мазурением, а также [гл], [кл] < *dl, *tl и нулевое окончание в третьем лице презенса; однако тот же А.И. Соболевский [1886; 1912: 48] обратил внимание и на новгородско-сербские схождения.

В наши дни гипотеза западославянско-новгородского родства нашла развитие в глоттогонических трудах Г.А. Хабургаева [1979: 108–119; 1980: 80–81] (см. рецензию [Shevelov 1982]) и в "лингвогенетических" исследованиях С.Л. Николаева, утверждающего, что «...характерные кривичские черты, такие, как рефлексы *tl, *ĕ и в особенности сочетаний дентальных с -j- и веларных в позиции II палатализации... объединяют кривичские диалекты с лехитскими и противопоставляют их всем остальным восточнославянским. Эти черты никоим образом (позволительно спросить, почему? – В.К.) не могут быть расценены как "периферийные архаизмы" восточнославянского континуума, а, напротив, должны (!) считаться пережитками того состояния, когда кривичский племенной диалект, еще не войдя в близкий контакт с другими будущими восточнославянскими племенными диалектами и не затронутый общевосточнославянскими конвергентными процессами, представлял собой особый позднепраславянский диалект, входивший вместе с северными западославянскими диалектами в единый лингвогеографический ареал» [Николаев 1990: 62]. Канонический статус данное положение получило в следующей формулировке: "...в определенный момент развития праславянского языка... выделяется северная (точнее, северо-западная) группа древних диалектов, включающая польский (!), севернолехитские, лужицкие и севернокривичский" [Зализняк 1993: 232].

Весомую поддержку кривичско-западославянская гипотеза получает, на первый взгляд, в трудах В.В. Седова. Однако, ни в коей мере не ставя под сомнение огромное значение многолетних исследований ведущего российского археолога, снискавших ему широкое признание, и не скрывая своего полного невежества в проблемах археологии, мы все же считаем возможным и даже необходимым откликнуться на его статью, напечатанную на страницах "Вопросов языкознания" и, следовательно, рассчитанную на языковедов [Седов 1994]². Внимательное и непредубежденное чтение этой работы, представляющей собой, судя по всему, квинтэссенцию взглядов ученого на восточно-

² Далее ссылки на страницы этой статьи даются в скобках: курсив и пометы в скобках здесь и далее наши.

славянский этно- и глоттогенез, заставляет констатировать, что она скорее отражает зависимость археологии от новейших разысканий лингвистов, нежели дает реальные археологические аргументы в пользу известных лингвистических построений. Чрезвычайно показательным сопоставлением крайне неопределенных археологических выводов с уверенными лингвистическими – которые, впрочем, под пером неспециалиста выглядят иногда довольно странно и разве что коллегами-археологами могут расцениваться как сильная сторона концепции исследователя и "краеугольный камень всей системы его доказательств" [Буров 1996: 126]. Так, отмечая, в связи с культурой псковских длинных курганов, что "поиски истоков этой культуры приводят археологов к Средневисленскому региону, пока, правда, *весьма гипотетически*" (с. 9), В.В. Седов в то же время заявляет: "Говоры славянского населения, оставившего ранние длинные курганы, составили древненовгородский диалект... Ряд морфологических и синтаксических (?) особенностей, свойственных древненовгородскому диалекту, его характер (?) и (!) отсутствие второй палатализации дали основание А.А. Зализняку полагать, что славянская группировка, расселившаяся в Новгородско-Псковской земле (,) в языковом отношении некоторое время развивалась обособленно от основного ядра (!?) славянского мира" (с. 9–10). Аналогичное соотношение археологических и лингвистических аргументов наблюдается и при обращении к новгородским словенам, ср. "Население, оставившее культуру сопек, *с полным правом* можно отождествлять с ильменскими славянами... Археология пока *не располагает фактами* для освещения путей и деталей расселения этой славянской группировки" – но: "В результате расселения ильменских славян древненовгородский диалект дифференцировался на две части (!) В западной и юго-западной частях ареала псковских длинных курганов, не затронутых этой миграцией, получают развитие псковские говоры (а какие говоры развивались там до тех пор? – В.К.), а в области расселения словен ильменских – западное наречие (!) севернорусских говоров" (с. 10).

Таким образом, авторитетный археолог, видимо, считает древненовгородский диалект общим предком псковского и восточноновгородского (словенского). Любопытно, что отождествление псковской группировки славян с кривичами производится В.В. Седовым, так сказать, задним числом, только после того как мы узнаём, что культуру смоленско-полоцких длинных курганов, возникшую в результате "переселения... населения культуры псковских длинных курганов в южном направлении" (с. 10), "следует считать кривичской" (с. 11). "К кривичам, – добавляет автор, – *есть все основания* относить и псковскую группировку славян" (с. 11).

Не менее поучительная картина открывается перед нами при ознакомлении с историей населения Волго-Окского междуречья: с одной стороны, "вопрос о происхождении славянской группировки, представленной браслетообразными сомкнутыми и заходящими височными кольцами (,) *на археологических материалах пока не поддается разрешению*" (с. 12), с другой – "имеются все основания утверждать, что именно диалект этой племенной группировки славян и положил начало развитию владимиرو-поволжской группе (так!) северновеликорусских говоров... Топонимические данные... свидетельствуют, что заселение ранними славянами Волго-Окского междуречья было результатом того же большого миграционного потока из Повисленья через Среднее Понеманье и Псковско-Ильменские земли" (с. 12) – т.е. того потока, который, судя по изложению В.В. Седова, дал начало и кривичскому населению Пскова, Южного Приильмения, Полоцка и Смоленска. В то же время, по мнению реферируемого автора, "ряд данных... склоняют к мысли о западном происхождении словен ильменских", и хотя, как уже упоминалось, "археология пока не располагает фактами...", В.В. Седов все же считает возможным утверждать, что, "по всей вероятности, они, как и балтийские славяне Северной Польши и междуречья Нижней Эльбы и Одера, вышли из одной древней группировки праславян, локализуемой *проблематично* в северной части пшеворского ареала" (с. 10).

Итак, при отсутствии сколько-нибудь определенных археологических показаний

едва ли не все древнейшее население Северной Руси выводится из западославянского ареала, уверенно отождествляется с летописными группировками племен и – благодаря рассмотрению «данных археологии на фоне "Диалектологической карты русского языка в Европе"» (с. 4) – напрямую соотносится с современными носителями русских говоров. Неудивительно, что немецкий археолог К. Гёрке, автор последнего обобщающего труда о ранней истории восточного славянства, заметил: "Теория Седова о раннем переселении славян в псковские и новгородские земли все еще стоит на слабых ногах (auf schwachen Beinen steht)" [Goehrke 1992: 32] (см. также [Björnflaten 1995: 41–45]).

Такова археологическая база, на которую опираются современные сторонники лехитского, или, если использовать терминологию А.А. Шахматова [1913: 9; 1915: 101–102]), "ляшского", происхождения кривичей, вятичей и т.д., создающие, в свою очередь, лингвистическую основу для археологических выводов.

Что же касается этой лингвистической основы, то взгляды А.А. Зализняка и С.Л. Николаева на источники реконструкции древнего языкового состояния существенно различаются. А.А. Зализняк [1995: 9] обоснованно считает "прямыми" (и, очевидно, главными) источниками "для изучения некоторого идиома в некоторый период его истории" только "тексты, написанные в рассматриваемый период непосредственно на данном идиоме и дошедшие до нас в подлиннике", причем описание лингвистического материала древненовгородских источников в работах ученого – и недавняя сводная публикация берестяных грамот с неопценимыми по своей важности комментариями [Зализняк 1995] подтвердила это в полной мере – осуществляется с такой тщательностью и на таком высоком научном уровне, что дискуссии здесь могут вестись лишь в двух плоскостях: в плане истолкования отдельных написаний и форм и в плане общей славистической и социолингвистической интерпретации.

Для С.Л. Николаева, напротив, "наиболее важными свидетельствами древнейшей истории кривичского племенного диалекта" являются акцентологические особенности современных говоров, приписываемые путем "проекции в древность" реконструируемому "племенному языку" [Николаев 1990: 55, 62; 1994: 25, 35]. Непробиваемая сила акцентологических реконструкций, основанных на современном диалектном материале, заключается в их принципиальной неопровержимости. В самом деле, решится ли в наше время славист, не желающий прослыть ретроградом и невеждой, утверждать, что какая-нибудь экстравагантная форма или "акцентная кривая" не существовала тысячу-полторы лет назад в рамках "древних генетических связей вятичского племенного языка с лехитскими языками" [Николаев 1994: 41]? Правда, и доказательств для подобных реконструкций нет и, видимо, никогда не будет – если только археологи не найдут берестяную грамоту, уснащенную каморами, оксиями, вариями и прочими знаками, до сих пор, к сожалению, обнаруживавшимися главным образом в церковнославянских памятниках, писцы которых вряд ли столь трепетно относились к суперсегментным элементам своей речи, чтобы правильно отражать их на письме, в отличие от восточнославянских огласовок и флексий, которые обычно устранялись в пользу традиционных форм, не имевших никакой поддержки в живом языке (ср., например, локативы *во грѣсѣхъ*, *на версѣхъ*, *въ травницѣхъ*, *dualia в рукоу*. *Ѡ рукоу*, акцентуация которых анализируется безотносительно к явной нереальности самих форм в народно-разговорном языке XVII в. [Николаев 1990: 61]). На фоне, без преувеличения, катастрофических изменений в речи псковичей и новгородцев, изменений, которые привели к утрате в современных говорах соответствующих территорий большинства древних диалектных черт (как то: форм типа *кѣле*, *вѣхе*, *учкле* и т.д.), на фоне коренной перестройки исконной фонетико-фонологической системы и морфологического строя у восточных славян в целом, в условиях изменения ударений даже на глазах одного поколения тысячелетнее (а если учесть праславянский размах реконструкций – полуторатысячелетнее) сохранение в говорах с и с т е м н ы х акцентуационных особенностей представляется нам крайне мало вероятным.

Основной метод установления "архаизмов" в современных говорах, который может быть назван "астеризацией", предполагает запись современных диалектных форм латиницей и снабжение их звездочками, ср., например, в статье [Николаев 1994: 33] форму **syrga*, призванную удревить позднее заимствование *серьга* (см. [Lunt 1981: 79]), или **ožyrlъkъ*, к которому возводится *ожерёлак*, демонстрирующий на самом деле тот же корень с первым полногласием, который представлен и в *жерело*, *жерелок*, *жерелье* [ПОС, 10: 211–212]. Очевидно, что без подтверждения собственно древнерусским материалом подобные экзерсисы никак не могут, говоря словами В.В. Виноградова [1922: 155], служить Ариадниной нитью "в лабиринте памятников", но, напротив, способны лишь увести исследователя "с твердой почвы памятников в область зыбучих гаданий". Как верно отметил Г. Бирнбаум [1972: 43], "для реконструкции даже относительно поздних периодов того или иного праязыка... данные, предоставляемые нам современными диалектами и говорами, должны быть, на наш взгляд, использованы с возможно большей осторожностью".

Игнорирование материала древних текстов, стремление возвести любую экзотическую форму современного говора к праславянскому диалектизму (ср., например, запись украинского изменения [л] > [w] без этапа [л], что создает видимость уникальной диалектной рефлексии *-*tl* > -*w* [Николаев 1994: 30], см. [Mańczak 1984], или вывод о "вятичском" "отсутствии аффрикатизации палатального" в формах типа [*m'v'*]еток, для которых реконструируется переход **kv* > *m'v'* [Николаев 1994: 39] даже без обсуждения возможности позднего упрощения [ц'в'] > [т'в']), см. [Шахматов 1915: 106, со ссылкой на Б.М. Ляпунова; Аванесов 1949: 135; Бьёрнфлатен 1994: 11]), объединение под одной рубрикой – "кривичских архаизмов", "проецируемых в древность", – действительных архаизмов (неосуществление второй палатализации) и результатов поздних процессов письменной эпохи (рефлексы напряженных редуцированных, второго полногласия, переход [с/ш] > [x] и др.), наконец, прямые подтасовки и искажения диалектного материала (см. [Страхов 1994: 253, 254, 256, 262, 266]) – все это вызывает в памяти справедливое высказывание А.А. Зализняка [1991: 217] о "расшатывании здания славистики различными, нередко весьма легковесными, новшествами". Благодаря этим новшествам русская диалектология из науки по преимуществу синхронно-описательной и для истории языка полезной прежде всего с точки зрения того, как сохраняются говорами архаизмы, зафиксированные в памятниках, становится в работах С.Л. Николаева дисциплиной ретроспективной, реконструктивной, а по сути дела деструктивной, так как практикуемая им методика подменяет сравнительно-исторический метод и внутреннюю реконструкцию характерными для работ пятидесятилетней давности попытками архаизации современных диалектных явлений (ср. [Филин 1953]).

Наряду с тем направлением современной российской палеорусистики, которое можно назвать дифференцирующим и которое заостряет внимание преимущественно на чертах, отличающих древненовгородский диалект от прочих восточнославянских, в отечественном и зарубежном языкознании выявилось противоположное, интегрирующее направление, представленное работами Г. Бирнбаума [Birnbauм 1991], Я.И. Бьёрнфлатена [Бьёрнфлатен 1994; 1997; Bjørnflaten 1995], А.Б. Страхова [1994]³, О.Н. Трубочева [1991: 251–252; 1992: 17–20, 49, 65, 69–71; 1997], Х. Шустер-Шевца [Schuster-Šewc 1993], а также (с оговорками) В. Вермеера [Vermeer 1994; 1995; 1997; Vermeer 1997]. Первая попытка развернутого критического разбора сравнительно-исторических проблем, поднятых в новгородоведческих исследованиях 80–90-х гг., была, однако, предпринята в статьях [Крысько 1994а; 1994б]. Не повторяя аргу-

³ Считаем необходимым заметить, что новгородоведческие работы А.Б. Страхова много выиграли бы, если бы автор оставался в пределах той области, в которой знания его неоспоримы и несомненно приносят немало пользы "берестологическим" исследованиям, – а именно в сфере диалектологии и этнографии. Но не углублялся в чуждые ему вопросы исторической грамматики и избегал смешения личного и научного.

ментов, призванных доказать не западнославянский генезис древненовгородского диалекта и установить в нем соотношение архаизмов и инноваций, считаем все же не лишним воспроизвести здесь в отчасти обновленной форме нашу *д и а х р о н и - ч е с к у ю* классификацию основных особенностей указанного диалекта, особенностей, многие из которых – и это следует специально подчеркнуть – никогда не характеризовали все его говоры одновременно, но возникали, существовали и исчезали в них (нередко при наличии генетически или типологически сходных форм в иных славянских языках) на протяжении весьма длительного периода – от дописьменной эпохи до XV–XVII вв – и лишь в своей несколько условной синхронно-территориальной совокупности столь существенно отличают рассматриваемый диалект как группировку говоров от других славянских (resp восточнославянских) диалектов (языков)

I. Праславянские архаизмы.

1 Недостаточная продвинутость слогового сингармонизма, т е , в первую очередь, фонетически незначительное смягчение согласных перед гласными переднего ряда что обуславливает, в частности, неосуществление второй палатализации (не дошедшей в процессе своего распространения с юга славянского мира на север до "прановгородских" говоров, но, очевидно, не изначально присущей и прочим восточнославянским диалектам) и ее морфонологического следствия – второго этапа бодуэновской палатализации (непереход **vьѣти* во **vьs'ѣти* и, в результате, сохранение **vьxa*, ср. [Lunt 1981 36–37]) Реликты описываемого состояния наблюдаются и в других ареалах, ср например, вывод Г Шевелева о том, что в большей части протукраинских говоров всеобщая палатализация согласных перед гласными переднего ряда никогда не осуществлялась" [Shevelov 1982 375, 1979 181, 185], сходное положение в южнославянских языках (ср , однако, [Koschmieder 1966]⁴), древне- и среднерусские примеры с формами *нелъга польга* (не только из новгородских памятников, см [Крысько 1994б 32] и соответствующие статьи в [Ст XI–XVII], ср [Lunt 1981 35])

2 Сохранение взрывного перед *l* в рефлексах **dl *tl* (может быть, в виде [ʧ], [ʦ]) см [Бернштейн 1961 189, 191]), ср *прободла* в гдовском говоре [Гринкова 1926. 262] *поведли сочтли* – в псковских [Филин 1962 187], а также примеры из белорусских говоров, для которых С Л Николаев [1994 30] отрицает польское происхождение см ниже п V l

3 Первоначальная реализация [ѣ] в виде [a], свидетельствуемая – при отсутствии письменных фиксаций такого произношения – ранними заимствованиями из прибалтийско-финского в северные восточнославянские (resp ильменско словенские) говоры и наоборот (*мѣра – тага, Kaijala – Корѣла*) и отраженная, помимо польского, старославянского и болгарского языков, также в некоторых русских говорах и поздних памятниках [Касаткина 1991, Галинская 1993, 1995 98–99] (о причинах последующего изменения [a] в [ѣ] см [Moszyński 1967])

4 Имен пад ед числа существительных муж рода **o*-склонения на *-o* типа *Пско во Воихово* (впоследствии либо переосмысливавшихся как *neutra* либо переходивших в муж род на *-Ø*) [Крысько 1993 127–129], ср аналогичные по происхождению

⁴Заметим что Л Л Касаткин [1973 1984] в отличие от Ю С Азарх [1967, 1970] считает бытующие в некоторых севернорусских говорах формы типа *дитиен ден за семен* и т п не вторичными а исконными С М Треблер [1978 41] указывает что «обнаруженная в Вологодском ареале ограниченность противопоставления согласных по дифференциальному признаку палатализованность – непалатализованность» а также полумягкость согласных вызывают предположение о возможной непоследовательности вторичного смягчения согласных в отдельных говорах древненовгородского диалекта». этой гипотезе противоречит, на наш взгляд твердость или полумягкость исконно мягких согласных наблюдаемая в соответствующих говорах (*рѣбси правленю фс а тзыр книга* и др)

антропонимы – др.-русск (неновгородские) *Гавѣко*, *Василько*, ст.-чеш. *Hromádko*, юж-слав *Янко* и т п⁵

5 Имен пад ед числа муж рода мягкого *о-склонения на -'е типа *четыче* "чтец"⁶, *Василе* (подробнее см [Крысько 1993 137–142]⁷), ср, возможно, изначально родственные им (если не вокативные по происхождению) серб *Радоје*, *Милоје* и т п (см [Розова 1958 4, 14])

6 Длительное сохранение у семантически одушевленных существительных муж рода формы винительного, не равного родительному, т е неразвитость грамматической категории одушевленности в ед числе [Крысько 1994в 78–96].

7 Длительное сохранение деклинационной автономности *и- и *i-склонений, ср генитив *сыноу* в НГБ № 798 рубежа XII–XIII вв (лекция А А. Зализняка в МГУ, 24 сент 1997 г) и в духовной Климента середины XIII в (ГВНП № 105), генитив *Vtati*, винительный-родительный *Ias togo tati obhtzil* ТФ, 240, 3

8 Формы адъективного склонения с сохранением в составе флексии субстантивного окончания, типа *добрѣго*, *синѣѣ*, *свѣтѣи* (ср *mutatis mutandis* аналогичные старославянские формы)

9 Существование генетически "вторичного" (-Ø) и "первичного" (-ть) окончаний 3-го л ед и мн числа наст вр глаголов типа *иде*, *види*, *е*, *несу*, *видя*, *су / идетъ*, *видитъ*, *естъ*, *несутъ*, *видятъ*, *сутъ*, в меньших масштабах представленное в памятниках других древнерусских территорий и в других славянских языках, но только в древнем Новгороде обнаруживающее ряд особенностей, которые, по всей видимости, восходят к весьма архаичному состоянию а) предпочтительное употребление форм с -Ø, вероятно, унаследованных от древнего инъюнктива [Miller 1988 18, 20], в придаточных предложениях с модальными значениями [Зализняк 1995 119], б) использование -Ø и *ть* во всех классах глаголов, со значительной степенью уверенности возводимое к раннему периоду смешения этих флексий, которое имело место после введения инъюнктивных показателей в презентную парадигму и позже сменилось в отдельных группах славянских диалектов разнонаправленными унификациями в пользу той или иной флексии [Miller 1988 22–23]

II. Праславянские диалектизмы, общие (не всегда обязательно генетически) для целого ряда славянских диалектов

1 **telt* > **tolt* (изменение, наблюдающееся у восточных славян и в северно-лехитских диалектах, см [Lehr-Splawinski 1931], З Штибер отрицает в данном случае, как и в следующем, какую-либо генетическую связь [Stieber 1979 44])

2 **tylt* > **tylt* (о сходных с восточнославянскими севернолехитских, лужицких, словенских и македонских формах см [Vondrák 1906 332–335, Селищев 1941 231–232, 314, 427–428, Stieber 1979 35–36])

3 Первое полногласие в виде **torət* и под, откуда затем возникли такие различные формы, как общевосточнославянское *городъ* – с [o], не переходящим в украинском в [i], русск диал и блр *полымя*, польск *wrota* < **vьiota* < **vərotā* < **vorəta*, ср [Łoś 1928]⁸

⁵ Об особой ситуации со старопольскими именами на *o*, которые, возможно латинизированы, см [Курашкевич 1972]

⁶ Ср Оуподыѣконъ ли *четыче* ли пѣвць || то же творѣ ли да останетьсѣ ли да отълоучень боудеть КУв сер XIII 256–в (ниже – оупадыѣко(н) ли *чытець* ли пѣвць 28а, в КР 1284 436 в том же контексте – *чытець*)

⁷ Форма *моуже* РПр 1280, 617 об, еще Е Ф Карским [1962 124] рассматривавшаяся рядом с *Късначько* (см также [Крысько 1993 138–139]) возникла, как убедительно показал А А Гиппиус [1996 53] под влиянием соседнего союза *аже*

⁸ Относительно ст слав формы *золъта*, которая, по-видимому, не имеет отношения к описываемому рефлексу см [Георгиев 1964 9 104 Schelesniker 1982]

4 Второе полногласие в виде **t̥rət* и под, давшее в большинстве восточнославянских говоров, включая новгородские, и, возможно, у части западных славян *t̥rət* (ср [Stieber 1979 35])

5 **ōit > iot*, **ōit > lot* (ср аналогичные формы в старославянском и в западнославянских языках [Бернштейн 1961 221–223])

6 **-jens > *-jēn > -jě* во флексиях (развитие, общее для восточных и западных славян)

7 Переход **tj* и **dj* в биконсонантные сочетания со вторым шипящим элементом типа **tʃ̣, *dʒ̣* (ср украинские формы с [дж] и старославянскую метатезу этих сочетаний – [ш'т'], [ж'д']), различные интерпретации см, в частности, в работах [Timberlake 1981, Крысько 1994а 37, Касаткин 1995 51–53]), в новгородских грамотах рефлекс **tj* в виде ч (или, при отражении цоканья, ц) представлен уже с XI в *хъчоу* НГБ № 513, *оу Сычевиць* 607, *сълюци* 752, *Ходоутиничъ* Свинц, *Гюрьгевицоу* 119 (о рефлексе **dj* см. III 3)

8 Перенос флексии дат падежа ед числа **и*-склонения *-ови* в **о* склонение (ср аналогичные формы в украинском, южно- и западнославянских языках)

9 Дат -мест падеж личных местоимений *тобѣ, собѣ*, представленный также в памятниках Южной и Западной Руси и в западнославянских языках.

10 Диалектный архаизм – окончание 1-го л мн числа наст вр *-ме* сохранившееся, помимо древненовгородского, в части украинских говоров, в болгарском, чешском и словацком

III. Восточнославянские инновации дописьменного периода

1 **toiət > toiot* (в том числе и в древненовгородском диалекте ср уже в древнейших грамотах *новгородьске* НГБ № 562, посл четв XI в *въ горо(дѣ)* 238, XI/XII вв, *сковородоу* 586, XI/XII вв), об ином развитии см п V 5

2 **t̥rət > t̥r̥t̥*, ср *смьръда, смьръди* в самой ранней берестяной грамоте – НГБ № 247 (см также п V 6)

3 [д'ж'] > [ж'], ср *къ рожествож* НГБ № 241, XI/XII вв, *оу Ньпробужа* воноука у Непробудова внука" 630, втор четв XII в, *оу прихожано* Ст. Р 12, перв пол XII в (о зонах и условиях сохранения [д'ж'] см [Timberlake 1981 25–28], см также п V 4)

4 **sehdmь > семь* vs инославянского *sedmь* [Trubetzkoy 1927], ср *семѣъ* гр(в)нѣ 'седьмой гривны' НГБ № 526, втор треть XI в, *семе* резано Ст. Р 22, перв пол XII в

5 **e > o* в начале слова, ср *заожеричъ* Свинц, XI/XII вв, *олени* НГБ № 384, XII в, *досени* 'до осени' 724, 1161–1167 гг⁹

6 Переход **a > u* **e > a > 'a*

Особо следует выделить полидиалектную инновацию – цоканье которое, вероятно, "в древности имело более широкое распространение" [Устинскова 1977 119]

IV. Общеновгородские диалектные явления, характеризовавшие, по-видимому, большую часть говоров древненовгородского ареала

1 Заимствование формантов мягких вариантов склонения и спряжения в твердые, приведшее к появлению форм типа *отроке* vs *муже*, *водѣ* vs *землѣ*, *отрокѣ* vs *мужѣ*, *тихѣ* vs *сихѣ*, *идите* vs *молите*, *идя* vs *моля*, по отдельности подобные явления встречаются в разных славянских языках, но в таком ансамбле – только в

⁹ В работе [Andersen 1996] данное явление, традиционно рассматривавшееся как восточнославянский процесс трактуется в качестве раннепраславянского (и даже балто-славянского)

новгородско-псковском ареале (о фонологических предпосылках см [Крысько 1993 145–147])

2 Неосуществление первой палатализации в новых морфонологических позициях перед *e* и *ě*₁ (*замъке, къльтъкъѣ*) и в заимствованной лексике (*Серегъръ vs* твер *Селижар, Късъ* в соответствии с соврем лтш *Sēsis < *Kesis кърста < фин *ku stu**)

3 Изменение континуантов **zgj, *zdj, *zg'* в [ж'д'] > [ж'г'], а континуантов **skj, *stj, *sk'* в [ш'т'] > [ш'к'] (процесс, отчасти параллельный развитию в некоторых южнославянских говорах, ср [Kronsteiner 1979, Крысько 1994а 32–37]). О близости [ж'д'] и [ж'г'] свидетельствуют, на наш взгляд, нередкие написания с *жг* на месте *ц*-слав *жд < *dj* (*зижгителеви* Мин XII (н), 50, *оугажгють* 62 об vs *раждажиши* 75, 85, *съодежги* Стих XII, 15, *тоужгиши* 43, *ражгати* УСт к XII, 235 об, *цюжгихъ* МинПр 1260, 107 об, *чюжгакмъ* 149 vs *прѣжжакжиши, одъжгити* 149, *тоужгало* Тр 1311, 74 об) по справедливому замечанию В В Колесова [1982 84], ".не находившая соответствия орфографическая черта оригиналов принимала другую форму, нехарактерную для традиционной орфографии, если имела основание в произношении" С другой стороны, обнаруживается все больше материала, подтверждающего вывод А А Зализняка [1986 116–117, 1995 40], согласно которому буква *щ* могла обозначать в новгородско-псковских памятниках сочетание [ш'к'], ср *ощѣрънена* КУв сер XIII, 101а (вероятно, отражение "шокающего" произношения [скв]), азъ *къмъ тысящаго* дщи Пр XIII₂, 41а (где псковское [ш'к'] < [чьск], ср *тысящскаго* в ПрЛ 1262, 63г), *щипетры* Апостол 1307 г, 132 об [Горский, Невоструев 1855 294]

4 Изменение [вл'] > [л'] (подобное старосербскому, см [Соболевский 1886])

5 Изменение [мл'] > [н'] через стадию [мн'] (мыглоу *земню* повиваа Пр XIII₂, 131б vs *землю* Пр 1313, 137а, ср также в галицко-волынском Евсевиевом евангелии 1283 г *на земни* 60 об, *на зем(н)а* 62 [Голоскевич 1914 40], в ПНЧ XIV₁, 120 в–г *примнли*)

V. Разновременные инновации отдельных новгородско-псковских говоров, в основном псковские – вследствие особой периферийности и "пограничности" Псковской земли (см об этом ниже)

1 Ассимиляция **dl, *tl* в [гл], [кл] – явление, типологически сходное с аналогичными (в том числе позднейшими) изменениями в восточнославянских говорах (ср курск *съвяклиця* вместо *светлица* [Шахматов 1915 102], зап.-укр *вух < *bug < *bugl < *bogľ < *bodľ* и т п [Gerovskij 1929, Tesnière 1933 70, 86], укр диал *вегля vs видля* [Страхов 1994 258]), польском, словацком, словенском языках (см [Taszycki 1957, Филин 1972 272–278, Stieber 1979 81–82, Popowska-Taborska 1993 80]) Древнейший, наряду с *измакле* в псковской берестяной грамоте № 6 [Зализняк 1993 198], пример такого изменения, очевидно распространявшегося из псковского ареала, зафиксирован нами в Пр XIII₂, 95а *не шбрѣтоша юго идеже бажоу блюгли юго* (в ПрЛ 1262, 78в – *блюли*)

2 Совпадение шипящих и свистящих (в берестяных грамотах засвидетельствованное с XI–XII вв [Зализняк 1995 43], а в пергаменной письменности – начиная с Пр XIII₂, демонстрирующего многочисленные примеры соканья)

3 Веляризация рефлексов соканья в виде [х], [у], отчасти, вероятно, чисто фонетического характера, отчасти же связанная с морфонологическим выравниванием (в письменности – с XV в с *Макхимко(м)* НГБ № 496, *хов choff* ТФ, 105, 2, *poslucha* 311, 4, *вурачи* "выпаши" 402, 3, ср также материал псковских и гдовских говоров *хыпко шибко* [Каринский 1898 98], *бальхой, спраховать* [Montmitonnet 1905 285, 289], *опояхать, вмехный* "совместный", *засухывають* [Чернышев 1970 377, 388], *слухът'* [Гринкова 1926 260] и т п)

4. Возможно, уникальное изменение [д'ж'] > [д'] > [г'], до сих пор, правда, представленное только формой *ноугене* в НГБ № 717 XII–XIII вв.¹⁰

5. Изменение форм с первым полногласием, альтернативное характерному для большинства восточнославянских (в том числе северо-западных) говоров развитию типа *torot* и ведущее к преобразованию **torət > *tərot > trot*; отражением такого изменения, может быть, являются крайне малочисленные на фоне *torot* формы типа *срочькъ* НГБ № 336, *сѣдрово тѣло* Злат XII, 11а (см. [Крысько 1994б: 18; Зализняк 1995: 35–36; Шевелева 1995: 91–92]; ср. аналогичное польское развитие).

6. Сходная эволюция форм типа **tərət > *təryt > *tryt* [Зализняк 1995: 41–43; Шевелева 1995]; впрочем, в некоторых случаях здесь можно допустить и иную последовательность: **tərət(a) > tьr(a) > tr(a)* (со слоговым плавным) > *tot(a) / trot(a)* (с развитием неорганических гласных перед плавным или после него), ср. *почрне* Мин, 41 – *влоненна* 204; *вѣлоноующася* Праз к. XIII, 65 об; *мретвьмъ* СбСил XIV₂, 169б, *въ времѣ* 171а.

7. Ауслатное яканье (по мнению А.И. Соболевского [1911: 404] – с XII в.) и ряд других фонетических явлений, описанных А.И. Соболевским [1884] и Н.М. Каринским [1909].

8. Изменение [ъ] в [е] в позиции перед [j] – естественно, уже в эпоху вокализации сильных редуцированных.

9. Род. падеж ед. числа муж. рода местоимений и прилагательных на *-га*, отражающий воздействие именного склонения (реализовавшееся также в южнославянских диалектах, а позднее фиксируемое в белорусских говорах): *тѣмьнага* старѣшиноу ѿгониши Мин., 151; *змиа... лютага оумьртвивѣша* 337. *стѣга* тѣла Службник Варлаама Хутынского, 17, XII в. [Горский, Невоструев 1869: 7]; *без тога вола* Ефремовская кормчая, 16, XII в. [Васильев 1908: 242]), *стѣго* Петра *Альѣандрѣскага* КУв сер. XIII, 106б; *Генадия прѣстѣга*. патриарха 107в; *наслажакшися...* *обжиа* паче *оумнога* МинПр 1260, 64; *Члѣкъ бѣ ѳексарьма Фемасуфьскалга* Пал XIV₂, 271б–в; *плененна* же *грѣховнага* Пр 1383, 68в; *от ѳога* (рядом с *отѳого*) ТФ, 230, 8, *Онога* (т.е. одного) *бога ludi* 248, 6; *боишься мяня ѳнага?* – хоть двое и придите не баюсь! [Montmitonnet 1905: 269].

10. Распространение флексии *-у* из род. и мест. падежей **и*-склонения на **о*-склонение в гораздо более широких масштабах, нежели в других восточнославянских говорах, в том числе и среди одушевленных существительных, ср.: при князи *Борисоу* Паремейник 1313 г., запись [Каринский 1909: 145]; *vosli togo tzelovieku* ТФ, 219, 7 (аналогично – 222, 4; 227, 1), *Ne podivi na tovo tzelovieku* 331, 1, *Ja pivro svosniku dabudu* 328, 3.

Итак, можно заключить, что большинство особенностей, выделяемых нами в первые три группы, отнюдь не противопоставляют древненовгородский диалект прочим восточнославянским. В п е р в о й группе перечислены черты, восходящие к раннепраславянскому периоду, т.е. генетически общие для всех славян, а в исторический период отчасти (иногда в меньшем объеме, нежели на новгородско-псковской территории) сохраняющиеся и в других восточнославянских ареалах (см. пп. 1, 2, 3, 4, 9). В т о р а я группа отражает, так сказать, макроизоглоссы, возникшие, по-видимому, на относительно ранних стадиях диалектного членения праславянского и объединяющие древненовгородский диалект прежде всего с иными восточносла-

¹⁰ Постоянное использование *ж* на месте **dj* в берестяных грамотах, в том числе характеризующихся древненовгородскими диалектными особенностями, не позволяет расценивать [ж'] как инодиалектную черту; поскольку [ж'] не выводится из гипотетического [г'] в *ноугене*, квалификация последней формы как древнейшего севернокривичского рефлекса [Зализняк 1995: 39, 326] не кажется правдоподобной. В этой связи заметим, что по мнению Г.И. Геровского [1959] *г* в новгородской письменности могло обозначать [д'ж'].

вянскими, а в рамках восточнославянского диалектного континуума – с западно- и южнославянскими. Третья группа включает явления относительно немногочисленные, однако в высшей степени релевантные для восточнославянской идентификации древненовгородского диалекта. Иными словами, в первых трех группах мы не находим таких феноменов, которые исключительно связывали бы древненовгородский диалект – в отрыве от прочих восточнославянских – с западнославянским ареалом, но, наоборот, обнаруживаем целый ряд особенностей, на определенных этапах языковой эволюции объединявших древненовгородскую речь с другими диалектами Восточной Славии, в дальнейшем частично сохранившимися эти черты, а частично их утратившими.

И лишь в четвертой и пятой группах сосредоточиваются те явления, которые знаменуют уже собственное, своеобразное развитие древненовгородского (и уже – древнепсковского) диалекта в эпоху, предшествующую возникновению первых письменных памятников, и в более поздний период. Именно благодаря этим явлениям те северо-западные говоры, которые в максимальной степени соединили в себе и архаизмы, и инновации, настолько обособились от прочих восточнославянских, что характеристика их как «своего рода "предязыка"» [Зализняк 1995: 5] могла бы быть признана вполне адекватной реальному состоянию первых веков русской истории – если бы только такой комплекс всех возможных отличий был реально представлен в относительно компактном и вместе с тем обширном корпусе текстов, а не эксцерпировался по отдельным элементам из различных грамот, обычно совмещающих диалектные и общерусские черты (см. ниже).

Отрадно видеть, что в последней фундаментальной работе А.А. Зализняка [1995] положения, связанные с "не новой, но фантастической теорией" [Shevelov 1982: 358] новгородско-западнославянского родства, последовательно устранены. Тем самым постулат о "западных корнях псковских и новгородских первонаселенников", пришедших "не из Поднепровья, а с южного побережья Балтики" [Янин 1996: 48], возвращается "на круги своя" – в научный обиход нелингвистов, использующих впечатляющий довод об отсутствии второй палатализации для обоснования различий в политической и экономической системах Южной и Северной Руси. Уместно вспомнить в этой связи слова Н.С. Трубецкого (из письма к Н.Н. Дурново от 20 октября 1925 г.): "Я считаю, что во избежание подобных недоразумений лингвисты должны строить свои построения сначала чисто-лингвистически, без оглядки на историю: такое чисто-лингвистическое построение затем может быть подвергнуто историческому толкованию и, в этом случае, явится для историков гораздо более ценным материалом, чем построения вроде шахматовских, являющиеся, в сущности, лишь лингвистическим толкованием предвзятой теории, ведущей свое начало от старых историков" [Трубецкой 1993: 82].

Констатируя тождественность либо близкую соотнесенность многих черт древненовгородской речи с прочими восточнославянскими диалектами, мы, однако, не видим необходимости настаивать на употреблении термина "правосточнославянский", ассоциируемого с немодными ныне воззрениями о древовидном членении праславянского диалектного континуума, но в то же время полагаем, что термин "общевосточнославянский", отнюдь не подразумевающий реконструкции изолированной восточнославянской прасистемы, является достаточно корректным обозначением для совокупности восточных диалектов праславянского, со времени распространения славян по Восточно-Европейской равнине сосуществовавших в этой области славянского мира. В тогдашних исторических условиях было вполне естественно, что группа племен, зашедших в своих миграциях особенно далеко, составила периферию восточного славянства, так сказать, "медвежий угол", в котором сохранялась – иногда параллельно с другими восточнославянскими диалектами, иногда обособленно – значительная часть праславянских архаизмов и развивались – как на их основе, так и независимо от них, порой, может быть, под влиянием контактирующих автохтонных языков – собственные инновации.

Вопрос в том, какая именно группа восточных славян образовывала указанную периферию. Приходится констатировать, что популярная концепция, противопоставляющая "севернокривичский", или древнепсковский (который, как утверждается, лег в основу древненовгородского диалекта), всем прочим восточнославянским, и в первую очередь "восточноновгородским" (ильменско-словенским) говорам, оставляет широкое поле для сомнений. Прежде всего необходимо подчеркнуть, что восточноновгородские говоры – это такой же конструкт, как и, скажем, "племенной язык вятичей": реальных доказательств их существования у нас нет, так как ильменские словене, судя по всему, – если оставаться в рамках обсуждаемой концепции – либо вообще не имели диалекта, сколько-нибудь существенно отличавшегося от "стандартного древнерусского" – т.е., собственно, наддиалекта, основанного на речи Киева (показательно, что в данном случае, в разительном противоречии с активными поисками западнославянских параллелей для кривичей, наши лингвисты предпочитают не упоминать гипотезу В.В. Седова о западнославянских, "северно- пшеворских" истоках словен), либо, в противоположность северным кривичам, были слишком лояльны к Киеву, чтобы допускать в свои берестяные грамоты какие-либо местные особенности. Удивительно при этом, что словене новгородские, именно под таким названием вошедшие в летопись и составлявшие большую часть населения Новгорода, избрали в качестве основного средства общения "племенной язык кривичей", который даже на территории предполагаемого "наложения" ильменско-словенского населения на первоначальное севернокривичское [Зализняк 1995: 4] не претерпел практически никаких изменений. Столь престижный в быту, говор соседей-кривичей, вместе с тем, считался весьма нежелательным в официальном употреблении, и следы его как в деловых, так и в книжных текстах тщательно устранялись – естественно, в меру билингвизма (или, точнее, "бидиалектизма") писцов.

Вся эта парадоксальная языковая ситуация, выстраиваемая в полном противоречии с принципом опоры на прямые источники – т.е. на современные тексты, каковых, повторим, для второго важнейшего субъекта ситуации – "восточноновгородских говоров" – просто нет [Зализняк 1995: 12], – основывается фактически только на археологических изысканиях, иначе говоря, на *jurandi in verba*. Не может не удивлять слепое следование лингвистов туманным, во всяком случае, строго не верифицируемым показаниям археологии – ведь еще Н.С. Трубецкой подчеркивал: "В чисто лингвистических вопросах исторические аргументы обычно приводят к ложным заключениям (*petitio principii* и *circulus vitiosus*). Лингвистические проблемы должны решаться прежде всего чисто лингвистическими способами" [Трубецкой 1936: 92] (ср. также [Schlerath 1992]). Археологические и лингвистические исследования принципиально "разноуровневны": первые восстанавливают "культуры" (т.е., говоря словами И.А. Бунина, "гробницы, мумии и кости"), которые при отсутствии письменности остаются безъязыкими, вторые – собственно язык, который вполне самодостаточен как объект изучения и без экстралингвистического антуража.

Поскольку, однако, для предыстории языка данные археологии все же признаются существенными [Lunt 1984–1985: 420] – *audiatur et altera pars*. В лингвистическом мире незамеченной осталась двадцатилетней давности монография трех ленинградских авторов [Булкин, Дубов, Лебедев 1978] (далее ссылки на страницы даются в скобках), в которой выдвигаются альтернативные трактовки кривичско-словенской проблематики. Между тем известная доля скептицизма и полемики – как мы убедились на примере лингвистического анализа новгородско-инославянских отношений – скорее приближает к истине, нежели замкнутость в пределах учения, которое "всесильно, потому что оно верно" – и "верно", потому что всесильно.

Привлекает внимание, в частности, такой неординарный и даже смелый вывод петербургских ученых: «... известные и более или менее изученные погребальные памятники Северо-Западной Руси, длинные курганы, сопки и жальники нельзя рассматривать как достоверно славянские (тем более, конкретно как памятники "словен" и "кривичей")» (с. 74). Анализ материала заставляет авторов заключить:

"Единство населения, обозначаемого именем кривичей, обосновывают распространением длинных курганов в пределах Псковской, Смоленской и Полоцкой земель. Но... длинные курганы Смоленско-Полоцкой земли и Псковщины различаются по обряду, инвентарю, датировкам, и, скорее всего, они связаны с этнически различным населением" (с. 82). Отмечая обычно не акцентируемый в новгородоведческих работах факт отсутствия общих особенностей в диалектах северных (псковских) и южных (полоцко-смоленских) кривичей (ср. [Зализняк 1995: 135]) – за исключением, скорее всего, субстратного и не только кривичского цоканья, авторы монографии подчеркивают: «...ни лингвистические, ни археологические данные не позволяют рассматривать древнерусское население Псковщины как нечто единое с населением Смоленско-Полоцкой земли, т.е. обозначать его именем "кривичей"» (с. 83).

Для нас здесь, разумеется, важны именно лингвистические критерии – и именно они, наряду с тем обстоятельством, что Псковская земля не входит в ареал, отводимый летописью кривичам (с. 83), побуждают сочувственно отнестись к основному выводу археологов, согласно которому исторические новгородцы и псковичи предстают перед нами как потомки одной племенной группы – ильменских словен (с. 85) – и, тем самым, изначально носители одного диалекта. При таком подходе сразу отпадает необходимость в сложных социолингвистических построениях, конструирующих "не менее пяти славянских идиомов" в Новгородской земле [Зализняк 1995: 3], но не объясняющих главного: 1) почему у "родственников" – так называемых северных и южных кривичей – в лингвистическом отношении (не будем говорить об археологии) столь мало общего и 2) почему из двух декларируемых для псковско-новгородского ареала диалектов один – якобы севернокривичский, т.е. по существу псковский, – превалирует в берестяных грамотах Новгорода, Пскова и Старой Руссы, а другой – якобы словенский, т.е. собственно новгородский, – не оставил нам ни одного прямого источника. Ответ, думается, очевиден: лингвистическая ситуация древней Новгородско-Псковской земли в принципе ничем не отличалась от ситуации в других древнерусских землях – Смоленско-Полоцкой, Галицко-Волынской, Ростово-Суздальской и т.д.; это была ситуация сосуществования трех идиомов – церковнославянского языка, общевосточнославянского наддиалекта ("стандартного древнерусского языка") и местного диалекта, представляющего собой совокупность отдельных говоров, которые, собственно, и отражаются в берестяных грамотах. Отклонения от "канонических" новгородских особенностей в бытовых грамотах, как то: параллельное употребление *кѣле*, *кѣлѣ* и *клеветьника* (с выражением несвойственной диалекту категории одушевленности – НГБ № 247), *възале* и *възалѣ* (736б), *игоумене* и *посълалѣ* (605), *поль шесте гривне* и *ѣ: гривны* (710) и т.п. – это в такой же мере "плоды просвещения", в какой номинативы на -е, цоканье или соканье в книжных памятниках – плоды невнимательности либо "непросвещенности".

Для того чтобы убедиться в диалектном разнообразии внутри самого древне-новгородского диалекта, достаточно просмотреть несколько более или менее крупных грамот: так, например, в НГБ № 336 (1-я пол. XII в.) сосуществуют регулярные общерусские номинативы на -ѣ (*новѣдалѣ*, *длѣжьнѣ*, *замлѣ*), нехарактерный ни для "стандартного древнерусского", ни для "стандартного древненовгородского" генитив **ја*-склонения *оу Даньши* и необычные рефлексy сочетаний гласных с плавным *Влѣчькови*, *срочька* (дважды), *длѣжьнѣ*, *срочькѣ*; в НГБ № 227 (2-я пол. XII в.) наряду с новгородизмами *моги*, *тога*, *хоце*, *прашяе*, *енюци* присутствует общевосточнославянский рефлекс **тj* – *земля* (bis); во вкладной Варлаама (XII/XIII вв.), даже в ее первой части, "написанной на почти чистом древненовгородском диалекте" [Зализняк 1995: 375], действительно диалектным *въдале* (трижды), *Варламе*, *коле*, *вхоу*, *Вѣлость* (форма, видимо, передающая собственное именование данного лица) противостоят "нормальные" полногласные формы *огородѣ* (не *огродѣ* или *огъродѣ*), *корова*, стандартное *землю* (bis). Эти факты дают основание предположить, что одновременное наличие в одном местном диалекте или же в так называемом "древненовгородском

койне" всех классических новгородизмов типа *кѣле, звѣздѣкъ, въхе, вегле, мловила, цереленая, енюци, оу женѣ, тога, иде* etc. – это, скорее, не реальная картина, а *summa*, идеальная схема, объединяющая феномены, территориально и хронологически далеко не всегда совмещенные. Корректнее, вероятно, было бы говорить о существовании в *каждом* из древненовгородских говоров ряда особенностей, в целом отнюдь не обязательно присущих в *сем* говорам.

Таким образом, наиболее периферийным, архаичным и вместе с тем инновативным восточнославянским диалектом может быть признан древненовгородский (новгородско-псковский) диалект, восходящий к племенному диалекту ильменских словен, распространенный на всей территории древней Новгородской земли и выступающий как совокупность местных говоров. Черты, отличающие "дочерние" древнепсковские говоры от основного массива новгородских говоров, т.е. специфически псковские инновации, объясняются, по-видимому, более тесными контактами псковичей со "смоленско-псковскими кривичами, шедшими с юга" [Герд 1995: 64], но особенно – с носителями автохтонной речи – финнами и балтами, оказавшими значительное субстратное и интерферентное влияние на пришлых словен – влияние, которое, возможно, проявляется и в замене **dl* на [гл], **il* на [кл], и в *соканье*, и в таких нетривиальных изменениях, как смещение ударных ⟨а⟩ и ⟨о⟩ (ср.: Поставиша церковь... *комену* Псков. I лет., 23; *Колпиное* – *Калпиное* Псков. II лет., 53; на *Комнѣ* Лет. Авр., 76; ср. также материал сомринского говора [Кузнецов 1898; Крысько 1994б: 21]), неразличение звонких и глухих согласных (*градоуцихъ* вместо *крадоуцихъ* КУ в сер. XIII, 12а; *въ готорѣ* вместо *которѣ* 73а; во *Своподѣ* НГБ № 614, посл. треть XIII в. [Зализняк 1995: 426]; *опоротя* Шестоднев служебный 2-й пол. XIV в., 108 об [Каталог 1988: 330]; *нужечника* Лет. Авр., 185; разболися *полѣзнию* Новг. II лет., 22; *Пядницюу* Псков. III лет., 235; у князя Дмитрея *Трупецкого* 277), упрощение консонантных сочетаний (типа [ж'д'ж'] > [ж'д'] > [ж'г']), устранение исторических чередований в корнях (ср. в ТФ: *potekit* 171, 15, *sustrekat* 168, 10, *primekat* 210, 9, *Sustrekall* 215, 11, *posluchai* 311, 4, *pomekai* 412, 3), веляризация шипящих ([с/ш] > [x], [з/ж] > [γ]) и др. Закономерно, что на территории псковских и гдовских говоров, т.е. на "выселках" первоначальных новгородцев, законсервировались и долгое время сохранялись многие архаичные черты, выветрившиеся в метрополии, сначала просто более активно контактировавшей с диалектами других важнейших политических центров (киевским, ростово-суздальским, позже московским), а впоследствии подвергшейся прямому силовому давлению. В этих условиях пережиточное сохранение древненовгородских черт в псковской речи начала XVII в., зафиксированной Тённисом Фенне, и в содвсем уж периферийном сомринском говоре конца XIX в. предстает как естественное следствие сравнительно более "спокойной", на фоне Новгорода, истории Псковской земли, которая, несмотря на разорение и опустошение отдельных территорий, в значительной своей части все же, как мы полагаем, демонстрирует "непрекращающуюся языковую традицию с тех пор, как сюда пришли первые носители славянской речи" [Бьёрнфлатен 1994: 16].

Вопрос, откуда изначально пришли новгородские словене, в уже упоминавшейся монографии К. Гёрке, аккумулирующей новейшие достижения археологической науки, решается следующим образом: "Сама экспансия должна была осуществляться не в виде умозрительных передвижений больших масс населения, а в качестве постепенного просачивания небольших групп переселенцев. Ее исходный ареал образовывали занятые ранними *восточными* славянами в VI и VII вв. участки лесной и лесостепной зоны между Западным Бугом, Припятью и Днепром – с последующим, в течение VII в., передвижением также через средней Днепр на восток... Оттуда вырисовываются два пути переселения, из которых один вел из *Галиции* и *Западной Вольни* через Западный Буг, верхний Неман и среднюю Двину в бассейн Псковского озера и озера Ильмень, тогда как вторая ветвь (*Zangenast*) простиралась туда же к востоку от Днепра и вверх по Днепру через верхнюю Двину" [Goehrke 1992: 33–34].

Это заключение вполне согласуется с лингвистическими данными. Так, наблюдения над славянскими изолексами позволили Н.И. Толстому [1977: 49–50] "предварительно наметить поясную зону, которая прерывисто вырисовывается на западе восточнославянского диалектного массива: от русского Севера, преимущественно от его части, связанной с новгородской колонизацией, через Псковщину, Белоруссию, иногда через западную, иногда через восточную ее часть, через Полесье до Карпат (с частым продолжением на славянский Юг, реже на славянский Запад, Юго-Запад)". О.Н. Трубачев [1997: 70, 71], исследуя ономастический материал, обратил внимание на "явную разреженность старой славянской водной номенклатуры между Неманом и Днепром", которая говорит "о том, что приход на русский Северо-Запад от западных славян через Понеманье маловероятен". По словам автора, "в ономастике отложилась довольно четкая полоса – если говорить о крайних точках ее – от Волыни до Новгородской земли". С учетом древненовгородско-украинских сходжений на фонетическом и морфологическом уровне (см. п. II. 3, 4, 7–10, IV. 5), а также многочисленных лексических параллелей между северо-западными русскими и прикарпатскими украинскими говорами (см. [Ашиток 1987: 68]) вывод именно "об этом – с Юга на Север – и никаком другом направлении древнерусского заселения Новгородской земли" [Трубачев 1997: 69], даже безотносительно к его археологической обоснованности (о чем не нам судить), представляется лингвистически гораздо более приемлемым, нежели поиски – "через голову" восточнославянских соседей – инославянских прародичей, к которым приходится "ездить так далеко", разрываясь между лехитскими и сербо-словенскими "родственниками".

В свете сказанного вновь возникает вопрос о том, до какой степени древненовгородский диалект должен в действительности рассматриваться как противопоставленный прочим восточнославянским. В условиях отсутствия для большей части древнерусской территории столь информативных источников, как берестяные грамоты, предположения о многообразных ранних диалектных различиях в Восточной Славии неизбежно строятся на сопоставлении данных берестяной письменности, адекватно передающей живую новгородскую речь, с материалами гораздо менее многочисленных и обычно относительно более поздних территориально приуроченных книжных памятников Северо-Восточной Руси (вроде ростовского Жития Нифонта 1219 г.), Средней Руси (вроде Рязанской кормчей 1284 г.) и Южной Руси (вроде Выголексинского сборника конца XII в.), в которых диалектные особенности, бесспорно существовавшие в говорах писцов, с трудом пробиваются сквозь авторитетный (а значит, в принципе не терпящий отклонений) церковнославянский текст. Возможно, тщательнейшее, глубинное исследование языка неновгородской письменности позволит реконструировать для раннедревнерусского периода новые диалектные идиомы – однако это дело будущего (хотелось бы думать – ближайшего), а до тех пор мы вынуждены либо гадать о реальном соотношении древнерусских диалектных систем – что едва ли плодотворно, либо экстраполировать на ситуацию тысячелетней давности современное диалектное членение – что методологически неверно, либо – "чаять движения воды", иными словами – ожидать появления новых источников, столь же непредсказуемого, как обнаружение первых берестяных грамот сорок семь лет назад.

ИСТОЧНИКИ

- Вост. – Востоков А.Х. Словарь церковнославянского языка. Т. 2. СПб., 1861.
ГВНП – Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.
Злат XII – Златоструй (новг., XII в.), РНБ, Ф. п. I. 46.
КР 1284 – Рязанская кормчая (1284 г.), РНБ, Ф. п. I. 1 (по фотокопии, хранящейся в отделе истории русского языка ИРЯ РАН).
КУв сер. XIII – Уваровская кормчая (новг., сер. XIII в.), ГИМ, Увар. 124, 1°.
Лег. Авр. – Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки // ПСРЛ. Т. 16. СПб., 1889.
Мин. – Ягич И.В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095–1097 г. СПб., 1886.

- Мин XII (н) – Службная минея за ноябрь (новг , XII в), ГИМ, Син 161
 МинПр 1260 – Минея праздничная (новг , 1260 г), ГИМ, Син 895
 НГБ – Новгородские грамоты на бересте // Зализняк А А Древненовгородский диалект М , 1995
 Новг II лет – Новгородские летописи (так названные Новгородская вторая и Новгородская третья летописи) СПб , 1879
 Пал XIV₂ – Палея Александро-Невской лавры (новг , третья четв XIV в), РНБ, СПбДА, А I/119
 ПНЧ XIV₁ – Пандекты Никона Черногорца (зап русск , перв пол XIV в), ГИМ, Муз 3449
 ПОС – Псковский областной словарь с историческими данными Вып 10 СПб , 1994
 Пр XIII₂ – Пролог сентябрьской половины (псков , втор пол XIII в), РГАДА, Тип 156
 Пр 1313 – Пролог сентябрьской половины (псков , 1313 г), ГИМ, Син 239
 Пр 1383 – Пролог мартовской половины (псков , 1383 г) РГАДА, Тип 367 (по фотокопии)
 Праз к XIII – Праздники с вставками из Триоди (новг , кон XIII в), РГАДА, Тип 133
 ПрЛ 1262 – Лобковский пролог, сентябрьской половины (новг , 1262 г), ГИМ Хлуд 187 (по фотокопии)
 Псков I лет – Псковская первая летопись // Псковские летописи Вып 1 М , Л 1941
 Псков II лет – Псковская вторая летопись // Псковские летописи Вып 2 М Л , 1955
 Псков III лет – Псковская третья летопись // Псковские летописи Вып 2 М , Л , 1955
 РПр 1280 – Карский Е Ф Русская Правда по древнейшему списку Л , 1930
 СБСил XIV₂ – Сильвестровский сборник (новг , третья четв XIV в), РГАДА Тип 53
 Свинец – Свинцовая грамота // Зализняк А А Древненовгородский диалект М 1995 С 238
 Сл XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв Вып 1 – М , 1975 –
 Стих XII – Fragmenta Chilandanica Palaeoslavica A Sticheraum Copenhagen, 1957 (Monumenta musicae Byzantinae V 5)
 Ст Р – Грамоты из Старой Руссы // Зализняк А А Древненовгородский диалект М , 1995
 Тр 1311 – Триодь цветная (новг 1311 г), ГИМ, Син 896
 ТФ – Tonnie's Fenne's Low German manual of spoken Russian, Pskov 1607 V 2 Copenhagen, 1970
 УСт к XII – Устав Студийский (новг , кон XII в), ГИМ, Син 330 (по фотокопии)
 ЧН к XIII – Сказание чудес св Николая (новг , посл четв XIII в) ГИМ, Хлуд 215

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов Р И* 1949 – Очерки русской диалектологии М , 1949
Азарх Ю С 1967 – Отвердение парных мягких согласных перед гласными в вологодско-кировских говорах // Очерки по фонетике севернорусских говоров М , 1967
Азарх Ю С 1970 – Отвердение парных по твердости-мягкости переднеязычных согласных на конце слова в вологодско-кировских говорах // Вопросы изучения севернорусских говоров и памятников письменности Череповец, 1970
Ашиток Н I 1987 – Псковсько-прикарпатськи фтонімичні паралели *жіто, волбика і багно* // Мовознавство 1987 № 1
Бернштейн С Б 1961 – Очерк сравнительной грамматики славянских языков М 1961
Бирнбаум Г 1972 – О степени доказательности диалектизм- 'архаизмов' (на материале славянских языков) // Русское и славянское языкознание М 1972
Булкин В А Дубов И В Лебедев Г С 1978 – Археологические памятники Древней Руси IX–XI веков Л , 1978
Буров В А 1996 – К проблеме этнической принадлежности культуры длинных курганов // Росс археология 1996 № 1
Бьернфлатен Я И 1994 – Псковские говоры в общеславянском контексте // Норвежские доклады на XI-ом съезде славистов, Братислава, сентябрь 1993 г Oslo, 1994
Бьернфлатен Я И 1997 – Опыт лингвогеографии Псковской области // Псковские говоры История и диалектология русского языка Oslo, 1997
Васильев Л Л 1902 – Язык 'Беломорских былин // ИОРЯС 1902 Т 7 Кн 4
Васильев Л Л 1905 – К истории звука 'ъ' в московском говоре в XIV–XVII веках // ИОРЯС 1905 Т 10 Кн 2
Васильев Л Л 1907 – К характеристике сильно-акающих говоров // РФВ 1907 Т 58
Васильев Л Л 1908 – О влиянии нейотированных гласных на предыдущий открытый слог // ИОРЯС 1908 Т 13 Кн 3
Васильев Л Л 1909 – Одно соображение в защиту написаний *ьрь, ьръ ьръ ьль* древнерусских памятников как действительных отражений второго полногласия // ЖМНП 1909 Август
Вермеер В 1997 – О племенах и изоглоссах // Псковские говоры История и диалектология русского языка Oslo, 1997
Виноградов В В 1922 – Исследования в области фонетики севернорусского наречия (Очерки из истории звука 'ъ' в севернорусском наречии) // ИОРЯС 1922 Т 24

- Галинская Е А 1993 – О хронологии некоторых изменений в системе вокализма праславянского языка // Исследования по славянскому историческому языкознанию Памяти профессора Г А Хабургаева М 1993
- Галинская Е А 1995 – Рефлексы фонемы (ѣ) в смоленском диалекте начала XVII в // ВЯ 1995 № 4
- Георгиев В 1964 – Вокалната система в развоја на славянските езици София, 1964
- Герд А С 1995 – Русская историческая диалектология в кругу смежных дисциплин (на материале псковских говоров) // ВЯ 1995 № 2
- Геровский Г И 1959 – Древнерусские написания жч, жг и г перед передними гласными // ВЯ 1959 № 4
- Гиппиус А А 1996 – "Русская Правда" и Вопрошание Кирика в Новгородской Кормчей 1282 г (к характеристике языковой ситуации древнего Новгорода) // Славяноведение 1996 № 1
- Голоскевич Г К 1914 – Евсевиево евангелие 1283 года Опыт историко-филологического исследования СПб, 1914 (Исследования по рус яз Т 3 Вып 2)
- Горский А В Невоструев К И 1855, 1869 – Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки Отд 1 Св Писание М, 1855, Отд 3 Книги богослужебные Ч 1 М, 1869
- Гринкова Н П 1926 – Очерки по русской диалектологии // ИОРЯС 1925 Т 30 Л, 1926
- Карский Е Ф 1962 – Русская Правда по древнейшему списку (1930) // Труды по белорусскому и другим славянским языкам М, 1962
- Зализняк А А 1984а – Наблюдения над берестяными грамотами // История русского языка в древнейший период М 1984 (Вопросы рус языкознания Вып V)
- Зализняк А А 1984б – Древнерусское *рути* 'подвергать конфискации имущества' // Балто славянские исследования 1983 М, 1984
- Зализняк А А 1986 – Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // Янин В Л Зализняк А А Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг) Комментарий и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг) М, 1986
- Зализняк А А 1990 – **Огосподишь* // Вопросы кибернетики Язык логики и логика языка М 1990
- Зализняк А А 1991 – Берестяные грамоты перед лицом традиционных постулатов славистики и *vice versa* // RLing 1991 V 15 № 3
- Зализняк А А 1993 – К изучению языка берестяных грамот // Янин В Л, Зализняк А А Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг) М, 1993
- Зализняк А А 1995 – Древненовгородский диалект М, 1995
- Ильинский Г А 1909 – Славянские этимологии XV Пл п і п і е ныне // РФВ 1909 Т 62
- Каринский Н М 1898 – О некоторых говорах по течению рек Луги и Ордежа // РФВ 1898 Т 40
- Каринский Н М 1909 – Язык Пскова и его области в XV веке СПб, 1909
- Каринский Н М 1928 – Паремейник 1271 года как источник для истории псковского письма и языка // Сб ОРЯС 1928 Т 101 № 3
- Касаткин Л Л 1973 – Гласные одного вологодского говора, не знающего противопоставления согласных по твердости-мягкости // Исследования по русской диалектологии М, 1973
- Касаткин Л Л 1984 – Русский диалектный консонантизм как источник истории русского языка М 1984
- Касаткин Л Л 1995 – Некоторые фонетические изменения в консонантных сочетаниях в русском, древне русском и праславянском языках связанные с противопоставлением согласных по напряженности/ненапряженности // ВЯ 1995 № 2
- Касаткина Р Ф 1991 – Рефлексы **ѣ* в некоторых севернорусских говорах // ВЯ 1991 № 2
- Каталог 1988 – Каталог славяно-русских рукописных книг XI–XIV вв, хранящихся в ЦГАДА СССР Ч 1–2 М 1988
- Колесов В В 1982 – Введение в историческую фонологию Л, 1982
- Крысько В Б 1993 – Общеславянские и древненовгородские формы Nom sg masc **o* склонения // RLing 1993 V 17 № 3
- Крысько В Б 1994а – Заметки о древненовгородском диалекте (I Палатализации) // ВЯ 1994 № 5
- Крысько В Б 1994б – Заметки о древненовгородском диалекте (II Vana) // ВЯ 1994 № 6
- Крысько В Б 1994в – Развитие категории одушевленности в истории русского языка М 1994
- Крысько В Б 1997 – Кости и письмена К поискам истоков древнего новгородско-псковского диалекта // Псковские говоры История и диалектология русского языка Oslo, 1997
- Кузнецов В 1898 – Сомринский говор // Живая старина 1898 № 2
- Курашкевич В 1972 – Старопольские уменьшительные имена типа *Wyszak (Wyszako), Jaszek (Jaszko)* // Русское и славянское языкознание М, 1972
- Ляпунов Б М 1926 – Этимологический словарь русского языка А Г Преображенского // ИОРЯС 1925 Т 30 Л, 1926
- Николаев С Л 1990 – К истории племенного диалекта кривичей // Сов славяноведение 1990 № 4
- Николаев С Л 1994 – Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // ВЯ 1994 № 3

- Петровский Н М* 1920 – О новгородских 'словах' // ИОРЯС 1920 Т 25
- Потебня А А* 1881 – К истории звуков русского языка III Этимологические и другие заметки Варшава, 1881 (Отд оттиск из РФВ 1880 г).
- Розова Э Г* 1958 – Колебания в склонении личных и собственных имен мужского рода на -о и на -е в сербохорватском языке сравнительно с русским Автореф дисс канд филол наук Львов, 1958
- Седов В В* 1994 – Восточнославянская этноязыковая общность // ВЯ 1994 № 4
- Селищев А М* 1941 – Славянское языкознание Т 1 Западнославянские языки М, 1941
- Соболевский А И* 1884 – Очерки из истории русского языка Киев, 1884
- Соболевский А И* 1886 – Одна особенность старого новгородского говора // РФВ 1886 Т 16
- Соболевский А И* 1911 – К хронологии одной особенности псковского говора // РФВ 1911 Т 65
- Соболевский А И* 1912 – Лингвистические и археологические наблюдения Вып II Варшава 1912 (Оттиск из РФВ 1911–1912 гг)
- Соболевский А И* 1916 – Два слова о псковском говоре // РФВ 1916 Т 75
- Страхов А Б* 1994 – Критические заметки по поводу некоторых черт 'кривичского' диалектного наследия в интерпретации С Л Николаева // Palaeoslavica 1994 II
- Толстой Н И* 1977 – О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии Л, 1977
- Треблер С М* 1978 – История частной системы русского вокализма с дифференциальным признаком 'лабиализованность – нелабиализованность' по данным лингвистической географии (из опыта исторической интерпретации изоглосс) // Вестн Моск ун-та Сер 9 Филология 1978 № 5
- Трубачев О Н* 1991 – Этногенез и культура древнейших славян Лингвистические исследования М, 1991
- Трубачев О Н* 1992 – В поисках единства М, 1992
- Трубачев О Н* 1997 – В поисках единства Взгляд филолога на проблему истоков Руси 2-е доп изд М 1997
- Трубецкой Н С* 1993 – Опыт праистории славянских языков (из писем к Р О Якобсону и Н Н Дурново) // Вестн Моск ун-та Сер 9 Филология 1993 № 2
- Устинкова З П* 1977 – О генезисе цоканья в русских говорах (По материалам псковских смоленских и северо-восточных белорусских говоров) // ВЯ 1977 № 4
- Филин Ф П* 1953 – О порочной "концепции" 'нового учения' о языке в изучении лексики древнерусского языка // Докл и сообщ Ин-та языкознания АН СССР IV М, 1953
- Филин Ф П* 1962 – Образование языка восточных славян М, Л, 1962
- Филин Ф П* 1972 – Происхождение русского, украинского и белорусского языков Историко-диалектологический очерк Л, 1972
- Хабургаев Г А* 1979 – Этнонимия 'Повести временных лет' в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза М, 1979
- Хабургаев Г А* 1980 – Становление русского языка М, 1980
- Чернышев В И* 1970 – Говор Пушкинского района (1936) // Избр труды Т 2 М, 1970
- Шахматов А А* 1913 – К вопросу о польском влиянии на древнерусские говоры // РФВ 1913 Т 67
- Шахматов А А* 1915 – Очерк древнейшего периода истории русского языка Пг 1915 (Энциклопедия славянской филологии Вып II 1)
- Шевелева М Н* 1995 – Новые данные церковнославянских рукописей о рефлексах сочетаний редуцированных с плавными и развитии "второго полногласия" // ВЯ 1995 № 4
- Янич В Л* 1996 – Новгородские берестяные грамоты // Росс археология 1996 № 3
- Andersen H* 1996 – Reconstructing prehistorical dialects Initial vowels in Slavic and Baltic В, N Y, 1996
- Vinbaum H* 1991 – Reflections of the language of medieval Novgorod // RLing 1991 V 15 № 3
- Vjønflaten J I* 1995 – Prehistory and formation of East Slavic The case of the Kriviči // Подобають пам'яті створити. Essays to the memory of Anders Sjöberg Stockholm, 1995
- Geroskiy G* 1929 – Zur Behandlung der Lautverbindungen *dl-*, *-l-* im Sudkarpatorussischen (Ugrorussischen) // ZfsPh 1929 Bd 6
- Goehrke C* 1992 – Frühzeit des Ostslaventums Darmstadt, 1992
- Issatschenko A* 1980 – Geschichte der russischen Sprache Bd I Heidelberg, 1980
- Koschmieder E* 1996 – Die sogenannten leicht palatalisierten Konsonanten des Urslavischen // Orbis scriptus Dmitrij Tschizewskij zum 70 Geburtstag München, 1966
- Kronsteiner O* 1979 – Zum Alter der bulgarischen Lautgruppe *št/žd* aus urslavisch **tj***dj* // Österreichische Namenforschung 1979 № 1
- Lehу Sławiański T* 1931 – O mieszanu prasłowiańskich połączeń *telt z tolt* w językach północno-słowiańskich // Prace filologiczne 1931 T 15
- Łoś J* 1928 – Prast **tor* ≥ pol **toro*? // Symbolae grammaticae in honorem Joannis Rozwadowski V 2 Kraków 1928

- Lunt H 1981 – The progressive palatalization of Common Slavic *Skopje*, 1981
- Lunt H G 1984–1985 – On Common Slavic // *Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику* 1984–1985 № 27–28
- Manczak W 1984 – Rozwój *-l > -v, -u* w ukraińskim i białoruskim // *IJSLP* 1984 30
- Miller R H 1988 – The third person present tense and Common Slavic dialectology // *IJSLP* 1988 37
- Montautonnet J R 1905 – Specimens du parler russe de Lioubovka – Kolpino // *MSLP* 1905 T 13.
- Moszyński L 1967 – Od czego zależał różnokierunkowy rozwój tzw. *jat'* w językach słowiańskich // *BPTJ* 1967 25
- Popovska-Taborska H 1993 – Wczesne dzieje słowian w świetle ich języka Warszawa, 1993
- Savignac D 1975 – Common Slavic **ьх-* in Northern Old Russian // *IJSLP* 1975 19
- Schelesniker H 1982 – Gen sg aksl *zolta* // *Sprachwissenschaft in Innsbruck* Innsbruck, 1982
- Schlerath B 1992 – [Recensio] // *Præhistorische Zeitschrift* 1992 Bd 67 Rec ad Mallory J P In search of the Indo-European Language archaeology and myth London, 1989
- Schuster Ševc H 1993 – Noch einmal zur Daterung und zu den Ergebnissen der 2. Palatalisation der Velare im Slavischen mit besonderer Berücksichtigung des Altrussischen // *Slavistische Studien zum XI internationalen Slavistenkongreß in Preßburg / Bratislava* Köln etc., 1993
- Shevelov G Y 1971 – Slavic family names in *-kevič* and the palatalization of velars in Belorussian // *Shevelov G Y Teasers and appeasers* Essays and studies on themes of Slavic philology München, 1971
- Shevelov G Y 1972 – Leonid Vasil'ev and his work // *Васильев Л Труды по истории русского и украинского языков* München 1972
- Shevelov G Y 1979 – A historical phonology of the Ukrainian language Heidelberg, 1979
- Shevelov G Y 1982 – Между праславянским и русским // *RLing* 1982 V 6 № 3
- Steber Z 1979 – Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich Warszawa, 1979
- Taszycki W 1957 – O gwarowych formach *mgłéi, mgły, moglić się, moglićwa* itp. (Rozdział z historycznej dialektologii polskiej) // *Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 2* Warszawa, 1957
- Tevniere L 1933 – Les diphtonges *tl dl* en slave essai de géolinguistique // *RÉSl* 1933 T 13 Fasc 1–2
- Timberlake A 1981 – Dual reflexes of **dj* in Slavic and a morphological constraint on sound change // *IJSLP* 1981 23
- Trubetzkoy N 1927 – Russ *семь* 'sieben' als gemeinostslavisches Merkmal // *ZfslPh* 1927 Bd 4
- Trubetzkoy N 1936 – Die altkirchenslavische Vertretung der urslav. **tj, *dj* // *ZfslPh* 1936 Bd 13
- Vermeer W 1994 – On explaining why the Early North Russian nominative singular in *-e* does not palatalize stem final velars // *RLing* 1994 V 18 № 3
- Vermeer W 1995 – Towards a thousand birchbark letters // *RLing* 1995 V 19 № 2
- Vermeer W 1997 – Notes on medieval Novgorod sociolinguistics // *RLing* 1997 V 21 № 1
- Vondrak W 1906 – Vergleichende slavische Grammatik Bd 1 Lautlehre und Stammbildungslehre. Göttingen, 1906

© 1998 г. Е.Э. БАБАЕВА

**КТО ЖИВЕТ В ВЕРТЕПЕ, ИЛИ
ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СЛОВА***

Отшумит век, уснет культура, переродится народ, ...и весь этот поток увлечет за собой хрупкую ладью человеческого слова в открытое море грядущего, где нет сочувственного понимания, где свежий ветер вражды и пристрастия современников заменяется унылым комментарием.

О Мандельштам

ВВЕДЕНИЕ

Семасиологические исследования могут быть выдержаны в жанре "портрета" (синхрония) или в жанре "биографии" (диахрония). Лингвистическое портретирование как особая методика синхронного описания лексем возникла в лексикографии сравнительно недавно¹. Что же касается описания "биографии" слов, то, хотя само слово "биография" не носит терминологического характера, жанр "история слова", развившийся помимо лексикографической практики, является достаточно традиционным для русского языкознания, хотя и принципиально нестрогим. Историческая же лексикография стремится, прежде всего, по возможности полно описать весь набор зафиксированных для каждого слова значений. Иначе говоря, словари, традиционно относимые к "историческим", тяготеют скорее к жанру "портрета" (хотя использующиеся в них методы "портретирования" в значительной степени в силу объективных причин, уступают по разработанности методам, использующимся в синхронии).

Поскольку "биография" слова невозможна без предварительного "портретирования", а объяснение особенностей функционирования слова на каждом синхронном срезе может быть значительно обогащено, если учитывать его "биографию", разрыв между синхронией и диахронией в области лексической семантики представляется искусственным, вызванным требованием теоретической и практической разработки ее отдельных аспектов. Вместе с тем, очевидна уже назревшая необходимость последовательного сближения синхронных и диахронных семасиологических исследований.

I. ФАКТОР ВРЕМЕНИ

Как отмечал Н.И. Толстой, "при определении значения современного литературного слова исключается или сводится к минимуму фактор времени и пространства", тогда

* Работа выполнена в рамках проекта, получившего финансовую поддержку Российского гуманитарного научного фонда (№ 95-06-17330).

Автор признателен Ю.Д. Апресяну и Е.В. Урысон, которые ознакомились с данной работой в первоначальном варианте и поделились ценными наблюдениями, касающимися проблематики семасиологических исследований.

¹ Впервые термин "портретирование" использовал А.К. Жолковский [Жолковский 1964]; данное направление активно развивалось в последующие годы, ср., например, в отечественной лингвистике [Мельчук, Жолковский 1984; Иорданская, Паперно 1996; СИ 1991; НОССРЯ 1997].

как "при определении исторического значения слова, т.е. значения слова, зафиксированного в памятниках, фактор времени присутствует в рамках, устанавливаемых хронологическими границами памятника, исследования или словаря" [Толстой 1997: 114].

Если термин "литературный", применительно к современной русской языковой ситуации, действительно, в определенном смысле устраняет фактор пространства (т.е. позволяет в целом игнорировать диалектное членение языка), то термин "временный" оказывается, в соответствии с его внутренней формой, скорее связанным с фактором времени, чем противопоставленным ему.

Практически лексикографирование лексемы (т.е. слова, взятого в одном значении) на синхронном уровне предполагает включение фактора времени, что отражается, например, в фиксации ограничений на реализацию значения, актуальной для лексемы на данном временном срезе (особенности лексической или семантической сочетаемости²), а также в наличии специальных помет (например: устар., арх., стар. и др.), характеризующих место лексемы в лексической системе языка.

Аналогичные функциональные запреты или ограничения прослеживаются и в том случае, когда речь идет об "историческом значении слова", как его понимает Н.И. Толстой, т.е. если анализируется значение лексемы внутри языковой системы, отстоящей от современности на временной шкале (на ином синхронном срезе). В этом случае единицы текста (ряда текстов) рассматриваются внутри заданных хронологических границ (языкового континуума) как принадлежащие одной системе³. Вместе с тем, несмотря на то, что общие принципы описания лексем (т.е. анализа контекстов употребления, классификации этих контекстов, поиска адекватного толкования) остаются в целом неизменными при обращении к прошлому (диахронии), нельзя не отметить, что суждения относительно лексем, функционировавших в более или менее отдаленные эпохи, носят в значительной степени принципиально гипотетический характер, поскольку действуют такие, например, факторы, как относительная репрезентативность значения в зафиксированных письменных (и устных) употреблениях или сложность адекватной реконструкции для каждой эпохи лингвистического и экстралингвистического контекста.

Значение "временного фактора" еще более усиливается при лексикографировании слова. Описание слова как такового (т.е. определенного набора лексем) не меньше (а может быть, и больше) апеллирует к диахронии, чем к синхронии⁴.

Упорядочение значений, необходимое при описании слова, предполагает, во-первых, что некоторые значения менее актуальны для заданных хронологических рамок. Если такие значения преобладают, то становится очевидным, что слово в целом продвинулось из центра системы в его периферию (из активного запаса в пассивный). Во-вторых, перечисление значений предполагает, что между ними существует некоторая связь. Эта связь может эксплицироваться при помощи толкований⁵. В русской

² См., например, описание современной лексемы *порожний* 'такой, где отсутствует нечто, чего в данном месте естественно ожидать', в котором отмечается процесс сужения семантической сочетаемости лексемы (до одного класса имен существительных, а именно "названий грузовых транспортных средств") в сравнении с литературным языком XIX в. [НОССРЯ 1997: 299–300].

³ Так, например, лексема *городить* 'строить, возводить' (Жерди возят черти, хотя ад *городить* (посл.)) на протяжении древнерусского периода и в XVIII в. реализовывала свое значение только в сочетании со словами, обозначающими загорождение (например, *город*, *град* в значении 'стена'). Конкурировавший с ним глагол с неполногласной основой *градити* использовался собственно в значении 'строить' (*градити забор*, *дом*, *монастырь* и т.д.).

⁴ В этом смысле словарь современного русского языка принципиально ничем не отличается от словаря языка XVIII в. Само по себе задание хронологических рамок (т.е. опять же временной фактор) является частью концепции любого словаря. С этой точки зрения словарь языка XVIII в. в меньшей степени "историчен", поскольку его хронологические рамки уже.

⁵ Задача словарного описания структуры многозначного слова относится к числу традиционных для лексикографии. Существуют разные принципы ее решения, ср., например, описание значений слова *свинья* в [Мельчук, Жолковский 1984: 722–725], в котором учитывается такой важный для развития многозначности фактор, как наличие устойчивых коннотаций, связанных с объектом номинации. Из недавних работ,

лексикографической практике значительно чаще эта связь фиксируется не столько в системе толкований, сколько в последовательности подачи значений⁶. В основу нумерации (иерархизации) значений могут быть положены разные принципы (например, первым может указываться наиболее распространенное значение или же то, от которого образованы последующие, и др.), однако любой из них так или иначе оказывается связанным с фактором времени и с идеей семантического развития слова⁷.

Наличие связи между значениями многозначного слова является фактом синхронии, вместе с тем, объяснение этой связи – прерогатива диахронии. Деление значений внутри слова на производящие/производные (выражающееся, например, в наличии помет перен., метаф.) демонстрирует связанность синхронных и диахронных процессов еще и потому, что любой семантический сдвиг осуществляется внутри движущейся во времени языковой системы и в соответствии с уже действующими языковыми механизмами. Фиксация семантического сдвига, возможная именно при описании слова (т.е. при сравнении отдельных значений), является не только и не столько "портретной" чертой, сколько данью истории языка.

II. ВЕРТЕП: ГИПОТЕЗА О СЕМАНТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СЛОВА

При лексикографировании значений слова внутри заданных хронологических рамок происходит искусственный обрыв истории функционирования слова, когда игнорируются употребления, относящиеся к временному срезу до нижней или после верхней заданной хронологической границы, либо те и другие. По этой причине слово в целом иногда предстает как искусственный конструкт, в котором внутренние связи сильно затемнены.

Поскольку описание значений слова не предполагает целостного анализа его внутренних связей, структура одного и того же слова может быть представлена в различных толковых словарях (описывающих один и тот же синхронный срез) с некоторыми разночтениями. Так, слово *вертеп* в хронологических рамках "современный русский язык", в МАСе толкуется следующим образом:

ВЕРТЕП, -а, м. 1. Устар. Пещера. *Когда-то в старину, Лев с Барсом вел предолгую войну За спорные леса, за дебри, за вертепы.* И. Крылов, Лев и Барс. 2. Убежище преступников, развратников; притон. *Я попал в один из вертепов, вроде притона "на бойком месте" в драме Островского.* Короленко, История моего современника... 3. Распространенный в старину передвижной кукольный театр для представления пьес религиозного и светского содержания. *В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами.* Гоголь, Вий [МАС 1981: 152].

Ср. в словаре Д.Н. Ушакова: "[церк.-слав. первонач. пещера]. 1. Притон, место

в которых используется данный прием, см., например, толкования значений слова *небо* в [СИ 1991: 176–184; автор Е.В. Урысон]: небо 1.1 (На небе показались первые звезды) 'воздушное пространство высоко над землей, днем в ясную погоду синего или голубого цвета, как бы ограниченное куполом, накрывающим землю, который зрительно воспринимается как местоположение светил, выше которого ничего нет'; небо 1.2 (небо X–а: Небо Италии) 'небо 1.1, обычный вид которого в стране или местности X как бы определяет общий дух X–а'; небо 2.1 (Ее душа теперь на небе) 'часть потустороннего мира, где Бог общается с пребывающими там ангелами и душами умерших святых и где душа не ощущает ничего, кроме высшего блаженства – нечто высшее, противопоставленное земле как неизменному – как бы небо 1.1 по коннотации 1'; небо 2.2 'высшие силы, пребывающие на небе 2.1'.

⁶ Существует возможность принципиального отказа от отражения иерархии значений (так называемое "тире Срезневского").

⁷ Ср. определения лексикографических методов у Касареса, в которых фигурируют одни и те же понятия: в соответствии с "эмпирическим" методом, статья начинается "наиболее распространенными, наиболее современными, в рамках общенародного языка, значениями... и кончается значениями слова в жаргонном употреблении и специальными терминологическими", а согласно "историческому" методу "сначала дается этимология слова, затем наиболее близкое к ней значение, даже если оно неупотребительно, и, наконец, все другие значения слова, причем последнее место отводится современному и наиболее распространенному" [Касарес 1958: 80, 83–84].

разврата и преступлений (книжн.). 2. Ящик с марионетками для представления драмы на евангельский сюжет о рождении Христа (этногр., театр.). 3. Самое это представление (театр., этногр.)" [Ушаков 1994: 255]⁸ или в словаре С.И. Ожегова: "1. Притон преступников, развратников (устар.). 2. Большой ящик с марионетками – место кукольных представлений на библейские и комические сюжеты (стар.)" [Ожегов 1990: 79; аналогично в Ожегов, Шведова 1997: 75].

Таким образом, согласно МАСу, первое значение является устаревшим (оно опущено, т.е. выведено из числа современных, в словаре Ожегова, и приписано другой лексической системе – церковно-славянскому языку – в словаре Ушакова; отметим еще, что в БАСе зафиксировано его подзначение "овраг" [БАС 1991: 193]), а третье признано историзмом (обозначает предмет, "распространенный в старину"; словарь Ожегова оформляет этот фрагмент толкования специальной пометой, в словаре Ушакова это значение, а также выведенное из него следующее признаются свойственными современной профессиональной подсистеме). Единственное современное, по МАСу, значение (не имеющее никаких помет и толкование которого не включает суждений, носящих ограничительный характер) в словаре Ушакова рекомендовано как книжное, а словарем Ожегова отнесено к устаревшим⁹.

В принципе, возможно опустить нижнюю границу хронологических рамок до XI в. Если обратиться к "Словарю древнерусского языка XI–XIV вв.", то окажется, что слово *вертеп* в это время обладало только одним значением: "пещера" [Сл.др.-русс. 1989: 267–268]. Учет более широкого круга фиксаций приведет к наращению значений¹⁰. В самом общем виде список значений, согласно данным словарей, будет выглядеть так:

- пещера: Сл. др.-русс. XI–XIV вв.; СлРЯ XI–XVII вв.; Сл. рус. яз. XVIII в. (с пометой "слав."); Сл. Ушакова (с пометой "ц.-сл.", "первонач."); МАС, БАС (с пометой "устар.");
- овраг: СлРЯ XI–XVII вв. (как подзначение для 'ущелье'); Сл. рус. яз. XVIII в. (объединено со значением 'ущелье' с пометой "обл."); БАС (как подзначение для 'пещера');
- ущелье: СлРЯ XI–XVII вв.; Сл. рус. яз. XVIII в. (объединено со значением 'овраг' с пометой "обл.");
- впадина: Сл. рус. яз. XVIII в. (как подзначение для 'ущелье, овраг', с пометой "геогр.");
- сад: СлРЯ XI–XVII вв.;
- склеп, гробница: СлРЯ XI–XVII вв.;
- тайное убежище, притон: СлРЯ XI–XVII вв.; Сл. рус. яз. XVIII в. (как подзначение 'пещера'); МАС; БАС; Сл. Ушакова (с пометой "книжн."), Сл. Ожегова (с пометой "устар.");
- место обитания, укрытия: Сл. рус. яз. XVIII в. (как подзначение 'пещера');
- жилище, пристанище: Сл. рус. яз. XVIII в. (как подзначение 'пещера', с пометой "перен.");
- переносной кукольный театр для представления на святках сцен на библейские темы: Сл. рус. яз. XVIII в. (с пометой "юго-зап."); МАС; БАС; Сл. Ушакова (с пометами "этногр., театр."); Сл. Ожегова (с пометой "стар.");

⁸ Последнее значение как подтип предыдущего выделено и в БАСе [БАС 1991: с. 193].

⁹ В целом, анализируя систему значений данного слова, представленную в словарях, можно предположить, что оно относится к периферии современного языка. Следствием этого является "интуитивное" употребление слова в контекстах, сохраняющих некоторую "память" о нем, ср., например, у Б. Пастернака "И холодно было младенцу в *вертепе* // На склоне холма...". Еще более показательное использование слова в названии статьи И. Шевелева (Общая газета, № 49, 11–17 декабря 1997 г.) "Вертеп искусств", в данной статье *вертепами* названы картинные галереи, развернутые во время ярмарки "Арт-Манеж-97". В данном окказиональном употреблении активизируется представление о зрелищности, балаганности, т.е. о вертепе как составляющей народного гуляния.

¹⁰ Ср. [СлРЯ XI–XVII 1975: 97–98; Сл. рус. яз. XVIII 1987: 50–51].

– святочное представление на библейские сюжеты в кукольном театре: БАС (как подзаключение для 'переносной кукольный театр...'), Сл. Ушакова (с пометой "этногр., театр.").

К этому списку следует прибавить еще значение 'навес над стойлом (яслями)', описанное В.В. Владимирской в специальной статье, посвященной истории данного слова [Владимирская 1968: 28–40].

Перечисленные значения можно объединить в следующие большие зоны в зависимости от типа обозначаемых реалий: 1) природные объекты, 2) некие природные (место) или искусственные объекты (помещение), использующиеся в специальных целях (чтобы жить, чтобы прятаться, чтобы хоронить), 3) объекты, относящиеся к сфере быта и культуры.

На основе приведенных в этих словарях толкований разграничение отдельных значений представляется довольно затруднительным. Действительно, не совсем понятно, как, анализируя разного рода контексты, проводить границу между, скажем, значениями 'овраг' и 'ущелье' или объединенным значением 'овраг и ущелье' и значением 'впадина'. Обычная практика состоит в описании, прежде всего, контекстов, где объект более-менее ясен (т.е. значение выводится из современных экстралингвистических знаний об объекте и из общего смысла фразы), тогда как существует множество контекстов, "закрытых" для точного понимания того, о каком, собственно, объекте идет речь¹¹.

Вместе с тем, оставаясь в рамках данных толкований, оказывается практически невозможным установить логическую и генетическую связь между всеми значениями. Констатируется лишь наличие некоторого ряда употреблений, зафиксированных внутри заданных хронологических рамок, иначе говоря, фактор времени, учтенный в словарях, реализуется как статический. При статической представленности фактора времени толкования в лучшем случае позволяют провести лишь сравнение минимальной пары из двух значений с целью обнаружения семантического "мостика" между ними (например, 'пещера' ⇒ 'место обитания').

Семантическая история слова, в отличие от истории фиксации его значений на разных хронологических срезах, подразумевает подход к фактору времени как к динамическому началу. Это означает, что должна быть создана гипотеза о том, как происходило движение от одного значения к другому (или другим) внутри структуры слова.

Попытка выявить движение семантики, оставаясь в рамках традиционных словарных толкований отдельных значений, часто приводит к приближительности результатов. Так, например, Г.А. Ильинский, считая значение 'пещера' вторичным, предполагал, что слово первоначально обозначало 'извилистый овраг, пропасть или ущелье'. Эта гипотеза вызывает множество вопросов (например, может ли овраг быть неизвилистым и предполагается ли наличие отдельной номинации для такого объекта и т.д.). Оценивая соображения Ильинского как "гадательные", В.В. Виноградов пишет: «Народно-областные значения "овраг, провал, ущелье" тесно связаны со значением "пещера". Они являются его видоизменением» (полемику между В.В. Виноградовым и Г.А. Ильинским см. в [Виноградов 1993: 76–77]). Если первое суждение трудно отрицать (хотя оно основано на нашем знании о том, что данные объекты имеют нечто общее), то очевидно, что второе суждение требует доказательств (почему 'овраг' признается видоизменением 'пещеры').

¹¹ Отметим, что словари, описывающие элементы отстоящих от нашего времени синхронных срезов, при формулировке значений часто учитывают судьбу слова в языке. В СлРЯ XI–XVII вв., например, значения, которые исчезли из языка "вместе с реалиями, понятиями, обычаями, верованиями", получают описательное толкование; другие, сохранившиеся в языке, но использующиеся со значительным сдвигом, "раскрываются путем перевода на современный язык"; наконец, третьи, не претерпевшие больших изменений, определяются "посредством современного материально тождественного слова" [СлРЯ 1971: 8–9]. Ср. аналогичные принципы в Сл. др.-русск. XI–XIV вв. [Сл. др.-русск. 1988: 13] или градацию "разрядов лексики" в Сл. рус. яз. XVIII в. [Сл. рус. яз. XVIII 1984: 28–29].

Необходимой (но не всегда достаточной) базой для построения такой гипотезы является апелляция сразу ко всем зафиксированным в разное время значениям. При сравнении трех условно выделенных выше групп значений можно предположить, что номинации, относящиеся к природным объектам, превосходят по древности прочие. Гипотеза о семантическом развитии слова в некотором смысле игнорирует хронологию; во всяком случае, хронология предстает как относительная, тем более, что значения, несомненно, идущие из древности, могут фиксироваться достаточно поздно: так, например, номинации для природных объектов (кроме 'пещеры') фиксируются лишь в XVII вв.

Обращение к выделенным на разных синхронных уровнях значениям 'пещера', 'ущелье', 'овраг', 'впадина' (природные объекты) позволяет выделить в них некий общий компонент: "пустота в объекте", при этом "объект" — часть рельефа, а "пустота" носит естественный характер. Речь идет о двух типах объектов, которые можно условно обозначить как овраг и пещера. Очевидно, что "пещера" противопоставлена "оврагу" ("впадине") с точки зрения расположения "пустоты" в пространстве: "пустота" может располагаться на горизонтальной (овраг) или вертикальной (пещера) плоскости¹². Таким образом, на отвлеченном уровне выявляются два набора компонентов смысла, соотносимые с конкретными (реализованными) значениями:

овраг	пещера
объект (часть рельефа) + пустота естественного происхождения + горизонталь	объект (часть рельефа) + пустота естественного происхождения + вертикаль

Оставаясь в границах фиксаций книжных (литературных) употреблений, трудно ответить на вопрос, каково соотношение между этими двумя наборами компонентов значений. Для построения гипотезы о развитии этих значений следует выйти за границы письменности.

Слово *вертеп* имеет диалектное значение 'поглощающая воронка, куда население отводит болотные воды для осушки земли'. Изучение семантики однокоренных типологически близких (суффиксальных) образований в родственных языках делает компонент "вода", проступивший в приведенном диалектном значении, еще более прозрачным, ср. болг. *въртеж* 'водоворот', сербохорв. *врџача* 'водоворот', сербохорв. *врџлог* 'омут', макед. *врџеж* 'водоворот', словен. *vrtimec* 'водоворот', а также лат. *vortex*, *vertex* в том же значении. Во всех этих лексических единицах "вода" мыслится как движущаяся субстанция, причем характер этого движения — вращательный (ср. рус. *водоворот*), а его источник — естественного происхождения.

Выявленное представление о движении по кругу хорошо соотносится с этимологией слова, восходящего к праслав. **vьrti*¹³. Г.А. Ильинский был прав, когда связывал первичное значение с семантикой корня¹⁴. Идея движения, присутствующая в корне, была понята им как 'извилистость', что является следствием сравнения объектов, названных в толкованиях (т.е. если сравнивать овраг и пещеру как объекты, то кажется, что идея движения больше соотносится с первым, поскольку он обладает свойством протяженности в пространстве, следовательно, имеет характерные изгибы).

Если же допустить, что компоненты "вода" и "движение" были присущи семантике слова в дописьменный период, то гипотетически можно предположить, что изначально пустота в объекте мыслилась лежащей именно на горизонтальной поверхности и что слово означало 'водоворот'. В процессе семантического развития произошла утрата компонентов "вода" и "движение", в результате чего возникло значение, которое

¹² Отметим еще, что характерным признаком объекта "пещера" может считаться наличие "входа".

¹³ Праслав. **vьrterъ* (**vьrtorъ*) образовано посредством суффикса *-ep- (*-op-) от праслав. глагола *vьrtĭti* сѣ.

¹⁴ Вместе с тем, отказ от признания данной этимологии верной при отсутствии гипотезы о другой этимологии делает рассуждения В.В. Виноградова принципиально неverifiedируемыми.

можно было бы сформулировать как 'полость естественного происхождения (любой конфигурации) в земле'; как уже отмечалось, в русской письменности употребления, реализующие данную линию развития, фиксируются поздно, с XVII в. (ср., например, значения 'яма', 'овраг', известные моск., тул., калуж., смол. и перм. говорам, *вертеп*, *вертепник* 'труднопроходимое место в горной тайге' в говорах красноярск. края, производное диал. *вертепистый* 'покрытый оврагами', а также рум. *virtop* 'котловина, овраг', вероятно, заимствование из слав. языков, сербохорв. *вртоп* 'яма' польск. *wertep* 'непроезжие места').

Схематически данную линию развития можно представить следующим образом: 'водоворот' ⇒ 'воронка' ⇒ 'полость в земле' ⇒ 'местность, характеризующаяся большим количеством таких полостей' ⇒ 'места, где (из-за наличия большого количества таких полостей) трудно передвигаться'.

Вероятно, компонент "вода" мог в ослабленном виде ("влага") снова попасть в семантическую структуру слова. Если обратиться к данным говоров красноярск. края, то можно предположительно реконструировать смену объектов номинации, произошедшей в данных говорах, следующим образом: овраг на поверхности горы (вероятно, ассоциирующийся с представлением о влаге, плодородности и обильной растительности: «Вот где-нибудь лога, промоины и лес там всякий. И говорят: "Попал в вертепы"; отметим, что в ряде рус. диалектов словом *вертеп* называют возвышенность или холм, покрытый оврагами) ⇒ лес/гора, поросшая лесом ('Были и с сосной отдельные вертепики', "Вертеп к овражине относится: гора крутая и лес") ⇒ гора ("Вертеп – это большинство гора крутая, кручь")» [Опыт лесного словаря 1994: 11]. Словом *вертеп* могли называться и другие полости (разломы) горной породы, что отражено в использовании этого слова для номинации ущелья (ср. "В таких прощельях (ущельях) в вертепах, снег не тает") [там же: 11].

Утрата (или нейтрализация) компонентов "вода" и "движение" позволила перенести представление о пустоте, характеризующее объект, выделенный из общего рельефа, с плоскости, условно названной горизонтальной, на вертикальную, в результате чего появились употребление слова в значении 'полость естественного происхождения на вертикальной плоскости горной породы' ('пещера'), фиксирующиеся в русской письменности с XI в. Аналогичное употребление отмечено для ст.-слав. *врѣтъпѣ* (в соответствии с греч. τὸ σπήλαιον, лат. *spelunca*), ср. еще сербохорв. *вртоп*, словен. *vrtep* 'пещера'.

В то же время пустота вне зависимости от ее плоскостей ориентации, могла восприниматься не сама по себе, а в соединении с идеей ее специального использования. Так, можно реконструировать представление о данном локусе как о потенциальном месте обитания животных, хотя значение 'логово дикого зверя', первая фиксация которого относится к XII в., мало представлено в текстах.

Впоследствии происходит продвижение слова из области номинаций собственно природных объектов в зону номинаций бытовых или же ритуальных реалий. Этому продвижению, вероятно, предшествовала актуализация потенциальных компонентов "нечто скрытое, трудно доступное" (ср. греч. σπήλαιον 'пещера' ⇒ 'укромное место'). Таким образом появилась возможность употребления слова *вертеп* для обозначения любого потаенного укромного места, использующегося для того, чтобы там скрываться или для захоронений (фиксации значения 'место захоронения' ограничены отдельными памятниками XV–XVI вв.¹⁵).

Значение 'укромное место', отмеченное в русской письменности с XI в., отражало представление о локусе, облюбованном теми, кто имел основания скрываться от социума, в том числе святыми и преступниками¹⁶. Отрицательный потенциал, имевший,

¹⁵ Заметим здесь также, что у восточных славян существовала древняя традиция захоронений "нечистых" покойников (самоубийц) в непроходимых местах и оврагах.

¹⁶ Ср. определение данного значения в [ОЦСРС 1834: 208]: "пещера, полое в земле или горе место, в котором можно человеку или зверям скрываться, обитать и жить вместо дома или логовища".

вероятно, достаточно древнюю мотивацию, получил дальнейшее развитие уже в контексте древнерусской культуры. Это произошло, видимо, благодаря влиянию книжности, а именно, частотности использования библейского стиха Ев. от Матфея 21, 13, от Марка 11, 17, в котором, в соответствии со ст.-сл. традицией, использовалось сочетание *врѣтъльъ развоѣникомъ* (перевод греч. λῆτοῦν).

Появление значений, включающих представление о функциональном использовании локуса, реализует следующую схему развития семантики: 'пещера' (природный объект) ⇒ 'пещера' (природный объект, укромность) ⇒ 'пещера' (природный объект, укромность, место обитания зверя) ⇒ 'пещера' (природный объект, укромность, место укрытия) / 'пещера' (природный объект, укромность, место захоронения).

Вместе с тем, если данный локус обитаем, то в качестве такового он противопоставляется искусственным жилищам, уступая даже самым элементарным из них с точки зрения условий обитания. Значение 'жилище', возникшее в результате переноса 'пещера' (природный объект, пригодный для обитания, элементарные условия обитания) ⇒ 'жилище' (элементарные условия обитания), фиксируется впервые в XVII в.¹⁷

Как показала в своем исследовании В.В. Владимирская, в ограниченном количестве текстов представлено значение 'навес над стойлом, яслями'. Его появление объясняется не столько внутренними семантическими возможностями слова, сколько контекстом его функционирования, а точнее, трактовкой фразы "Христос родился в вертепе", поскольку местом рождения Христа наряду с пещерой может признаваться хлев. Как отмечает В.В. Владимирская, эта вторая традиция восходит к памятникам древнехристианского периода, где уточнялось, что Христос родился под навесом в яслях (ἐν τῇ φάτιλ). В этом значении слово употребляется в Никон. лет. XI (список XVI в.) и в Хождении Игнатия Смольнянина (XVI в. ~ 1405) [Владимирская 1968: 31 и сл.].

Таким образом, речь идет о процессе, когда слово, закономерно возникшее в устойчивом контексте и обозначающее в нем 'пещера' (место, где родился Христос), внутри определенной переводческой традиции было переосмыслено как 'место, где родился Христос' (ясли), откуда значение 'навес над яслями' (где родился Христос).

С культурно-историческим контекстом связана следующая линия развития семантики слова: 'место рождения Христа' ⇒ 'ящик с кукольным театром, в котором во время святок разыгрываются представления на библейские сюжеты (в том числе сцена рождения Христа)' ⇒ 'представление, разыгранное в таком театре'. Обычай устроения театральных представлений на Рождество (так называемых мистерий), одним из основных сюжетов которых являлось Рождение Христа, издавна существовал на западе, откуда и был воспринят Польшей, где они получили название *Szopka* из нем. *Schoppen* – 'хлев, сарай' (ср. укр. *шона* 'навес', 'сарай'), тогда как в Белоруссии они были известны под названием *бетлеек* (от *Betleem*)¹⁸. Вертепы как культурный феномен прекратили свое существование в XIX в., в силу чего данные значения находятся в зоне "потенциальных", при возрождении соответствующей традиции возможна их активизация.

¹⁷ Любопытно, что идея отстояния от некоторого эталона культурного места обитания представлена и в слове *дыра* (ср. совр. *Неужели мне всю жизнь придется провести в этой дыре?*).

¹⁸ На Украине первые вертепы появились в начале XVII в. (1600–1620 гг.), и их распространение связано с деятельностью Киево-братской школы и Академии. Первоначально инсценировки сцен библейской истории происходили в церкви. В Польше и на Украине вертеп представлял собой небольшой деревянный ящик, имевший два яруса, между которыми находился механизм для приведения кукол в движение. В верхнем ярусе представлялась серьезная часть действия, а в нижнем – шутивая интермедия. Вертепщик приводил в движение кукол и говорил за них. Представление часто сопровождалось пением кантов. Обычно зрителям показывали сцены поклонения пастухов, избияния младенцев царем Иродом, плача Рахили и смерти царя Ирода. В Москве в вертеп было вставлено стекло, а марионетки были заменены картинками, появился раек – переносная панорама в виде ящика. Картинки в нее опускались на веревочке, а зрители смотрели в ящик через круглые отверстия (иногда со вставленными увеличительными стеклами).

Обратимся теперь к значению 'сад'. Опираясь на это значение, исследователи обычно рассматривают слово *вертеп* в целом как заимствование из ст.-сл. языка, в котором оно использовалось для передачи греч. ὁ κήπος, лат. *hortus* наряду со словами *врѣтъ* (ср. сербохорв. *врѣт* 'сад', 'огород'), *врѣтъпоградъ* (ср. рус. *вертоград*) [Виноградов 1994: 76]. Именно контаминацией с этими словами В. Георгиев объяснял появление значения 'сад' у ст.-сл. слова *врѣтъпъ* [Български език 1961: 302–305]. Действительно, значение 'сад' у данного слова в русской письменности зафиксировано лишь для узкого круга переводных текстов XI в., испытавших сильное влияние ст.-слав. языка. Вместе с тем, значение 'сад' может рассматриваться как конкретная реализация того, что на отвлеченном семантическом уровне может интерпретироваться в качестве фрагмента закономерной линии развития праслав. корня, производного от и.-е. основы **Hۛcer-t(h)*, на базе которой в и.-е. языках формировались слова со значением 'колесо', 'круг'. Можно предположить, что в основе значения лежит представление о круговой замкнутой линии (ср. литов. *vėrti*, латыш. *vērt* в значении 'нанизывать бусы', 'запирать'; польск. *wrzec* 'запереть', рус. диал. *вереть*, *завереть* 'запереть') или же о пространстве внутри такой мысленно проведенной линии.

В целом нет оснований считать, что слово *вертеп* заимствовано из ст.-сл. Точнее было бы сказать, что в текстах XI в. использовалась заимствованная из ст.-сл. лексема *вертеп* со значением 'сад'. Достаточно широкая фиксация других значений, имеющих типологические параллели в родственных языках, не позволяет полностью исключить возможность существования слова, но с иной системой значений (не включавшей значения 'сад') на великорусской территории в дописьменный период.

Итак, для построения гипотезы относительно истории семантического развития слова мы обратились к разным источникам: 1) письменным фиксациям; 2) диалектному материалу; 3) данным родственных языков; 4) этимологии. Такое непрерывное расширение базы для построения гипотезы позволяет учесть максимальное число линий развития и восстановить звенья, которые были утрачены или не представлены в книжной традиции.

В целом можно отметить, что преобразования семантической структуры слова были вызваны несколькими факторами: 1) внутренним развитием самой структуры (изменение в составе компонентов значения, например, 'водоворот' ⇒ 'воронка' ⇒ 'полость в земле' ⇒ 'местность, характеризующаяся большим количеством таких полостей'); 2) энциклопедическими знаниями об объекте номинации (например, 'местность, характеризующаяся большим количеством таких полостей' ⇒ 'места, где (из-за наличия большого количества таких полостей) трудно продвигаться'); 3) переводческой практикой (так сказать, "авторским" употреблением: 'навес над стойлом, яслями'); 4) наличием лакуны в лексической системе, возникшей после заимствования культурной традиции, которому сопутствовал, видимо, отказ от заимствования "чужой" номинации.

В результате действия разных факторов семантическая структура слова реализовывала разные типы полисемии – цепочечную (например, 'пещера' ⇒ 'укромное место') и радиальную ('полость в земле' ⇒ 'пещера').

III. ФАКТОР ПРОСТРАНСТВА

Переход от "портретирования" слова к построению его "биографии" можно описать как отказ от фактора времени, заданного в качестве статического, в пользу фактора времени как динамического начала.

Вместе с тем, если предположить, что "портретирование" слова, в том случае, когда оно оказывается связанным с фактором пространства (например, в случае описания слова (лексемы) той или иной диалектной системы на определенном синхронном срезе), реализует этот фактор как статический, то переход от "портретирования" слова к построению его "биографии" отмечен осмыслением фактора пространства также как динамического.

Принципиально важным в этом смысле кажется следующее рассуждение Н.И. Толстого: "Нынешний славянский диалектный ландшафт в отношении многих явлений представляет собой нечто вроде развернутой в пространстве диахронии, в которой временная последовательность развития систем или их фрагментов манифестируется в территориальной проекции" [Толстой 1997: 15].

Так, можно отметить, что перегруппировка компонентов значения, продемонстрированная на примере истории слова *вертеп*, прослеживается также и в области сравнительной семасиологии, ср., например, болг. *въртоп* 'водоворот' и сербохорв. *вртоп* 'яма'; сербохорв. *вртоп* 'яма' и словен. *vrtep* 'пещера'.

Гипотеза о семантическом развитии слова может опираться не только на языковые данные, но и на эксперимент. Н.И. Толстой в ряде работ предложил методiku для исследования типологии семантики (сравнительной славянской семасиологии), состоящую в моделировании некоторой семантической сетки (предельно широкого для заданного поля набора семем), через которую затем пропускаются отдельные лексемы [Толстой 1997: 21]. Этот метод, как кажется, может быть использован и для исторической семантики, также имеющей, в терминах Н.И. Толстого, "вероятностную основу".

Моделирование семантической сетки для одного слова (т.е. перечисление компонентов значения, извлекаемых из всего корпуса языковых данных, а также учет схем их комбинирования) позволяет выявить связанность отдельных компонентов (например, связанность компонентов "полость" и "объект (часть рельефа)": нет ни одного употребления, в котором произошла замена или утрата только одного из этих компонентов). Вероятно, компоненты смысла имеют также определенные сочетаемостные свойства, проявляющиеся в их способности комбинироваться или не комбинироваться тем или иным образом.

Моделирование семантической сетки (например, совокупность выявленных компонентов "вода", "движение по кругу", "полость (естественного происхождения с незамкнутыми краями)", объект ("часть рельефа"), "наличие входа", "горизонталь", "вертикаль", "функциональность", "укромность", "опасность", "аскетичность", "плодородность" и др.) можно считать реконструкцией семантического потенциала слова, который по-разному реализовывался в истории слова. Так, например, на сочетании изначально потенциальных компонентов "укромность" и "опасность" основано известное современному языку значение 'место, где собираются люди, не признающие юридических и нравственных законов общества'.

Реконструкция семантического потенциала слова позволяет соотнести глубинно-семантический уровень с реально зафиксированными значениями, что открывает новые возможности для исследования типологии развития значений (как внутри одной лексической системы, например, в рамках определенного поля лексики, так и при сопоставлении разных лексических систем).

Вместе с тем, гипотеза о семантическом развитии слова не только обогащает типологию, но и, в свою очередь, проходит корректировку данными типологии¹⁹.

Вопрос о типологии номинации полостей и семантического развития таких номинаций достоин отдельного подробного рассмотрения. Возвращаясь к рассмотренной выше гипотезе о развитии значений слова *вертеп*, приведем лишь некоторые отдельные параллели.

Можно предположить, что в основе многих древнейших номинаций различного рода полостей в природных объектах лежало представление о воздействии человека на данный природный объект (т.е. сравнение полостей естественного и искусственного

¹⁹ Ср. оценку "реальности" реконструируемых языковых моделей у Вяч. В. Иванова и Т.В. Гамкрелидзе по критериям согласия системы с синхронными и диахроническими типологическими универсалиями (под последними понимаются общие схемы изменения и преобразования языков) [Иванов, Гамкрелидзе 1984: LXXXIII]. Характерно, что схожий принцип постулируется и для выбора наиболее адекватной модели синхронного описания, ср., например, формулировку А.Е. Кибрика: "При прочих равных условиях то описание предпочтительнее, которое типологически и диахронически наиболее правдоподобно" [Кибрик 1997: 31].

происхождения и отождествление их) В этом случае происходило уточнение по конкретному способу получения полости Так, например, название для полости в другом природном объекте – в древесной породе – праслав **dup(ь)lo/*dup(ь)lo* – является суффиксальным производным от **dupa*, которое, в свою очередь, восходит к и -е **dheup(b)-/*dhoup(b)-* И -е корень связан, вероятно, с представлением о движении сверху вниз (надавливании), можно предположить, что праслав существительное **dupa* имело значение 'полость, которая появляется при надавливании' Праслав отглагольное образование **dira/*dyra* также предполагало воздействие на объект, но иного характера (вероятно, разрывание объекта) тогда как праслав **jata* связано отношениями производности с и -е корнем, обозначавшим копать' (ср греч δμν 'лопата', отметим, например, совр *рытвина*, образованное от глагола *рыть*)

Вместе с тем, можно предположить, что компонент значения 'вода' представляет типологический интерес Так, совр существительное *дебру* этимологически родственно слову *дупло* (праслав **dъbrъ (> *dъbrъ)* связано с и -е **dheu-b-*) Возможно, что данным словом обозначался некий локус, расположенный ниже принимаемого за образец горизонтального уровня (то, что является результатом надавливания") Если обратиться к другим рефлексам этой же и -е основы, например латыш *dubra* 'лужа топкое место', литов *Duburys* название реки, *dūburas* 'промоина в русле ручья, на лугу', др -ирланд *dobur* 'вода', словен диал *dobra* 'местность, богатая водой', польск стар *debrz* 'ров промытый водой', укр диал *dubup* 'русло потока', лат *Tiberis*, *Thybris* название реки, – то можно выдвинуть гипотезу о том, что другим компонентом номинации локуса была 'вода' Не исключено, что древняя основа могла соотноситься с руслом горной реки

Отметим еще, что слово *овраг* не бесспорное в этимологическом отношении исторически связывается, согласно существующей гипотезе, с семантикой 'подниматься, кипеть', в силу чего в качестве его старшего значения указывается 'бурлящий поток'

В семантическом развитии ряда слов, обозначающих полость в природном объекте, есть некоторые пересечения Слово *дебру* с XI в фиксируется в значении 'обрыв, крутой склон' (во многих древнерусских текстах оно использовано для перевода греч ἡ φαραγὴ 'обрыв, пропасть' и 'крутой склон') Обобщая ряд контекстов, среди которых много 'темных' вероятно, точнее было бы говорить, что данная лексема служила для названия некоего локуса (крутой склон, ущелье, обрыв, пропасть), т е полости (разлома), обладающего признаками 'значительная глубина', 'крутизна' (ср чеш устаревшее *debř* 'ущелье, долина', чеш диал *debřa* 'крутизна, обрыв', польск *dziebna* 'долина между гор', укр диал *debup*, *dubup* 'крутой склон, взгорье', литов *dauburys* 'впадина, окруженная горами')

Вместе с тем, таким же образом мог обозначаться и другой тип рельефа, отличающийся от описанного выше меньшей амплитудой глубины, т е меньшей степенью разлома овраг, ров, вытянутое углубление в земле (ср литов *daubà* 'овраг лощина', славен *deber* 'овраг', чеш диал *debra* 'ров, рытвина польск стар *debrz* овраг словин *dabřa* 'овраг')

Слово *дебру* имеет в своей семантической структуре компоненты 'влага плодородность' (ср отмеченные выше значения слова *вертеп* в говорах красноярск края) что позволило ему развить значение 'низина, поросшая растительностью (кустарником), лес' (ср название города *Брянск* (< *Дьбрянскъ, Дебрянск*), рус диал (сев) *дебря* 'лесная чаща', укр *дебр* 'глубокий овраг, поросший лесом', сербохорв *debrn* 'овраг в тесу', *Debř* 'название лесистой местности на правом берегу реки Сазавы название деревни в глубокой долине реки Изера', польск стар *debrz* 'лес')

Подобно слову *вертеп*, существительное *дебру* развило значение 'местность по которой трудно передвигаться'

Некоторые пересечения в развитии семантики со словом *вертеп* имеет лат *lacuna* и однокоренное ему *lacus* Для древнего корня, представленного в этих словах, реконструируется значение 'полость, заполненная водой' (ср *lacuna* в значениях 'болото

пруд, море' и *lacus* в значениях 'озеро, пруд, водоем, бассейн') Вместе с тем слово *lacuna* развило значение 'полость в земле' ('впадина, яма, рытвина борозда'), для *lacus* засвидетельствованы значения 'ров', а также 'полость в земле, имеющая специальное предназначение' ('яма для известкового раствора' яма для хранения овошей')

О возможной типологической связи значений 'пещера' и 'углубление в земле' свидетельствует наличие обоих значений, например, у словен *jama*, латин *specus* и *caverna*

Отметим еще, что в и-е языках значение 'тайное убежище для разбойников притон достаточно часто развивается при слове, обозначающем яма, пещера ср польск *spelunka*, сербохорв *jazbina*, франц *caverne*, итал *cava*, нем *Rauberhohle*, татыш *bedre* (при том, что наиболее распространенной моделью является появление данного значения у слова, использующегося для названия логовища животного ср англ *den* 'берлога', чеш *peleš*, словац *pelech* сербохорв *гнездо* латыш *pereklis* гнездо', *midzenis* 'берлога')

Таким образом, изложенная гипотеза о развитии семантической структуры слова *вертеп*, как кажется, не противоречит приведенным данным типологии

Обобщая все вышесказанное, можно предположить, что построению гипотезы о семантическом развитии слова в целом предшествуют несколько этапов

– учет всех зафиксированных употреблений слова в данном языке (апелляция к языку во всей его временной и территориальной протяженности),

– учет всех зафиксированных употреблений слова, являющегося рефлексом той же основы в родственных языках (апелляция к данным родственных языков),

– соотнесение корпуса зафиксированных значений с данными этимологии,

– выявление значения (круга значений), близкого к семантике которая реконструируется как исконная для данной основы,

– выявление значений между которыми существует генетическая (логическая) связь,

– выявление утраченных или пропущенных звеньев в развитии семантической структуры слова,

– выявление языковых и внеязыковых факторов, определивших обогащение или обеднение семантической структуры слова (исчезновение отдельных значений появление новых или же переход одного значения в другое),

– выявление языковых и внеязыковых факторов, повлиявших на ограничение или расширение функционирования значений,

– реконструкция семантического потенциала слова, выявление "связанных" и "свободных" компонентов смысла,

– сопоставление семантического потенциала слова (в соотнесении с зафиксированными значениями) с семантическими потенциалами других слов входящих в это же лексико-семантическое поле,

– сопоставление гипотезы о семантическом развитии слова с данными типологии

Таким образом, изучение семантической истории слова пересекается с многими областями лингвистики и – шире – филологии и истории (например, с текстологией, палеографией, историей культуры и др.) Возможно, именно эта область знания может служить своего рода лингвистическим экспериментальным полем для синтеза знаний и методов традиционно соотносимых с разными направлениями исследований

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

БАС 1991 – Словарь современного русского литературного языка Т 2 СПб 1991

Български език 1961 – Български език XI София 1961

Виноградов В В 1994 – История слов М 1994

Владимирская В В 1968 – К истории слова вертеп в русском языке в связи с проблемой возникновения омонимов // Этимологические исследования по русскому языку Вып 6 М 1968

Жолковскии А К 1964 – Предисловие // Машинный перевод и прикладная лингвистика 1964 Вып 8

- Иванов Вяч Вс Гамкрелидзе Т В* 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры Т I Тбилиси 1984
- Иорданская Л Паперно С* 1966 – A Russian-English collocation dictionary of the human body USA 1966
- Касарес Х* 1958 – Введение в современную лексикографию М, 1958
- Кибрик А Е* 1997 – Иерархии роли, нули, маркированность и 'аномальная' упаковка грамматической семантики // ВЯ 1997 № 4
- МАС 1981 – Словарь русского языка Т I М, 1981
- Мельчук И А Жолковский А К* 1984 – Толково комбинаторный словарь современного русского языка Вена, 1984
- НОССРЯ 1997 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка Первый выпуск Под общим руководством Ю Д Апресяна М, 1997
- ОЦСРС 1834 – Общий церковнославянско-русский словарь Т I СПб, 1834
- Ожегов С И* 1990 – Словарь русского языка Изд 22-е Под ред Н Ю Шведовой М 1990
- Ожегов С И, Шведова Н Ю* 1997 – Словарь русского языка Изд 4-е М 1997
- Опыт лесного словаря 1994 – Опыт лесного словаря На материале говоров Красноярского края Ч I Красноярск 1994
- СИ 1991 – Семиотика и информатика Вып 32 Материалы к Интегральному словарю современного русского литературного языка (образцы словарных статей) М, 1991
- Сл др русск 1988, 1989 – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв) Т I М 1988 Т II М, 1989
- Сл рус яз XVII 1984, 1987 – Словарь русского языка XVIII в Правила пользования словарем Указатель источников Л, 1984, Вып III Л 1987
- СлРЯ XI–XVII 1971, 1975 – Словарь русского языка XI–XVII вв Вып I М, 1971 Вып II М, 1975
- Ушаков Д Н* 1994 – Толковый словарь русского языка / Под ред Д Н Ушакова Т I М 1994
- Толстой Н И* 1997 – К проблеме значения слова в славянской исторической лексикологии и лексикографии // Н И Толстой Избранные труды Т I Славянская лексикология и семасиология М, 1997

© 1998 г. А.Л. ШИЛОВ

**ТОПОНИМИЯ КАРЕЛИИ В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМ
СУБСТРАТНОЙ ТОПОНИМИИ РУССКОГО СЕВЕРА:
К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ГИДРОФОРМАНТА -ЕНЬ(Ь)ГА**

На протяжении полутора веков, начиная с исследований Кастрена и Шегрена, ученых занимает проблема происхождения субстратной топонимии Русского Севера (под которым обычно понимают Архангельскую, Вологодскую области, иногда – и сопредельные территории Костромской, Ярославской, Тверской и Ленинградской областей) В рамках решения этой проблемы особый интерес представляет топонимия Карелии, чему есть объективные причины. С одной стороны, в Карелии наблюдаются те же загадочные гидроформанты, что и на большей части Русского Севера. Общими для этих территорий являются и многие топоосновы, также не получившие пока удовлетворительной этимологии, и ряд темных заимствований в русских говорах. С другой стороны, карельский топонимический материал явно является генетически более "чистым". Во-первых, исторические документы показывают здесь более определенную этническую ситуацию (*лопь* – саамы, *корела* – карелы, *весь* – вепсы), чем на Русском Севере, где документы говорят просто о чуде. Не приходится говорить о пребывании в Карелии древних пермян, угров или волжских финнов (о соответствующей гипотезе Я. Калимы см. ниже). Кроме того, Карелия, наравне с Кольским полуостровом и Финляндией, была, по сути, последней территорией, освоенной финно-уграми при их распространении на северо-запад (независимо от места начала этого распространения, будь то Волго-Окское междуречье, Прикамье или иной регион)¹. Тем самым лексика, на основе которой складывалась дорусская топонимия Карелии, не безнадежно далеко отстоит от лексики современных прибалтийско-финских и саамского языков. Наконец, в историческое время территория Карелии была "прикрыта" со всех сторон народами, говорящими на тех же самых или близкородственных языках. Все это, казалось бы, дает предпосылки к тому, чтобы достаточно уверенно анализировать топонимию Карелии, не выходя за рамки прибалтийско-финских и саамского языков. Полученные же выводы могут быть использованы при интерпретации данных для более восточных и юго-восточных территорий, этническая история которых была, вероятно, и более сложной (что привело к пестроте топонимического фона), и более древней (о топонимии этих территорий см. [Матвеев 1971, 1995, Муллонен 1988]).

Но слишком смело было бы говорить, что нерусская топонимия Карелии складывалась на основе лишь саамского, карельского, финского (на западе) и вепсского (на юге) языков, и не более. Так, ряд авторов предполагал наличие в Карелии и на Кольском п-ове дофинно-угорского топонимического субстрата (ДФС) [Керт, Мамонтова 1982]. Впрочем, порой этот субстрат определяется как "волжский" или "волгоокский" [Косменко 1993] и трактуется в зависимости от того, какой смысл вкладывается в эти понятия, имеются ли в виду племена финно-волжской языковой общности или, в духе идей Б.А. Серебrenникова [Серебrenников 1955], предшествовавшие

¹ Здесь мы не имеем в виду относительно позднюю (я очевидно, вторичную, если иметь в виду финно-угров вообще) миграцию карел и вепсов в Заволочье

финно уграм индоевропейцы Однако сплошной анализ топонимов Карелии показал отсутствие здесь признаков ДФС, в том смысле, что мы не видим там топонимов с "безнадежным" не финно-угорским обликом, как не видим и гидроформантов, которые не подавались бы объяснению на финно-угорской почве [Шиллов 1998]

Это вовсе не равнозначно утверждению об отсутствии дофинно-угорского, точнее досаамского населения Карелии Сказанное надо понимать в контексте нерешенности проблемы происхождения саамов как таковых Отсутствие ДФС означает либо действительно его изначальное отсутствие, либо "стирание", игнорирование древней топонимии пришельцами, либо наконец, освоение пришельцами (саамами) той лексики, на которой строилась эта топонимия. В последнем случае разделение исконного гипотетического ДФС и собственно саамской топонимии принципиально невозможно

Совершенно иначе должна быть расценена "мерянская" гипотеза Я Калимы, основу которой составило выявление ярких топонимических параллелей между южной и юго-восточной Карелией и областью исторически известного расселения мери [Kalima 1941] Наука не подтвердила проникновение мери столь далеко на северо-запад, что не зачеркнуло однако, значение работы Калимы В ней содержится лишь ошибочный вывод Сам же материал весьма ценен, свидетельствуя о вполне реальных фактах близости (в силу общности происхождения) части лексики волжских и прибалтийских финнов, архаичности ряда топонимов Карелии Последнее соответствует и нашим наблюдениям многие топоосновы и некоторые топоформанты раскрываются с учетом изменений, характеризующих развитие современных прибалтийско-финских языков из прибалтийско-финского языка-основы Тем самым можно говорить о былом проживании в Карелии финно-угорских племен, язык которых (назовем его чудским) был родственен языкам современных карел и вепсов² При этом он, видимо, не являлся их непосредственным предком, если учитывать, что по современным воззрениям (обзор и литературу см [Муллонен 1994 117–120]) формирование праприбалтийско-финской языковой общности привязано к более южным территориям Многие факты карельской топонимии говорят о языковой близости или даже единстве древней карельской чуди и Чуди Заволочской [Шиллов 1997, 1998]

Одной из важнейших задач, которые необходимо решить для плодотворного анализа субстратной топонимии Русского Севера, является вычленение хотя бы нескольких базовых географических терминов, характерных для "темных" топонимических пластов Естественно полагать, что некоторые из этих терминов отражены в массово повторяющихся топоформантах К таковым относится и гидроформант *-ен(ь)га*

Формант *-ен(ь)га*³ присутствует во множестве гидронимов Европейского Севера – от бассейна Верхней Волги до Фенноскандии⁴ Географическим центром ареала, в котором наблюдается и наибольшая плотность соответствующих названий, является Заволочье

К вопросу происхождения этого форманта обращались многие исследователи Обсуждалась и его языковая принадлежность, и генезис По происхождению он считается самодийским (М Фасмер), угорским или протоугорским (Д Европеус, Б А Серебренников) финно-угорским (А И Туркин, Е М Поспелов), финно-саамским (А Шегрен) или саамским (И.Н Смирнов), прибалтийско-финским (Я Калима, А И Попов, А К Матвеев) [Еuropeус 1868, 1876, Sjogren 1861, Kalima 1941, Серебренников 1966,

² В эпоху бронзового и железного веков археология в Карелии выделяет три круга культур которые видимо могут быть соотнесены с саамами, финно угорской чудью и прибалтийскими финнами Согласно археологическим и лингвистическим данным расселение последних на большей части территории Карелии датируется концом I – началом II тыс н э [Напольских 1990, Косменко 1993]

³ Точнее *Ви(ь)га* Для разных территорий наблюдаются различные варианты гласного *V* с преобладанием какого то одного Так в Заволочье для *V* наблюдается *e > a ~ o > u* для Карелии *a, я, æ > e > o* и *(ы), y*, для Кольского п ва *e > u > o a*

⁴ Д Европеус насчитывал до 339 таких гидронимов в Северной России и до 162 в Финляндии Число северорусских гидронимов, безусловно может быть увеличено в результате работ экспедиции Свердловского университета во главе с А К Матвеевым

1968, Vasmer 1935, Смирнов 1891, Туркин 1989, Попов 1949, Поспелов 1970 Матвеев 1960, 1964, 1967, 1969, 1971]⁵ Наиболее глубоко этот вопрос изучен Матвеевым [1960, 1964], пришедшим к заключению: формант *-en(ь)ga* принадлежит вымершему языку Чуди Заволочской прибалтийско-финского типа. Этот язык имел консонантизм карельского типа, но ряд особенностей сближают его с вепским и саамским, а отдельные черты находят соответствие в марийском языке.

Дискутировалось и значение форманта. В нем видели грамматический элемент (Европеус – суффикс угорских прилагательных), генетивную конструкцию в языке прибалтийско-финского типа ([Попов 1949, Матвеев 1960] пр. -финск. $\langle \rangle$ -*en* + *jogi* > русск. $\langle \rangle$ -*енга*), большинство же исследователей – термин со значением 'река' (к такому же заключению пришел позднее и А. К. Матвеев [Матвеев 1969]). К этому указывалось не только присутствие *-en(ь)ga* почти исключительно в гидронимах и наличие рек с названием *Енга*, но и соответствующие термины: марийск. *еҥе* 'речка', хант. *ӱӧӧк* 'вода', ненецк. *јѣӧа* 'ручей', юагир. *опӧе* 'речка'. Эта, наиболее правдоподобная версия нуждается, однако, в дополнительном обосновании, ибо указанные лексические параллели территориально далеки от основного ареала названий с *en(ь)ga*, а субстратная топонимия соответствующих территорий обнаруживает скорее прибалтийско-финские черты, нежели волжские или угро-самодийские.

Эту задачу автор попытался решить на материале Карелии (46 гидронимов) и Кольского п-ва (27 гидронимов). Привлекались также данные с территорий Финляндии, Швеции и Норвегии. С чем мы имеем дело здесь – с термином 'река', генетивной конструкцией или грамматическим элементом?

Из последних кандидатами на роль источника форманта *-енга* потенциально могут рассматриваться уменьшительный суффикс *-еньк*, *-ынг* в кильдинском диалекте кольских саамов [Казаков 1949, Керт 1971] и финские суффиксы *-nka*, *-nki*, *-nko* (карел. *nko*, вепс. *-ng*). Они являются по происхождению деминутивными, образуют местные названия (*Oulanka* ср. *oulu* – половодье) и географические термины: *kujanki* 'проселочная дорога', *oulinki* 'прямой фарватер', *alanko* 'низменность', *ojanko* *ojange* 'ручей в канаве' [Хакулинен 1953]. Но этот вариант маловероятен. В финских топонимах с сочетанием *nk / ng* это сочетание, как правило, не воспринимается населением как финский словообразующий элемент: оно часто закрыто показателем генетива с последующим номенклатурным термином: *Kimunginjoki*, *Oulankajoki*, *Jongunjoki*, *Namanzanjari*. Такое оформление характерно для освоения финнами и карелами иноязычных названий: русск. *Сургуба озеро Сургубское* – карел. *Suiguband'arvi* русск. *Сына* (название очевидно саамское) – карел. *Sunund'ogi*. Во многих же случаях, когда финское название выступает в "чистом виде" (*Vaenki*, *Perinki*) оно оказывается не финского происхождения, то есть и здесь мы имеем заимствование иноязычных названий⁶. Отметим еще, что основы многих гидронимов с *енга* (как, например, *Кувдженга*) необъяснимы из прибалтийско-финских языков, но достоверно раскрываются из саамского.

Что же касается саамского уменьшительного суффикса, то странным представляется (при допущении, что он является источником *енга*) его присутствие почти

⁵ К сожалению, еще недостаточно исследована территориальная сочетаемость форманта *en(ь)ga* с другими топонимическими элементами. А. К. Матвеев [1990] отмечал совпадение наибольшей плотности гидронимов с *en(ь)ga* и *ягр/ягр*, но в целом соответствующие ареалы не совпадают. То же можно сказать о соотношении ареалов топонимов с элементами *Чуд* (см. [Агеева 1990]) и *en(ь)ga*, хотя и в этом случае максимальная плотность соответствующих топонимов приходится практически на один и тот же район.

⁶ Так *Vaenki* есть заимствование сканд. *Varangerfjorden* (саам. *Vaŋje vuonna*) где *anŋe* – древне-скандинавский термин 'фиорд' (вышел из употребления уже к XV в.). *Perinki* заимствовано из русск. *Пиренга* (Пиринга) в 1608 г. [Харузин 1890] саам. *Pirend'jok* [Itkonen 1958]). Следует отличать эти случаи от шведских топонимов запада Финляндии типа *Havinki* < *Havinge* < **Haf enŋi* (*haefr* – пригодный, *enŋi* – луга) [Saxen 1902].

исключительно в гидронимах на фоне активности саамских уменьшительных *-as*, *-dž* в номинации самых разных видов географических объектов [Itkonen 1958, Керт 1988] Кстати, Г.М Керт [1988, 1991] не относит саам *-еньк* к числу суффиксов, активных в топонимообразовании

Маловероятен в вариант генетивной конструкции Во-первых, в этом случае мы вправе ожидать финских вариантов гидронимов, где вместо русского *-Внга* окажется финское *-Vnjoiki*. Но этого не наблюдается, ср русск *Оланга* и финск *Oulankanjoki*, русск *Софьянга* и финск *Sohjenganjoki* [Karita 1918]. Непонятно и то, как могли возникнуть во множестве соответствующие гидронимы самой Финляндии, ведь вариант генетивной конструкции требует русской переработки прибалтийско-финских названий. Наконец, выше мы говорили о том, что основы многих гидронимов на *-енга* имеют саамское происхождение. Но в саамском языке генетив образуется существенно иначе, нежели в прибалтийско-финских: а именно путем изменений в именной основе [Керт 1971]. Поэтому для образования конструкции *-енга* мы должны каждый раз предполагать такую маловероятную процедуру отбрасывания саамского термина *jogk* "река или *vua*" "ручей", образование прибалтийско-финской формы генетива от основы топонима, присоединение термина *jogi*, русификация

Методом исключения мы вернулись к варианту номенклатурного термина. Этому находится некоторое подтверждение уже при сравнении русских и саамских названий рек или же одних русских вариантов [Itkonen 1958, II, ГСК 1939]. *Ковтеньга* – *Кoftтай*, *Югонька* – *Jugjok*, *Пиренга* – *Pi endžjok*, *Иоканга* (*Еконга* [ААЭ 1836, I 334]) – *Jovk-jokk*, *Лосинга* (*Лосенга*) – *Lissjogk*, *Родвиньга* (*Ровденга* [Харузин 1890, ААЭ 1836, IV 549]) – *Riidjok*, *Чуденьга* – *Čivduai*, *Утонга* – *Udd'jokk*, *Порьетанга* – *Porjetaž*. Видно, что русское *-Внга* соответствует либо саамскому термину "ручей, река", либо уменьшительному суффиксу (*-endž*, *-až*), образующему "фамильярные", свернутые формы топонимов и, опять-таки, занимающему место исходного номенклатурного термина [Itkonen 1958, I XXI]. Мы видим также в Карелии варианты употребления русскими гидронимов как с формантом *-енга*, так и без него *Софьянга* – *Софья* [Стрельбицкий 1890], *Куженга* – *Кужа*, *Шапшенга* – *Шапша*. Ср также оз *Лошто* (1591 г. [Мат 1941]) – р *Луаштанга*, р *Тавайоки* – дер *Таваньга*. Это тоже признак осознания топонимического элемента *-енга/анга* как номенклатурного термина (ср *Тулемайоки* = *Тулема*, *Уксунйоки* = *Уксун*). Но этот термин **engä* являлся, очевидно, вариантом (в каком языке, пока не вполне ясно⁷) не финно-угор *joki*, *jogi jogk*, **jug* (как полагали Шегрен, Серебренников, Пospelов), а иного термина. Какого именно, нам подсказывают такие факты. название *Куженга* известно у местных жителей не только в варианте *Кужа*, но и *Кужен* *Софьянга/Софья* в XVI–XVII вв была известна как *Сагоена*, *Софьян* [Мат. 1941, Харузин 1890]. Наконец, *Эняйоки*, в 1905 г – *Ана-еги* [Список 1907], в 1568 г – *Анея* [История 1987], в 1500 г – *Яня* [Кн 1500], в документе XVI в названа как *Янга* (*волость Янгалакша*) [Самоквасов 1909]. Но элемент *-ян*, *-ен*, *Эня-/Ана-/Яня* явно связан с финск, карел *epo*, саам *jān*, *jeanna*, *eann* "большая река"⁸. Следовательно, либо этот термин имел ранее форму, близкую к **eŋŋa*, либо он осознавался русскими, как родственный чудскому **engä*. Таким образом, мы не только находим форманту *-ен(ь)га* соответствия в при-

⁷ В принципе русские могли усвоить его как от прибалтийско-финской чуди так и от какой-то диалектной саамской группы.

⁸ Топонимическое употребление этого термина в Карелии (к приведенным примерам добавим еще р *Суояна* ныне *Сона* басс Тулемы [Список 1907] пролив *Энонуу*, в 1591 г – *речка Ена* [Мат 1941] между озерами Алозеро и Ср Куйто и р *Яна* в Ленинградской обл.) указывает скорее на значение приток, протока. Это близко к семантике термина у финских и норвежских саамов *jeanno* (финск.) ручей, *ætti* – река (*ædno* (норв.) верховье реки).

балтийско-финских и саамском языках, но продолжаем до западных пределов уральского мира цепочку соответствующих форм древнего термина (кроме указанных выше, можно привести еще несколько, см. таблицу)⁹.

В Карелии термин **engə* явно эволюционировал семантически (с возможным расщеплением на формы, отвечающие разным понятиям), развивая значения "река, приток – протока – пролив, уозь – узкий залив, узкое озеро". На это указывает как характер ряда соответствующих речных потоков, так и присутствие элемента *-енга*, *Eng-/Eng-* в названии многих озер (*Чапрыньга/Ципреньга*, *Типинга*, *Черингалампи*, *Энгозеро*, *Перингозеро*, *Сиэмкинки*, *Янгозеро*, *Энингилампи*, *Энгуярви*, *Onki-vesi* в Финляндии), имеющих узкие длинные заливы или имеющих сами такую форму¹⁰. Показательны в этом отношении варианты названия озера в басс. Суны [Лескинен 1967]: *Вонгозеро* – *Салма* (кар *salmi* "пролив") – *Лубоярви* (саам *luobbal* "озеро-видное расширение реки") Подтверждается высказанное предположение и наличием карел *vengi* "протока, межозерный проток" (ср: *Веньги* – р на западе Тверской обл.) Такое развитие семантики, вероятно, было заложено еще на раннем этапе существования уральского термина (2-й столбец таблицы). Заметим, что параллельно "речному, длинному" термину в уральских языках существует и близкий по звучанию "озерный, круглый" термин (3-й столбец). Родственны ли изначально эти две группы терминов, сказать трудно.

Языковая группа	Речные, длинные' термины	Озерные "круглые термины
Тюркские	<i>ангар</i> (казах) "расщелина, долина, (якут) "ворота, ущелье <i>ангай</i> , <i>ангара</i> , <i>ангархай</i> (бурят) "открытый, ущелье, промоина" <i>анга</i> (бурят, эвенк) "пасть, рот" [Мурзаев 1996: 212] <i>хэнэ</i> (эвенск) "протока, речка" [Дуткин 1995] <i>эйен</i> (эвенск) "быстрое течение" [ГТЗС 1986] <i>пэџ</i> (чуваш, татарск) "речка" [Paasonen 1948]	<i>тонгэр</i> (эвенск) 'озеро' [Дуткин 1995]
Юкагирский	<i>опте</i> 'речка берущая начало из озера', <i>епи</i> 'река' [Курилов 1968]	
Самодийские	<i>анг(э)у</i> (селькуп) 'старика, длинное большое озеро' [Беккер 1970] <i>јѣпа</i> (ненец) 'ручей' [Lehtisalo 1933] <i>юнко</i> (ненец) 'короткая протока', <i>ванг</i> (ненец) "ложбина долина реки" [ГТЗС 1986]	<i>янгы</i> (ненец) "впадина в водоеме" <i>ванга</i> (ненец) 'бухта' [ГТЗС 1986]
Угорские	<i>лпџк</i> (хант) "вода"	<i>вуонга</i> (манс) 'яма' [Европеус 1868]
Пермские	<i>юнко</i> (коми-ижемск) 'протока' (< ненец) [Туркин 1989]	

⁹ При этом не только финский карельский и саамский термины перестают быть изолированными в кругу финно-угорских языков (причем – без видимых источников заимствования), но становится возможным объяснить и др. сканд. *anger* 'фиорд', как заимствование от финно-угорских соседей (о семантическом сдвиге см. ниже).

¹⁰ Объяснение приведенных названий из иных созвучных слов (саам *jeppa* 'болото', карел *ongki* 'удочка и т.п.) исключается в силу конкретных географических реалий.

Языковая группа	Речные, "длинные" термины	Озерные, круглые термины
Волжские	<i>аңеҥ, аңеҥ аңаҥ, аңгаҥ engei</i> (марийск) 'речка, ручей [Lehtisalo 1933] <i>*enḡai'</i> (мерянск) 'река, приток [Матвеев 1996]	
Чудские Прибалтийско- финские	<i>*enga</i> речка протока <i>venki venki</i> (карел) протока межозер- ный проток [ПФГЛ 1991 100] <i>vonGa</i> (эст) 'дно ручья, безводное русло" [SKES 1808] <i>вио</i> (пр -финск) <i>*иңа</i> (финно-угор) поток [SKES 1813–1814] <i>eno</i> (фин) "большая река, поток, фарва- тер"; (кар) "глубокая и большая излу- чина реки, глубокое место в потоке" [SKES 39]	<i>vonk(k)a</i> (финск), <i>vonḡa</i> (карел), <i>vonḡu</i> (ливвик), <i>vonḡ</i> (людик) глубокое место в реке, плес, омут, бухта, бессточное озеро [SKES 1808]
Саамский	<i>jeanni</i> (финск) ручей', <i>Ætini</i> - река' <i>ædno</i> (норв) "верховье реки" <i>jeanna, jån</i> <i>eann</i> (кольск) 'большая река [SKES 39, Itkonen 1958 52, 827]	

Таким образом, анализ карельских и котьских гидронимов с формантом *V ḡga* показал что большинство их содержит географический термин **engḡ*. Он является по происхождению общеуральским, возможно даже урало-алтайским. В современных прибалтийско-финских языках ему соответствуют финск., карел. *eno*, саам. *eann* 'большая река' и карел. *venki* 'протока, межозерный проток'. Принадлежность слова **engḡ* древнему саамскому (с учетом спорности вопроса о времени и месте перехода предков саамов на язык прибалтийско-финского типа) или чудскому (говорящему на архаичном языке прибалтийско-финского типа) населению Кольского п-ва, Карелии и Заволочья пока не установлена. Автору, однако, более вероятным представляется последнее, ибо в противном случае бытование термина обнаруживает необъяснимый разрыв между языками волжских и прибалтийских финнов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ААЭ 1836 – Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археологической экспедицией Академии Наук. Т. I–IV. СПб. 1836.
- Агеева Р.А. 1990. Страны и народы происхождения названий. М. 1990.
- Беллер Э.Г. 1970. О некоторых селькупских географических терминах // Вопросы географии. Сб. № 81. 1970.
- ГСК 1939 – Географический словарь Кольского полуострова. Ч. 1. Л. 1939.
- ГТЭС 1986 – М.Ф. Розен, А.М. Малозетко. Географические термины Западной Сибири. Томск, 1986.
- Дуткин Х.И. 1995. Аллаховский говор эвенков Якутии. СПб., 1995.
- Европеус Д.П. 1868 – К вопросу о народах, обитавших в средней и северной России до прибытия славян // ЖМНП. 1868. Ч. 139. Отд. 2.
- Европеус Д.П. 1876 – Об угорском народе, обитавшем в средней и северной России, в Финляндии и в северной части Скандинавии до прибытия туда нынешних их жителей // Тр. II Археологического съезда 1871. Вып. I. СПб. 1876. Отд. 4.

- История 1987 – История Карелии XVI–XVII вв в документах Петрозаводск, Иоенусу 1987
- Казиков А Н 1949 – О географических названиях Ловозерских тундр на Кольском полуострове // УЗ ЛГУ Сер географ наук 1949 Вып 6
- Керт Г М 1971 – Саамский язык (кильдинский диалект) Л 1971
- Керт Г М 1988 – Словообразование имен в саамском языке // ПФЯ Петрозаводск 1988.
- Керт Г М 1991 – Структурные типы саамской топонимии // ПФЯ Петрозаводск 1991
- Керт Г М Мамонтова Н Н 1982 – Загадки карельской топонимии рассказ о географических названиях Карелии Петрозаводск, 1982
- Кн 1500 – Переписная окладная книга по Новгороду Вотской пятины 7008 года // Временник МОИДР Кн 11 1851 Кн 12 1852
- Косменко М Г 1993 – Археологические культуры периода бронзы – железного века в Карелии СПб 1993
- Курилов Г Н 1968 – О некоторых юагирских топонимах // СФУ 1968 Т 4 № 1
- Лескинен В 1967 – О некоторых саамских гидронимах Карелии // ПФЯ Л, 1967
- Мат 1941 – Материалы по истории Карелии XII–XVI в Петрозаводск 1941
- Матвеев А К 1960 – Историко-этимологические разыскания 1 Из опыта изучения северно русской топонимии на *ньга* // УЗ Уральск ун та 1960 Вып 36
- Матвеев А К 1964 – К проблеме происхождения севернорусской топонимии // Вопросы финно угорского языкознания Вып 2 М, Л 1964
- Матвеев А К 1967 – Дофинно угорская гипотеза и некоторые вопросы методики топонимических исследований // СФУ 1967 № 2
- Матвеев А К 1969 – Происхождение основных пластов субстратной топонимии Русского Севера // ВЯ 1969 № 5
- Матвеев А К 1971 – Из истории изучения субстратной топонимии Русского Севера // Вопросы топонимии № 5 Свердловск 1971
- Матвеев А К 1990 – К лингвотнической интерпретации финно-угорской субстратной топонимии // *Uralo indegetmalca* Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей Ч 1 М 1990
- Матвеев А К 1995 – Апелятивные заимствования и стратификация субстратных топонимов // ВЯ 1995 № 2
- Матвеев А К 1996 – Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // ВЯ 1996 № 1
- Муллонен И И 1988 – Гидронимия бассейна реки Оять Петрозаводск 1988
- Муллонен И И 1994 – Очерки вепской топонимии СПб 1994
- Мураев Э М 1996 – Тюркские географические названия М 1996
- Напольских В В 1990 – Проблема формирования финноязычного населения Прибалтики (к рассмотрению дилеммы финно угорской предьстории) // Исследования по этногенезу и древней истории финноязычных народов Ижевск 1990
- Попов А И 1949 – Материалы по топонимике Карелии // СФУ V Петрозаводск 1949
- Поспелов Е М 1970 – Метод географических терминов в анализе субстратной гидронимии Севера // Вопросы географии Сб № 81 1970
- ПФГЛ 1991 – Н Н Мамонтова И И Муллонен Прибалтийско финская географическая лексика Карелии Петрозаводск 1991
- Самоковасов Д Я 1909 – Архивный материал Новооткрытые документы поместью вотчинных учреждений Московского царства Т 2 М 1905–09
- Серебренников Б А 1955 – Волго Окская топонимика на территории Европейской части СССР // ВЯ 1955 № 6
- Серебренников Б А 1966 – О гидронимических формантах *ньга юга уга и юг* // СФУ 1966 № 1
- Серебренников Б А 1968 – Всякое ли внешнее сопоставление недопустимо? // СФУ 1968 № 1
- Смирнов И Н 1891 – Пермьяки Историко-этнографический очерк // Изв об ва археол, ист и этногр при Казанском ун те Т X Вып 2 Казань 1891
- Список 1907 – Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год / Сост И И Благо вешенский Петрозаводск 1907
- Стрельбицкий А 1890 – Специальная карта Европейской России 10 верст в дюйме / Под ред А Стрельбицкого Составлена в 1870–1874 гг Издана в 1890 г
- Туркин А И 1989 – О принципах и методах исследования коми топонимии // Вопросы финно-угорской ономастики Ижевск 1989
- Хакулинен Л 1953 – Развитие и структура финского языка Ч 1 Фонетика и морфология М 1953
- Харузин Н Н 1890 – Русские лопари // Изв ОЛЕАЭ при Моск ун те Т 66 Труды этнографич отд Кн 10 М 1890
- Шилов А Л 1997 – Ареальные связи топонимии Заволочья и географическая терминология Заволочской Чуди // ВЯ 1997 № 6

- Шолов А.Л.* 1998 – К вопросу о дофинно-угорском субстрате в топонимии Карелии // Финно-угроведение Йошкар-Ола, 1998 (в печати)
- Itkonen T.* 1958 – Koltan- ja Kuolanlapin sanakirja Osa 1, 2. Helsinki, 1958.
- Kahma J.* 1941 – Aamisen tienoon paikannimia // Vinttaja, 1941.
- Kartta* 1918 – Ita-Karjala ja Kuollanlapin kartta. Laatinut vuonna 1918 (*Onni Lonroth*)
- Lehtisalo T.* 1933 – Uralische Etymologien // MSFOu. V. LXVII, Helsinki, 1933.
- Paasonen H.* 1948 – Ost-Tscheremissisches Wörterbuch. Helsinki, 1948.
- Saxen R.* 1902 – Einige skandinavische Ortsnamen im finnischen // FUF. 1902. Bd 2, Hf 3.
- Sjogren J.A.* 1861 – Gesammelte Schriften. Bd 1. Historische Abhandlungen über den finnischugrischen Norden SPb, 1861
- SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Osa 1–6. Helsinki, 1955–1978.
- Vasmer M.* 1935 – Merja und Tscheremissen // SPAV Phil -lust Klasse, Bd XIX. Berlin, 1935.

© 1998 г. Г.А. БОГАТОВА

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА РУСИСТОВ В КРАСНОЯРСКЕ

С 1 по 4 октября 1997 г. в Красноярске проходил Международный съезд русистов, ставший, возможно, кульминационным событием года в цепи актов внимания общественности к обостряющимся вопросам состояния русского языка, его статуса и состояния русистики в России, в СНГ, в мире.

1-ая Всесоюзная конференция русистов состоялась, как мы помним, в 1991 г. в Москве. "Идея обсудить вопросы современного состояния русского языка (именно языка, а не русистики)" принадлежала Н.Ю. Шведовой, а "счастливая мысль устроить почтовую дискуссию среди профессионалов – языковедов (не обязательно русистов)", – автору доклада, опубликованного отдельной книжечкой "О состоянии русского языка современности" (М., 1991) председателю оргкомитета конференции Ю.Н. Караулову. Некоторые прогнозы профессионалов, особенно русистов, из почтовой дискуссии запомнились. "В экспедициях я видела своими глазами, – пишет М.И. Черемисина, – как ойкумена, обитаемая, охраняемая, жилая и теплая земля, сжимается подобно губке или шагреновой коже, и наступает на её место непрорубаемая тайга... Вот так же в моем ощущении, сжимается и употребляемый, функционирующий в русской речи русский язык". И уже тогда отмечалось "отсутствие глубокой программы гуманитарного образования и специального знания (с конфронтацией Академия–Университет), исчезновение из речи и словарей ключевых слов русской культуры" (В.В. Колесов, СПб), когда вместо *согласия* появляется избыточный *консенсус*, *торжество*, *собрание* именуют *фестивалем*, *форумом*, а теперь в 1997 г., – так просто *тусовкой*. Тайга наступает...

Подготовка II-го, теперь уже Всероссийского съезда русистов в 1996 г. была бы сопряжена с новыми проблемами, возникшими в связи с увеличением числа субъектов федерации в однонациональной, казалось бы, России (к мононациональным относятся страны, где 80–85% населения составляет титульная национальность). В странах СНГ и прилегающих к ним государствах славянского мира влияние русского языкового союза пока еще очень значительно. Однако вопросы статуса русского языка вдруг стали болезненно обостряться.

В процессе подготовки Красноярского съезда (а она длилась почти три года) стало очевидно, что решение этих острых вопросов пробуксовывает в Москве, несмотря на то, что в актах внимания участвуют самые высокие учреждения – Российская академия наук и ее Отделение литературы и языка (ОЛЯ РАН), Минобразования, Минпечати и информации, Комитет по науке и образованию Государственной Думы; в 1996 г., в период разработки Федеральной программы "Русский язык", был даже создан Президентский совет по русскому языку. Казалось, что властные структуры уже формируют свою политику с учетом рекомендаций. Но изменилось ли что-нибудь? Постановления, документы заседаний – и оставшиеся без финансирования программы, не работающие международные многосторонние и двусторонние соглашения и договоры. Исчезли навсегда с экранов ТВ программа "Русская речь", из эфира – образовательная программа радио "В мире слов". В 1995 г. прошла на страницах "Вестника РАН" дискуссия о доктрине развития российской науки, о необходимости сбережения

отечественных научных школ и интеграции науки и образования Заработает ли в полную силу фонд "Интеграция"?

За это время Россия по бюджетным вкладам в высшее образование опустилась до 78 места в мире (ее обогнали сейчас 16 стран Африки, 14 стран Азии, 6 стран Океании) По числу студентов на 10 тысяч населения Южная Корея поднялась с 49 места в мире в 1975 г. на третье в 1990 г., отстав лишь от США и Канады Такой разрыв в сфере образования между Россией и другими странами вызывает озабоченность на парламентских слушаниях, поскольку это серьезная угроза национальной безопасности России, ибо никогда раньше не было такой тесной связи между знаниями и мощью государства, как теперь Русский же язык еще в 1991 г. изучали в мире 150 млн человек, а теперь – 30 млн На коллегиях министерств, парламентских слушаниях, в инстанциях и ведомствах борьба за утверждение позиций русского языка, за формирование единого образовательного пространства от Тихого океана до Балтийской акватории при нашем правительственном и финансовом кризисе к октябрю выглядела уже поистине драматичной

А что же с исследовательским пространством? Выживет ли сама наука русистика? Предел минимальности ассигнований на науку, за которым начинаются необратимые изменения, в 1997 г. уже пройден (это тоже сведения из аналитических докладов и справок для парламентских слушаний) Не вымрут ли русисты, призванные обеспечивать "образовательное пространство" словарями, грамматиками, учебниками? Похоже, осенью 1996 г. в столице было не до русистов Никого не посетила счастливая мысль использовать отечественный журнал "Русистика сегодня" хотя бы для проведения почтовой дискуссии, так удачно начатой в 1991 г. И уже понятным становится жест журнала "Russian Linguistics", посвятившего свой юбилейный 20 том успехам русистов разных стран мира Не дышит тревогой и статья чл.-корр. РАН Ю.Н. Караулова "О положении русистики в России", как будто и нет этого страшного, все увеличивающегося разрыва в информации, научных связях, ритме научной жизни между центром России и регионами Что касается новых приоритетов, связанных с машинной обработкой языка, то эта "вторичная (по определению американцев) грамотность" не имеет отношения к порождению новых идей в русистике Введение в практику компьютерных технологий не спасло русскую речь и русское словарное дело от разлива нечистот нецензурщины, криминального жаргона, агрессии англицизмов Разве только ускорило появление словарных поделок в этой области. Главное же – компьютеризация уникальных картотечных собраний архивов, фондов памятников письменности для сохранения и для расширения возможности пользования ими через электронные копии не только в пределах Москвы и Петербурга – осталось практически не начатым И это в рамках немеренных просторов России становится теперь тормозом полноценного функционирования науки, появления новых идей и точек роста Ведь даже фундаментальные словари используют лишь 25–30% материала из многомиллионных картотечных собраний, а исследователи с периферии ни приехать, ни сделать запрос в базу данных картотеки не смогут Стратегическое направление в процессах информатизации в русистике (по крайней мере исторической, базовой) избрано было в свое время без учета специфики России "Титульный" для Института русского языка РАН "Словарь русского языка XI–XVII вв. в разделе 'Лексикография' даже не назван (как и в Отчетном докладе ИРЯ РАН за 1996 г.) Вот и итоги многолетнего руководства русистикой подводятся на страницах "Russian Linguistics", журнала "вечно оппозиционного по отношению к советской русистике" (это вложил в концепцию журнала его основатель А.В. Исаченко о чем живо пишет Л. Дюрович во вступительной статье к юбилейному тому) Ни прежний директор ИРЯ РАН Ю.Н. Караулов, ни нынешний, А.М. Молдован, участия в Красноярском съезде, к сожалению, принять не смогли

Региональный лингвистический центр (РЛЦ) при Красноярском государственном педагогическом университете (руководитель О.В. Борхвальд), инициатор и разработчик научной программы, концепцию готовящегося съезда не менял Он лишь уси-

лил свои приоритеты: старая истина – поговорка 'Язык – стяг, державу водит' – зазвучала здесь убедительно не только для ученых, но и для "властных структур" края, соединив в Красноярске лингвистов и государственников.

Съезд из регионального стал международным и состоялся благодаря поддержке Администрации Красноярского края, Комитета по делам культуры и искусства (Г.Л. Рукша), краевого фонда науки, лично А.П. Быкова, председателя Совета директоров АО "КрАЗ". В непростых обстоятельствах для центра и регионов Администрации края и РЛЦ приняли на себя трудоемкую ношу по собиранию сил отечественной русистики, осознанию центральности русистики в комплексе гуманитарных проблем. Правомерность созыва съезда в Красноярске также не вызывала сомнений в крае проживает 117 национальностей, 88% населения – русские (индустриальный район). Здесь интересуются проблемами русского языкового союза как фактора, содействующего поискам единого образовательного, исследовательского, духовного и культурного пространства (эта научная идея О.Н. Трубачева обсуждалась год назад в красноярской печати). В приветствии съезду вице-губернатора Н.С. Глушкова звучало: "Этому помогает соотнесенность географического и общекультурного положения Красноярья. Географически он – центр России. Это, так сказать, даровано нам судьбой и от нас не зависит". Край простирается на три тысячи километров от Ледовитого океана до Саян, равен по территории 1/3 Австралийского континента. Эту масштабность почувствовали и русисты, съехавшиеся на съезд из 26 городов России, из Германии, из Югославии (не считая тех, кто был представлен стендовыми докладами). Съезд прошел на высоком научном уровне при большой активности научной общественности, аспирантов, студентов, учителей.

В работе съезда принимали участие заслуженный учитель РФ Т.М. Миняйло, писатель В.П. Астафьев, Красноярский и Енисейский епископ Антоний, секретарь Национального комитета славистов РФ В.П. Гребенюк, который готовит XII Международный съезд славистов в Кракове (27.08–3.09.98). От имени Центра "Русские словари, энциклопедии, картотечные собрания", учрежденного при ОЛЯ РАН в рамках Программы "Русский язык", прислал приветствие съезду академик О.Н. Трубачев. Принимали участие в съезде представители других академий: Российской Академии Образования (РАО), Российской Академии Естественных наук (РАЕН), Международной Славянской Академии наук, искусств, культуры и образования (МСА), работающие в Минобразовании в рамках программы "Интеграция", в рамках Программы 'Сибирь' – СО Международной Академии Высшей школы (СО МАВШ).

Уже на первых пленарных заседаниях определились основные направления съездских дискуссий.

Это современн ый русский язык, социологические и словообразовательные аспекты его изучения. Выступали с пленарными докладами, вели секции, проводили в университетах лекции "Мастер-класс" зам директора Института русского языка РАН Л.П. Крысин (Москва), который в докладе "Социальная дифференциация современного русского литературного языка" проблемы изучения познакомил съезд с работой отдела современного русского языка ИРЯ РАН; академик СО МАВШ А.П. Сковородников (Красноярск) выступил с докладом "Состояние речевой культуры в средствах массовой информации Красноярского края", чл.-корр. РАЕН Л.А. Араева (Кемерово) – с докладом "Условия идиоматичности семантики производного слова". В докладе В.Д. Бондалетова (Пенза) "Проблематика современной отечественной социологии" предложена характеристика основных направлений социалингвистики: общая (общетеоретическая), частная и сопоставительная социалингвистика; синхроническое, диахроническое и перспективное (лингвистическая футурология) направления, а также междисциплинарные направления (психосоциалингвистика, лингвосociология и др.). Освещены достижения в каждом из следующих направлений: описание языковой жизни в нашей стране и за рубежом, языковая жизнь личности и коллектива, язык города, анализ социальных диалектов, значение социалингвистического аспекта для развития общей теории языка.

В центре внимания оказался и пленарный доклад заслуженного деятеля науки, руководителя группы учебных словарей при ИРЯ РАН А.Н. Тихонова "Лексическое гнездо в словаре и в языке", автора ряда словообразовательных словарей для школы, вуза. Идея создания Центра учебных словарей русского языка в Минвузе с филиалами лабораторий учебной лексикографии на местах в вузах или в РЛЦ была поддержана съездом, ректорами университетов как важная часть программы "Интеграция". Съезд поддержал в решении и необходимость издания "Словаря русского речевого этикета XIX–XX вв." А.Г. Балакая (Новокузнецк; секционный доклад), и продолжение исследований по "Типологии современных русских лингвистических словарей" [доклад Н.А. Лукьяновой (Новосибирск)].

Второе направление – диахроническая лингвистика в исследованиях, словарях и энциклопедиях, открытое пленарными докладами Г.А. Богатовой (Москва) ("Современное состояние и проблемы русской исторической лексикографии") и А.Д. Васильева (Красноярск) ("О специфике и методах изучения динамики слова"), – утверждало приоритетность этого традиционного направления русистики, важного для исследователей регионов.

Г.А. Богатова познакомила слушателей и с решением II Вселенского собора "Державная служба словарей", и с Программой "Историческая память России", и с работой Лексикографического семинара. Словари, обобщая и приумножая языковое, а значит, и ментальное богатство, дают четкость государственному слову, ясность в вопросах происхождения языка и народа, отражают многообразие народного литературно-речевого творчества. В сложнейшей духовной ситуации рубежа III тысячелетия вавилонским столпотворением "общечеловеческих ценностей" мудрость заслуживающего выживания государственного организма определяется тем, какое место отводит нация в культурной политике, в системе жизнеобеспечения языка экономическим и организационным средствам его развития и изучения и, в первую очередь, национальной словарной и энциклопедической службе... Исследования по диахронической лингвистике и фундаментальные словари аккумулируют историческую память народа. Это своего рода барьер на пути развращения национальных духовных ценностей, "превращения нации через стадию "население" в "популяцию" [А.Д. Васильев (Красноярск)].

Фундаментальные (сводные, полные) исторические словари (в сложившейся ситуации с компьютеризацией картотек) успели дать исследователю достаточно обширное поле документированной информации для решения вопросов сложения русского литературного языка, для сопоставления местных лексических данных с данными общерусского характера.

Фундаментальные словари служат также школой лексикографии. Отдел исторической лексикологии и лексикографии в 70-е годы начал проводить летнюю лексикографическую практику для студентов с периферийных кафедр истории русского языка. В 20-ти часовом спецкурсе студенты проходили путь *от источника в архиве и правил его издания к накоплению картотеки выписок для словаря, для историко-лексикологической работы.*

"Словарь русского языка XI–XVII вв.", как фундаментальное предприятие Академии (с 1975 г. вышло 23 тома), через лексикографические семинары и конференции, договоры о сотрудничестве помог рождению целой серии региональных исторических словарей, подобно тому, как другой большой проект – "Словарь русских народных говоров" (с 1960 г. вышел 31 том) активизировал создание диалектных словарей. И со Словарным отделом ИЛИ РАН СПб., и с отделом диалектологии ИРЯ РАН договорные связи у Красноярского педагогического университета не обрывались. О зрелости региональной лексикографии говорит тот факт, что комплекс словарей Томской словарной школы В.В. Палагиной, О.И. Блиновой, Л.А. Захаровой получил Государственную премию 1997 г. Региональная лексикография более оперативно реализует и давно высказанные идеи, например, идею Б.А. Ларина о поддержке свидетельств письменности диалектным материалом, как это сделано не только в

"Псковском областном словаре с историческими данными", но и в сводном "Словаре русской народно-диалектной речи Сибири XVII–первой половины XVIII вв." (Новосибирск, 1994 г.) Л.Г. Панина, "Словаре народно-разговорной речи г. Томска XVII–нач. XVIII вв." Л.А. Захаровой, "Материалах для регионального исторического словаря нерчинских деловых документов XVII–XVIII вв." (Чита, 1997 г.) Г.А. Христосенко и К.Л. Любимовой, "Словаре языка памятников Приенисейской Сибири XVII в." (Хабаровск) Л.М. Городиловой (см. статью Л.М. Городиловой в этом номере журнала).

Зрелость сибирской науки проявилась и в основательности подхода к самому источнику. В 1991 г. в Красноярске провели совещание по исторической лексикологии и источниковедению. Пленарные доклады Л.Ю. Астахиной и на конференции 1991 года, и на съезде 1997 года касались источниковедения и проблем истории русской лексики. Она результативно поддерживает направление школы С.И. Коткова. Прежде чем памятник письменности станет объектом лексикографирования, необходимо провести большую лингвоисторическую работу. Сегодня такая работа по плечу и сибирским исследователям, что доказывает защищавшаяся в Москве докторская диссертация О.В. Малышевой (Хабаровск) по общерусским таможенным документам XVII–XVIII вв.¹

В 1993 г. Красноярский центр провел Республиканскую научную конференцию по проблемам региональной исторической лексикологии и лексикографии, так что к своему съезду и к обсуждению проблем диахронической лингвистики русисты пришли, имея за плечами школу исторического осмысления фактов устного бытования слова и его фиксации в памятниках письменности, в чем убеждает доклад секретаря Енисейской энциклопедии Л.Г. Самотик ("Русский язык на Среднем Енисее: опыт моделирования языкового состояния"). К съезду 1997 г. красноярские исследователи пришли и с богатой коллекцией словарей, всесторонне описывающей языковую картину истории края ["Словарь пушного промысла Восточной Сибири" – Г.А. Якубайлик, "Словарь рыбаков и охотников" – В.Н. Петроченко, "Опыт лесного словаря" – К.П. Михалал, "Исторический словарь золотого промысла Российской империи" – О.В. Борхвальдт и др. (из доклада О.В. Борхвальдт "Красноярская лексикография 90-х годов XX в.")].

Многие из сотрудников РЛЦ ранее стажировались или проходили практику в картотеке ДРС РАН. Но в последние пять лет Отдел исторической лексикологии и лексикографии ИРЯ РАН проводил практику только с московскими студентами. Это уже другой этап, и наш спецкурс можно сейчас уложить в два слова: от чернил к компьютеру. Лексикография должна быть введена в число специальностей Минвуза и ВАКа. Актуальности этого направления нельзя по-прежнему не замечать, так как вторая половина XX века названа Ладиславом Згустой "золотым веком лексикографии" не случайно. Да и компьютер дает возможность "лексикографизации" результатов исследований.

В дискуссиях и решениях говорилось и о необходимости создания Лексикографического общества, лексикографического информационного бюллетеня и – шире – о журнале "Русист", который мог бы выпускаться в Красноярске. Обращалось внимание на связи с журналами славянского мира типа "Южнославянский филолог", "Прилози за книжевност, язык, историю и фольклор" (об этом был доклад Слободана Марковича). Фундаментальная лексикография имеет сейчас немало проблем, отражающихся на состоянии работы в регионах. На съезде встал вопрос и о словарной полке университетских библиотек, о некомплектности фундаментальных словарей в библиотеках из-за их разнокалиберных тиражей, что явилось следствием разбалансированности книгораспространения в последние годы.

"Словарь русского языка XI–XVII вв." при жизни становится раритетом. Пора

¹ Заявленный на конференции доклад О.В. Малышевой (Хабаровск) на эту тему печатается в этом номере журнала.

сделать его репринтное переиздание, начав хотя бы с первых десяти томов. Все еще не реализовано издание полного Указателя источников СлРЯ XI–XVII вв., биобиблиографического словаря создателей КДРС. Словарь и Указатель могли бы выйти сейчас в виде разъемных блоков в бумажной и электронной версии, что очень важно для регионов.

Третье направление – диалектология Сибири и Дальнего Востока в общерусских и славянских лексических связях и опять-таки в словарях. Пленарный доклад лауреата Государственной премии 1996 г. Н.Н. Пшеничковой ("Аванесовские традиции Московской диалектологической школы") сменил доклад чл.-корр. СО МАНШ О.И. Блиновой ("Антропоцентризм диалектной лексикологии и лексикографии"). Как показали исследования и доклады Л.Г. Самогик (Красноярск), Т.А. Шакурской (Барнаул), Л.Г. Гусевой (Екатеринбург) и др. диалектологов, говоры Сибири разделяются на старожильческие (30% от прочих), переселенческие и новосельские. Изучение их взаимодействия как между собой, так и с другими формами русского языка, прежде всего с литературным языком и просторечием, составило суть многих докладов, а также публикаций РЛЦ: "Говоры Сибири в синхронном и диахронном аспектах". (Отв. ред. В.В. Бебриш, 1992), "Материалы к Хрестоматии русских говоров центральных районов Красноярского края" (1994). В работах по диалектологии всегда присутствует этнокультурологический компонент. Изучается топонимика и ономастика края. Этот раздел в РЛЦ ведет С.П. Васильева, выступавшая с докладом "Топонимия старой Сибирской деревни". В ряде докладов осмыслились общерусские и славянские связи диалектной лексики [Б.Я. Шарифулин (Лесосибирск) "Славянские связи русской лексики Сибири"].

Четвертое направление – русская литература в контексте всемирной литературы и культуры – было представлено пленарными докладами В.Г. Одинокова (Новосибирск) "Феноменологический аспект сравнительно-исторических исследований в литературоведении", который отмечал важность теоретического наследия А.Н. Веселовского и намечал один из путей разработки его идей странствующих мотивов, тем и сюжетов сравнительно с произведениями итальянской, английской и русской литературы. Основной акцент в докладе М.И. Воропановой (Красноярск) "Русско-английский диалог" был сделан на современных аспектах литературно-критического осмысления литературных связей России и Англии. Тема Сибири была предложена на пленарном докладе В.К. Размахниной (Красноярск) "Поэтическое развитие Сибири начала XX столетия в контексте поэзии серебряного века".

В.К. Размахнина блестяще вела встречу участников съезда с В.П. Астафьевым, горячо поддержавшим томских лексикографов.

На съезде работало 9 секций: современный русский язык и культура речи; социолингвистика, ономастика; две секции по диахронической лингвистике (лексикология, лексикография); две секции по русской диалектологии (лексикология, лексикография) и диалектная фонетика и грамматика; литературоведение; язык художественной литературы; методика преподавания русского языка.

Съезд не блистал большим международным представительством, однако дань уважения ко многим европейским столицам, их истории была проявлена. Съезд начался с доклада, имеющего отношение к славной дате Москвы, её 850-летию. В.П. Гребенюк ("Икона Владимирской Божьей Матери и духовное наследие Москвы") предложил рассмотрение трех литературных памятников, которые объединены идеей определяющего значения иконы для судеб Российского государства. В докладе В.Г. Демьянова (Москва) были освещены "языковые представления о западноевропейских столицах", приведены многочисленные варианты названий Берна, Брюсселя, Гааги, Копенгагена, Лиссабона, Лондона, Мадрида, Парижа, Праги, Рима, Стокгольма по данным русских рукописных газет XVII века – "Вестям-курантам".

В решениях и рекомендациях участникам съезда отмечалось, что большая работа, начатая в центре по интеграции образования и фундаментальной науки, по созданию корпорации академий, должна быть направлена на сближение центра и регионов

в научных поисках, в создании словарей традиционного и нового типа. Необходимо создание центров и лабораторий учебной лексикографии, сохранение и повышение эффективности использования уникальных картотечных собраний ИРЯ РАН и ИЛИ РАН, сокровищниц, для сохранения которых новые информационные технологии могли бы сыграть решающую роль, т.к. эти сверхмощные источники информации в своих электронных копиях могли бы полнее служить региональной науке.

В заключение хотелось бы отметить, что красноярский Региональный лингвистический центр обладает значительным потенциалом и авторитетом, чтобы сделать проведение съездов регулярным, чтобы издавать журнал "Русист", иметь специализированный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций. В связи с тем, что создаваемые во многих вузах и академических учреждениях страны словари составляют весомый вклад в науку, необходимо это мнение съезда о целесообразности присуждения ученых степеней и званий за создание словарей довести до Всероссийской Аттестационной комиссии.

Хотелось бы, чтобы "властные структуры" в столицах СНГ так понимали роль русского языка, русистики в единении страны, как это было продемонстрировано в Красноярске.

Автор благодарит доц. Т.П. Жильцову, зав. каф. современного русского языка и методики, А.В. Кипчатову, доц. каф. общего языкознания КГПУ и ст. н. сотр. Л.Ю. Астахину за материалы, собранные ими для хроники съезда и частично использованные автором данной публикации.

© 1998 г. И.А. МАЛЫШЕВА

**ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ XVIII ВЕКА**

Исследование лексики русского языка XVIII века, источниками изучения которой являются преимущественно печатные источники, настоятельно требует расширения текстовой исследовательской базы. Огромные рукописные фонды XVIII столетия до сих пор в полной мере не востребованы. В воссоздании более точной и объективной картины состояния русского языка XVIII века, в том числе и его лексического состава, не последнюю роль должны сыграть памятники деловой письменности, созданные не только в центральных учреждениях, но и в периферийных.

Введение в научный оборот нового памятника должно обосновываться его источниковедческим анализом, задачей которого является дать полное и доказательное представление о картине отображенных в памятнике лингвистических фактов. Без источниковедческой разработки само использование текста и трактовка его материала может быть не только необоснованной, но и ошибочной. В связи с этим крайне важна роль такой научной дисциплины как лингвистическое источниковедение.

Одним из интереснейших, насыщенных лексическим материалом источников являются документы внутренних таможен первой половины XVIII в.¹ Внимание лингвистов к этим памятникам было привлечено работой С.И. Коткова [Котков 1972]. Несмотря на свою очевидную лингвистическую ценность, лишь некоторые таможенные книги XVIII в. использовались исследователями фрагментарно среди источников других типов [Борисова 1978], абсолютное же большинство источников исследователям неизвестно.

Источниковедческий анализ таможенных документов XVIII в. необходим прежде всего потому, что они должны занять достойное место в ряду источников изучения лексики русского языка XVIII столетия. Богатейший лексический фонд, содержащийся в них, должен обязательно стать объектом лексикологических наблюдений. Однако материал этот сложен для интерпретации, и анализ его должен опираться на учет многих факторов, влиявших на языковую картину, зафиксированную в памятниках этого типа.

Методика источниковедческого анализа письменного источника в каждом конкретном случае должна определяться особенностями самого текста, его хронологическими, локальными, жанровыми характеристиками, связью с другими источниками и др. В частности, специфика таможенных документов, особенности обслуживавшейся ими сферы общественной жизни требует внимания ко многим сторонам создания и функционирования памятников данного типа.

Одна из первых источниковедческих задач – определение принципов

¹ Документы внутренних таможен первой половины XVIII в. сосредоточены в основном в двух архивах: в Российском государственном архиве древних актов в фонде Камер-коллегии (ф. 273) и в фонде Таможен и кружечных дворов (ф. 829), а также в фондах отдельных таможен (фф. 1361, 1362, 1418, 1419, 1422, 1427 и др.) и в Архиве Санкт-Петербургского филиала Института российской истории (фф. 10, 134, к. 115 и др.). Часть документов находится в местных хранилищах, например, в Государственном архиве Архангельской области (фф. 1546, 1547 и др.) и Государственном архиве Астраханской области (фф. 394, 681) (см. [Юхт 1990: 140]).

отбора источников. От того, насколько полно будут представлены разные виды и типы памятников, какие территории они будут охватывать, каковы будут хронологические рамки анализируемого материала, зависит в конечном итоге достоверность лингвистических выводов. Принципы отбора материала должны определяться теми задачами, которые ставит исследователь, и особенностями самих источников.

Материалы таможенного делопроизводства XVIII в. представляют практически всю территорию России того времени, однако весьма неравномерно (см. [Малышева 1997: 28–36]), в связи с этим необходимо, с одной стороны, отобрать источники из сохранившихся в большом количестве от той или иной таможни, с другой – учесть по возможности как можно больше единичных экземпляров, связанных с разными территориями. Кроме того, важно включить в исследование как материалы крупных таможен, имевших давнюю собственную традицию ведения документов, пропускавших значительный торговый поток и потому наиболее насыщенных лексическим материалом, так и материалы уездных и волостных таможен, небольших торжков, ярмарок, обслуживавших преимущественно местных жителей с товарами их изделия и промысла и подчиненных администрациям ведущих таможен.

По своим видам и типам таможенные материалы представляют собой неоднородную группу, поэтому крайне важным является как можно более полное отражение всех сохранившихся и установленных видов документов: книг, выписей, ярлыков, росписных списков, каждый из которых составлялся по определенной форме, выступал в разных типах и выполнял свою роль в общем документном потоке.

Не менее важно, чтобы отобранные источники были наиболее интересны именно в лингвистическом отношении. В частности, не все таможенные книги имеют равноценную лингвистическую содержательность. Книги расходные, весовые, хлебных торгов и некоторые другие содержат достаточно однообразный материал; книги же явчие, отпускные, торговых записок являются ценнейшим источником для исторической лексикологии.

Общие принципы отбора источников применительно к материалам таможенного делопроизводства XVIII в. приобретают целый ряд специфических черт, связанных как с особенностями того периода, к которому они относятся, так и с характером самого таможенного делопроизводства.

Внутренние таможни действовали до середины столетия, последние документы относятся к середине 50-х годов. В 20-е годы произошла смена приказного делопроизводства коллегиальным, что не могло пройти незаметно и не проявиться в той или иной степени в ведении таможенных дел. К исследованию необходимо привлечь источники, отражающие оба периода таможенного делопроизводства XVIII в.: документы первых двух десятилетий, созданные в соответствии с длительной приказной традицией, и документы более позднего времени, создававшиеся, с одной стороны, по новым требованиям, с другой – вольно или невольно сохранявшие черты старого делопроизводства.

Специфика ведения таможенных дел предусматривала многократную регистрацию одних и тех же товаров: явка, досмотр, отпуск, дача выписи и т.д. В крупных таможнях, через которые шел большой торговый поток, разные операции регистрировались в книгах разных типов (явчих, отпускных, торговых записок и др.), и, таким образом, в таможне одновременно велось несколько книг (иногда более десятка), которые представляют собой единый комплекс документов, объединенных не только временем и местом создания, но и взаимозависимыми записями. Составляющие такого комплекса могут находиться не только в разных фондах одного архива, но и в разных архивах, и перед исследователем возникает сложная задача их обнаружения. Очень важно при отборе источников выявить все возможные взаимозависимые документы не только одной, но и разных таможен.

Одним из важных является вопрос о самостоятельности, отдельности документа. Таможенная книга как архивная единица хранения и как вид таможенного документа –

понятия неравноценные. В крупных таможах, через которые проходил большой торговый поток, велось по несколько книг одного типа (явчая первая, вторая, третья; отпускная первая, вторая .), то есть в широком смысле можно говорить об одной книге в нескольких частях. В таможнях с меньшим торговым потоком книга каждого вида сбора была небольшой по объему, и в конце года книги всех видов таможенных сборов переплетались в один том, иногда в него включались книги уездных и волостных таможен, к таможенным книгам присоединялись кабацкие и книги канцелярских сборов, образуя единый том. Иногда книги, определяемые в архивной описи как самостоятельные документы, являются частями одной рассыпавшейся книги. Все это приводит к необходимости тщательной архивной работы при изучении памятников делового письма, чтобы с полной достоверностью можно было определить, является исследуемый документ самостоятельным или представляет собой часть (или фрагмент) документа, связан ли он с другими документами с той же локальной и хронологической отнесенностью.

Название **таможенная книга** может обозначать и собственно книгу, и ее часть, и совокупность нескольких книг, объединенных в один том. Книги сложного состава могут представлять собой том, содержащий документы нескольких таможен, находящихся в ведении одного бурмистра. Тот или иной способ ведения книг определялся во многом традициями каждой таможни. Так, за 1722 и 1723 гг сохранились два тома сольвычегодской таможни, содержащих соответственно 14 и 17 книг разных таможенных сборов, кроме книг "городовых" в составе этого тома находятся книги лальской и ношувльской таможен. Такое же соединение сольвычегодских книг в один том с книгами волостных таможен отмечается и для XVII в [Макаров 1997: 193–194].

При исследовании памятников делового письма возникает настоятельная необходимость изучения характера того делопроизводства, сферу которого представляет данный текст. Недостаточное представление о том, какую цель преследовало появление того или иного документа, кто участвовал в его создании, каковы были функции документа, как он связан с другими документами, какой путь он проходил, кто и в связи с чем мог его изменить или дополнить и т.п., не даст возможности в полной мере оценить не только тип самого документа, место его среди других документов этой же сферы, но и, главное его лингвистическую значимость.

Система сбора внутренних таможенных пошлин первой четверти XVIII в почти полностью основывалась на сложившейся таможенной системе предыдущего столетия. Главными законодательными документами, регулировавшими торговлю и сбор пошлин со второй половины XVII в, были Уставная грамота 1653 г и Новоторговый устав 1667 г. В конце XVII и в первой четверти XVIII в основные положения Новоторгового устава 1667 г уточнялись и дополнялись целым рядом указов, которые были направлены на регулирование торговых потоков и упорядочивание торговли в отдельных городах. Значительное число постановлений правительства касалось запрещения или ограничения по разным причинам (ведение военных действий, стремление укрепить российский рынок и др.) торговли теми или иными товарами. Действие подобных указов находит самое непосредственное отражение в содержании таможенных записей.

В таможенную службу в XVIII в выбирались, как правило, местные жители, что имеет существенное значение при лингвистическом анализе источников. Причем, на протяжении первой четверти века практика посылки торговых людей на таможенную службу в другие города постепенно себя изживает. Так, в архангельской таможне в 1719 г обязанности целовальников исполняли горожане (жители Архангельска) холмогорцы, мезенцы, устюжане, верховажане, усольцы, кеврольцы, важане, в 1720 г целовальниками служили горожане, холмогорцы, усольцы и устюжане, в книгах 1725–1726 гг в должности целовальников называются исключительно горожане и холмогорцы.

Не менее важно и то обстоятельство, что одни и те же люди могли избираться повторно на следующий год и через несколько лет – это значит, что традиция ведения

дел в той или иной таможене не претерпевала существенных изменений и, как показал анализ материала, следование образцам предыдущих лет в таможах было привычным и стабильным.

Наиболее важным моментом в источниковедческом исследовании является вопрос о писцах. Анализ обязанностей должностных лиц, исполнявших в таможене писцовую работу позволяет говорить о том, что непосредственными создателями таможенных документов были писчики (в московских книгах конца 30-х гг. отмечается слово **писец**). **Подьячие** разных рангов (старшие и средние, о чем можно судить по названиям их подписей – **смотри, справа**), которые после введения коллегияльного делопроизводства стали называться **канцеляристами** и **подканцеляристами**, в первую очередь осуществляли контроль за ведением таможенных документов сверяли явленные и выдаваемые выписи с записями в книгах, подписывали выписи, проверяли оборотные выписи, на которых подписывалась уплата пошлин и т.п. Сравнение почерков их подписей и помет (*справил читал, с выписью чел и под*) с почерками записей в книгах говорит о том, что они не были прямыми исполнителями писцовой работы. Помимо проверки записей в книгах, обязанностью подьячих, вероятно, было составление беловых отчетных книг.

Таможенная документная система складывалась в результате тех действий, операций, которые производила таможня, контролируя торговый поток с целью сбора пошлин. Документы внутреннего таможенного делопроизводства возникали в результате непосредственных контактов таможенной администрации и торговых людей и являлись удостоверением регистрации факта торговой операции и уплаты надлежащих пошлин. Основная функция этих документов – регистрационная и отчетная.

Виды и типы таможенных документов, их состав, структура определялись теми операциями, которые проходил товар: явка привезенного товара, отпуск товара в другой город, явка денег, на которые предполагается купить товар, покупка или продажа товара, отъезд непроданного товара в следующий год и др.

Документы внутренних таможен первой половины XVIII в. представлены несколькими видами: **книги, выписи, ярлыки, росписные списки**. Ведение таможенных документов регламентировалось целым рядом указов.

Основными таможенными документами были **книги**, которые велись в таможне ежедневно. В зависимости от характера регистрируемой таможенной операции книги могли быть разных типов. Названия самих книг и ссылки в них на другие книги говорят о следующих типах: **явчие (явочные), выписные, торговые (торговых записок), ярлычные, явленных денег, ярмарочные, отметочные, отъявочные (остальных товаров, переносные), оборотные (записи оборотных выписей), "проданные" (записи продаж), покупные, проезжие, весовые (важенные), расходные, мелочного сбора**. Книга каждого типа регистрировала определенный вид таможенной операции. Количество книг и их типы зависели от объема торгового потока, проходившего через таможню.

Таможенные **выписи** являлись важным таможенным документом, который по сути представлял собой извлечение из таможенной книги, полностью или частично повторяя записанную в ней статью. Выписи свидетельствовали о регистрации товара, давали право на его вывоз, подтверждали уплату пошлин. Выписи, как и книги, могли быть разных типов в зависимости от того, какого характера "розделка" ею подтверждалась. В таможенных книгах называются следующие типы выписей: **зачетная, заявочная (заявчая), оборотная (оборотная платежная, оборотная явчая), отпускная, отъявочная (отъявчая, отъявчая переносная), платежная, явочная (явчая)**. Одна и та же выпись могла называться по-разному в зависимости от ее функции, назначения, отношения к данной таможне: **отпускная – явчая, платежная – оборотная и под**.

Ярлык как обязательный документ, выдававшийся торговцам, последовательно упоминается преимущественно в книгах архангельской таможни. Ярлыки давали право на вывоз товара из города, на перемещение товара внутри города, служили пропуском для провоза товара через таможенные заставы. Ярлык также называется **пропускным**.

ярлыком, пропускным письмом, отпускным ярлыком, пропуском, пропускной. Вероятно, так в XVIII в. назывался тот документ, что по книгам XVII в. известен как **проезжая грамота, или проезжая выпись** [Мерзон 1957: 24; Иванов 1979: 133].

При смене таможенной администрации составлялись **росписные списки**. Они являлись обязательным свидетельством передачи всего имущества таможи от одного бурмистра по истечении срока его полномочий другому и представляют собой перечни всего имущества, находящегося не только в самой таможене, но и в торговых палатах, важнях, таможенных избах на заставах: иконы, мебель, различная утварь, весы, гири, мерная посуда, печати, ящики и коробка с документами и др. Росписных списков обнаружено немного, относятся они преимущественно к 30–40-м гг.

Следующим этапом при исследовании текстов делового характера должно быть изучение самой процедуры их создания, выявление особенностей их ведения и функционирования, что находило непосредственное отражение не только в форме документа, но и в его лексическом наполнении. Необходимо учитывать, кто участвовал в создании документа, какова их роль, какие стадии проходило создание текста, писался он под диктовку или списывался, является ли текст оригинальным, или следовал образцу, представляет ли сохранившийся материал самостоятельный текст или это только его фрагмент и т. п. Важно установить, насколько это возможно, непосредственных исполнителей писцовой работы.

Важным является вопрос о черновом или беловом (отчетном) характере рукописи. Анализ таможенных книг XVIII в. позволяет говорить о более сложном характере их рукописей, чем только черновая книга – беловая, как это отмечается для книг XVII в [Базилевич 1936: 79–80; Митяев 1948: 289–290; Мерзон 1957: 21–24; 1958: 88] В отношении книг XVIII в. можно говорить о **черновых записях досмотров и торгов; о рабочих (черновых) вариантах книг**, которые составлялись на основе черновики досмотров и торгов и в свою очередь служили для создания беловых отчетных экземпляров; о **рабочих книгах**, которые велись аккуратно, в полном соответствии с требованиями и могли предъявляться как отчетные; о **беловых экземплярах книг**, которые составлялись для отчета на основе черновых книг и отправлялись для проверки в центральные канцелярии; о **списках с таможенных книг**, которые представляли собой копии беловых экземпляров, остававшиеся в таможене. Каждый из этих вариантов книг определяется на основании ряда критериев: количество почерков и их вид, характер расположения записи на листе, наличие или отсутствие помет, характеризующих процесс ведения книг, наличие или отсутствие собственноручных подписей торговцев и их поручителей, незаполненные листы в черновых книгах и др.

Наличие рабочих (черновых) и беловых вариантов таможенных книг, относящихся к первой четверти XVIII в., – важный момент в источниковедческой характеристике этого типа памятников. Среди сохранившихся книг достаточное число составляют книги черновые, представляющие наибольший интерес для лингвистов. Рабочие черновые экземпляры отличаются большей свободой письма, что проявляется в общей небрежности записей; в их ведении, судя по почеркам, принимали участие менее искусные писцы, в записях которых в значительной степени отражаются черты живого языка, черновые книги, как правило, написаны несколькими писцами, что дает возможность сопоставлять языковые особенности писавших; наличие помет разного рода позволяет наблюдать процесс ведения книги. Беловые книги и списки с книг, хотя и несут отпечаток определенной обработки, в значительной степени следуют черновикам и являются не менее интересными источниками.

Изменение характера книг (в частности, появление рабочих экземпляров, выполнявших и роль отчетных документов) связано с организацией коллегиального делопроизводства, с упорядочиванием ведения дел, с появлением специальных отчетных ведомостей и др. Существует и определенная зависимость между рабочим (не черновым) характером книги и ее типом: как правило, это книги приходные, отъязвие и отпускные, которые составлялись на основе записей в других книгах или выписей, поэтому запись в них как сделанная с определенного образца могла быть без

помарок и дополнительных вписываний Подобный вариант книг отмечается с середины 20-х гг

Одним из важных при изучении рукописного текста является вопрос о непосредственном исполнителе писцовой работы. Полную картину о лицах, исполнявших в таможенных писчую работу, по таможенным материалам составить непросто. Записи в абсолютном большинстве случаев анонимны. Прямые указания на исполнение писчей работы в таможенных книгах единичны. Определенную возможность установить, кем записаны те или иные статьи в книге, дают рукоприкладства, поскольку писцы, расписываясь за целовальников или торговцев и их поручителей, как правило, называли свою должность. Идентификация почерков книжных статей и подписей позволила установить ряд писцов некоторых таможен. Указание в рукоприкладствах на место жительства писца и анализ языковых черт дают возможность с полной уверенностью говорить о том, что писцами в таможенных были исключительно местные жители.

Вопрос о писцах связан прежде всего с решением проблемы, отражение чьей речи можно видеть в записях таможенных документов целовальника, производившего досмотр и диктовавшего писцу, торговца, перечислявшего, что именно он привез (случаи отражения прямой диктовки говорят о возможности передачи и его речи); того, кто непосредственно исполнял писчую работу в данной таможене или писца той таможи, откуда привезена переносимая в книгу выпись?

Наибольший интерес представляют случаи, когда одни и те же товары одного торговца регистрируются в книгах разных таможен по одной и той же выписи. Такие случаи могут помочь в ответе на вопрос, что сильнее проявляется в записи данные предъявленной выписи, с которой делалась запись в книге, или особенности речи писца, делавшего эту запись. Каждый из таких случаев должен анализироваться отдельно, поскольку единой закономерности не обнаруживается. Таможенные материалы содержат немало фактов, когда писец четко следовал предъявленной выписи, и в записях московской таможи, например, появляются севернорусские слова *ровдуга*, *моржина*, *зверь* "единица счета шкур" и др. С другой стороны, писцы не были механическими исполнителями писцовой работы, в записях в определенной мере проявляется воля писца, его стремление к более точному и правильному, с его точки зрения, изложению необходимых сведений: писец может заменить диалектное или просторечное слово, сопроводить его общерусским эквивалентом, использовать синонимические замены и др. Вероятно, одной из задач таможенных писцов было стараться не допускать появления в книгах слов местных, если есть общерусское соответствие, чтобы в проверяющих инстанциях не возникло затруднений. В книгах болховской таможи 1725 г, например, среди товаров часто называется *волна* "овечья шерсть", при отпуске этого товара в Москву писец последовательно сопровождает это слово пояснением – *волны овечьей шерсти*.

Интересны случаи, показывающие столкновение речевых особенностей писца и привезенной в таможенную выписи из другого города. Житель Галича явил на Важской Благовещенской ярмарке *трои черевяки*, запись в ярмарочной книге делалась по выписи, и писец повторил написанное в предъявленном документе, однако он же, записывая проданное на ярмарке, написал *трои чарки*, употребив хорошо знакомое ему слово; в книге этой же ярмарки также в явке галичанина по галицкой выписи названы *сто восемьдесят телатинь и жеребятин красных*, записывая продажу, писец пишет *сто восемьдесят телатинь и жеребков красных*; в архангельской книге по выписи вятской таможи написано явил (. .) *десять клецей хомутных конских*, в записи досмотра этого товара появляются *десятеры дерева конские деревянные*.

Наиболее заметно проявляется роль писца в параллельных текстах – списках, содержащих перечни одних и тех же товаров и создававшихся последовательно один на основе другого при прохождении одним товаром нескольких таможенных процедур (явка, досмотр, отпуск, дача выписи, продажа и т.д.).

Наличие параллельных текстов – одна из важнейших источниковедческих оценок таможенных материалов. Памятники делового письма в силу специфики своего создания и функционирования, как правило, существуют в одном экземпляре. Исследователи текстов делового характера не раз высказывали различные предложения по поиску новых методов их изучения ("Желательно {...}, чтобы был найден своего рода текстологический подход к исследованию еще одной основной группы источников – актового материала" [Алексеев 1988. 208]), предлагая сравнительно-историческое изучение текстов, "соприкасающихся между собой элементами содержания (в широком смысле этого слова)" [Дерягин 1976. 5], оценивая отдельные документы одного разряда приказной письменности как списки или копии одного архетипа [Алексеев 1988. 208]. Наличие взаимосвязанных текстов в таможенных документах позволяет применить методы текстологического анализа не просто к памятникам, "соприкасающимся элементами содержания", но являющимся списками (копиями) одного и того же текста.

Обнаруживаются параллельные тексты прежде всего в комплексах документов одной таможни. Возникали они чаще в том случае, когда торговец вел крупное дело и неоднократно в течение года обращался в таможню. В отдельных книгах одного года отмечается до двух десятков текстов, связанных с именем одного купца.

Параллельные тексты могут содержаться как в книгах разных типов, регистрировавших таможенные операции, так и в одной книге, содержащей, например, запись явки и досмотра товара, явки и отпуска товара и под. На обороте таможенной выписи в случае продажи всего товара или его части делалась запись об "упродаже", и таким образом также возникали параллельные тексты. В книгах и в выписях разных таможен, находившихся на пути следования купца, также могут обнаруживаться списки одних и тех же товаров одного торговца.

Параллельные тексты представляют собой и росписные списки одной и той же таможни за разные годы. Имущество таможни на протяжении длительного времени, как правило, существенно не обновлялось, и росписные списки из года в год перечисляют те же строения и ту же утварь. Сохранились, например, четыре росписных списка усть-сысольской таможни 40-х гг., однако эти четыре списка представлены шестью параллельными текстами, поскольку за 1741 и 1742 гг. списки сохранились в двух экземплярах (от лица прежней и новой администрации).

Ценность и важность параллельных текстов подчеркивается тем, что они могут быть сделаны одним писцом или разными, составляться данным писцом или переписываться с черновика досмотра, принадлежащего другому писцу, или с выписи, написанной в таможне другого города, и т.д. Анализ параллельных текстов позволяет установить степень зависимости пишущего от образца, написанного другим человеком, проследить процесс создания записи в таможенной книге, определить степень участия тех, кто присутствовал при оформлении таможенной операции – словом, определить зависимость лексического состава источника от целого ряда обстоятельств, сопровождавших его создание.

Параллельные тексты могут быть абсолютно идентичны, совпадая и в последовательности перечисленных товаров, и в использовании лексических средств (есть немало таких списков, принадлежащих в том числе и разным писцам). Однако значительно чаще параллельные тексты содержат разночтения различного характера (в том числе и случаи лексической мены), что повышает их лингвистическую ценность *восмьдесятъ обуви с опушнями больших и малых – восмьдесят обуви больших и малых, четыре фунта бумаги синей – четыре фунта бумаги шити синей, пять дюжин зеркал малых и средних – 5 дюжинъ зеркалъ в кожаных рамках средней и малой руки, десять гиновъ шелку китайского – 10 гинов в них по 4 мотка шелку китайского сканого разных цветов, тысяча столбцов чесноку плетеного среднего – 1000 батмановъ чесноку среднего, сорок шесть ансыреи шелку – 46 фунтов шелку, четыре шубы овечьих – 4 кафтана шубных, сто пар рукавиц варег овечьих – 100 пар вязаницъ овечьих, восмнатцать наметокъ бумажных – 18 фатъ бумажных, один свя-*

зок веревко́к *ростяжных* – тючкь *прядена* *ростяжного* и др (см. [Малышева 1997 52–57, 136–141])

Специфика таможенных документов дает исследователям возможность сравнивать, сопоставлять не только документы одного типа, выполненные по одному образцу в разных местах и разными людьми, но прежде всего документы, связанные общностью последовательного происхождения, имеющие один источник и являющиеся по существу копиями одного и того же текста, созданными одним или разными писцами

В связи с этим важно подчеркнуть ценность таможенных выписей. В качестве лингвистического источника они интересны с разных точек зрения с одной стороны, выписи – самостоятельный вид документа, который может быть использован как отдельный независимый источник с другой стороны выпись связана с таможенной книгой и своим появлением, и ролью в создании самой книжной статьи. В последнем случае важность исследования выписей возрастает: они представляют ценный материал для сопоставления их данных с фактами таможенных статей, созданных на их основе

Необходимым этапом источниковедческого анализа памятников делового характера является изучение формы документа. Такие тексты создавались по определенным нормам, шаблонам, следовали сложившимся образцам, и перед исследователем возникает задача рассмотреть этот образец, изучить форму документа, используя методы, разработанные дипломатикой.

Таможенные документы (в первую очередь книги) фиксировали различные операции, каждая из которых регистрировалась по определенному образцу. С этим связано разнообразие типов самих документов и особенности их формуляра.

Исследование структуры документа, его формуляра, типов составляющих его обязательных формул позволяет, во-первых, более четко представить специфику данного типа документов, установить закреплённость определенных лексических, фразеологических, синтаксических средств за теми или иными формулами и, в целом, структурными частями текста, во-вторых, обнаружить проявления живого разговорного языка как в формулярной части документа, так и в содержательной.

Анализ структуры и формуляра говорит о том, что таможенные документы независимо от их типа всегда имеют четкую структуру (начальный протокол, содержательная часть, конечный протокол), которая строго соблюдалась. Каждая структурная часть включала набор обязательных формул: начальный протокол содержал необходимые сведения о хозяине товара, формулы-характеристики товара по способу его изготовления или приобретения, формулу назначения товара и т.п.; содержательная часть представляла собой перечень явленных товаров, конечный протокол составляли формулы поруки, обязательства подачи выписи и др.) Формулярные составляющие следовали в достаточно строгой последовательности, четко организуя структуру документа.

Материалы таможенного делопроизводства имели длительную, со своими сложившимися особенностями традицию их ведения, которая имела общерусскую основу, но нередко следовала привычкам, правилам, установившимся в той или иной таможене. Общая традиция их ведения укреплялась ежедневной практикой.

Однако специфика таможенных документов заключается в том, что в традиционную рамку каждый раз включалось новое содержание: каждый список товаров оригинален – названия предметов местных промыслов, вещей повседневного обихода, иноземных новинок (последнее для первой половины века особенно актуально: большое количество новых товаров). Постоянная новизна (с известной долей относительности) записей "размывала" шаблоны, сложившиеся в сознании писца, пробуждала его языковое чувство, провоцируя его на более живое отражение языка. Четко следуя общей структуре таможенной статьи, писец более свободно обращается с обязательными формулами. При всей кажущейся стабильности таможенных записей устойчивость формулярных элементов в них зачастую относительна, и нередко они весьма существенно варьируются, что проявляется и в выборе лексических средств, и в

синтаксической структуре формулы: *товар домашной ево работы, собственного домашнего их приуготовления, домовного своего приуготовления, дамовней своей работы, домашнего иждивения, домашнего издѣлья; а против выписи поставить ему явчую или платежную выпис, и против сего отпуску положит платежная или явчая выпис; а в поставке платежной выписи порукою по нем, и порукою по нем в поставке на показанной срокъ выписи и в платеже пошлин, а гдѣ продасть в поставке платежной выписи порука; по сей статьи ливенские таможни платежная выпись принята, по сему отпуску платежную выпись поставил, против сего отпуску платежную выпис подал (положил); у сей выписи болховские таможни сентябрьская печать, у сей выписи болховския таможни мсца марта печать, при сей выписи пуштоозерская таможенная печать приложена и др.*

Формуляр таможенных документов может стать объектом специального лингвистического исследования. Разнообразие формулярных составляющих таможенной статьи, варьирование языковых средств, использованных в них, дает возможность исследовать функционирование делового языка в еще одной делопроизводственной сфере, установить меру его стабильности и степень зависимости от живого языкового употребления. Кроме того, начальный и конечный протоколы таможенных документов содержат разнообразную лексику административно-делового характера, которая также нуждается в обстоятельном исследовании.

Заключительный и основной этап историко-лингвистической разработки предполагает определение зависимости лингвистической содержательности текста от всех выявленных обстоятельств его создания и функционирования. Анализ лингвистического материала памятника должен опираться на результаты всех предыдущих этапов изучения текста. В лексической картине источника находят отражение характер и особенности делопроизводства, в сферу которого входит данный текст, вид и тип памятника, место создания документа, отношение данного текста к другим документам этой же делопроизводственной сферы и их взаимозависимость и т.д.

Главным хранилищем всего лексического богатства таможенных материалов является содержательная (основная) часть книжной статьи или выписи, представляющая собой перечни разнообразных товаров. Многообразие лексического материала связано не только с названиями самих товаров, но и с тем, что каждый из них сопровождается подробными характеристиками, касающимися цвета, размера, качества, материала, из которого изготовлен, и т.п.: *два зипуна сермяжных бѣлых простых, трицѣтъ три чашки з блюдами и с крышками ценинных с золотыми травами чайных, пятьсотъ ножей в ножнях в сваловом черене с медной рѣзной и финифтяной оправой разных рукъ, сто чарковъ средних и подсередних и маля.*

Устойчивость, следование образцам и традиции проявляются не только в наборе определенных формул в начальном и конечном протоколах, но и в строении содержательной части таможенной статьи. Можно считать, что каждый фрагмент содержательной части (название и характеристики отдельного товара) также представляет собой формулу – формулу названия товара. Об этом позволяет говорить известная стабильность, которая проявляется и в синтаксической структуре (характеристики товаров, как правило, располагаются в определенном порядке), и в наборе лексических средств (достаточно устойчивы названия общераспространенных товаров; характеристики качества, размера товаров отражают во многом сложившуюся торговую терминологию).

Определенную организацию имеет и вся содержательная часть статьи: если список пространен и включает разные товары, то они, как правило, группируются по типам (например, ткани, украшения, головные уборы, изделия из металла, пряности и т.д.). Это становится особенно важным, если встречается слово с неизвестным или неясным значением: положение его в определенной части списка товаров уже позволяет отнести его к какой-либо тематической группе.

Лексический состав таможенных книг обусловлен различными обстоятельствами: характером промыслов на данной территории, объемом торгового потока, проходившего через данную таможню, территориальным расположением таможни, типом книги и др.

Устюжские, сольвычегодские книги содержат, например, разнообразные названия кож, обуви и ее деталей, поскольку Устюг Великий и Соль Вычегодская были поставщиками обуви на российский рынок; выделка кож была одним из главных занятий жителей южных губерний России, и в частности, болховские книги содержат многочисленный и разнообразный материал для изучения лексики кожевенного промысла; архангельские книги отражают особенности северного быта и рынка (названия морских животных, рыбы, пушных зверей, морских и речных судов, лексика веревочного промысла и др.).

Как уже сказано выше, писцы стремились избегать слов местных, однако это не всегда удавалось, и в таможенных книгах содержится значительный материал для изучения локально ограниченной лексики. Вероятность обнаружения регионального слова более высока при изучении материалов небольших уездных или волостных таможен: в их книгах регистрировались товары преимущественно местного изготовления, и писцы записывали их местные названия. Такие слова, как *верхница* "верхняя женская одежда", *ровдуженки* "рукавицы из оленьей замши", *матура* "домашнее сукно", *сукник* "выходное платье из сукна" отмечены, например, только в книге Пустозерского острога 1711 г. В книгах небольших таможен встретились, например, названия денежных единиц, не отмеченные в документах других таможен: *мордка*, *полумордка* "мелкие денежные единицы, равные соответственно 1/4 и 1/8 деньги" (сольвычегодская и лальская таможни) и *пирог*, *полупирог* в тех же значениях в мезенской книге; в таких книгах чаще встречаются архаичные или местные названия метрологических единиц (*локоть* при повсеместном *аршин*, *дружки* "пара").

Лексический состав во многом обусловлен типом книги. Наиболее богатый и разнообразный материал содержат книги явчие, отпускные, книги разных сборов, в которых регистрировались товары, привезенные из разных мест. Именно в этих книгах находятся пространные перечни разнообразнейших товаров, причем, самыми насыщенными в этом смысле чаще являются явки товаров по московским выписям.

Определение или уточнение семантики слова – одна из важных задач исторической лексикологии, но при работе с письменными источниками нередко возникает проблема недостаточности контекста. Одной из особенностей таможенных материалов как источника для исторической лексикологии является определенное однообразие и ограниченность контекста: перечни, списки товаров.

Определению семантики слова может способствовать как непосредственное словесное окружение (микрконтекст – название товара с его характеристиками), так и весь текст (макроконтекст – весь список товаров или его часть, содержащая перечень однотипных товаров). Важной и отличительной чертой таможенных документов является то, что один и тот же макроконтекст (и, естественно, микроконтекст) может повторяться, варьируясь, в параллельных текстах, причем, в записях досмотров или отпусков содержатся, как правило, более подробные характеристики товара: *двѣ тысячи ковшевъ – 2000 ковшеи деревянныхъ премизненныхъ, тритцатеры чюлки шерстяные – 30ры чюлки вязаные шерсти овчьеи средней руки, три покала стекла бѣлого средних – три покала средних с кровлями бѣлого стекла*. Привлечение макроконтекста или нескольких параллельных или подобных микроконтекстов позволило определить семантику слов, не имеющих лексикографической фиксации (*митус* "женский головной убор", *волок*, *волочок* "сосуд" и др.) (см. [Мальшева 1997: 130–131, 133]).

К особенностям контекста таможенных документов можно отнести и используемый писцами преимущественно в отношении названий торгово-счетных единиц прием глоссирования: *пядесят бунть пугвиць мѣдныхъ разныхъ рукъ во всякомъ бунте по*

шести портищи, 10 картъ а на всякой картѣ по 3 дюжыны пугвиць обшивных шелкомъ кафтанных, две тузины и девять паръ перчатокъ лаковых женскихъ росшывных в тузинѣ по двенадцать парѣ. Наличие глосс позволило установить точное метрологическое значение счетных единиц пуговиц (*карта* и *бунт*), словарями не зафиксированное (см. [Мальшева 1997: 134–135]).

Главной особенностью таможенных материалов как лингвистического источника является зависимость их лексического состава от самой процедуры их создания. Каждая таможенная книга представляет собой совокупность записей – регистраций определенных таможенных операций, то есть совокупность таможенных статей. Анализ таможенной книги, содержащей явки товаров, предполагает обязательное рассмотрение такой проблемы, как к н и г а – в ы п и с ь. Если в книге регистрируются операции с товарами, привезенными из разных мест, то объектом самостоятельного наблюдения должна быть каждая отдельная статья. В том случае, когда запись в книге производилась по предъявленной выписи, книжная статья является в определенной степени копией данной выписи. Запись явки в книге одной таможни по выписи другой таможни – это фактически статья одной книги, перенесенная в другую.

Зависимость явчей таможенной статьи от выписи проявляется достаточно очевидно. Приведем, на наш взгляд, весьма показательный пример. В исследованных материалах часто встречается слово *поперечник* (*поперешник*). Словарями данное слово не документируется, глосса в одной из архангельских книг позволяет говорить о значении "пояс". Слово отмечено в книгах многих таможен, принадлежащих разным территориям, то есть все говорит о повсеместном распространении данного слова. Однако более внимательное изучение материала показало, что все употребления слова *поперечник* связаны только с московскими выписями (и именно в московских книгах это слово встречается наиболее часто). Следовательно, говорить о широком ареале данного слова нет никаких оснований.

Именно влиянием выписей объясняется появление в таможенных материалах слов, вошедших в русский язык значительно позже, например, слово *инжир*, получившее лексикографическую фиксацию лишь в середине XIX в., в болховской книге 1725 г. записано в явке по малороссийской выписи. Единичные примеры употребления слов *центнер*, *манерка* "походный небольшой плоский жестяной сосуд для воды", *вакса*, входивших в русский язык в первой половине XVIII столетия, отмечаются в записях по выписям портовых таможен.

Особенно тщательного источниковедческого анализа требуют ярмарочные книги. Лексическая картина, отразившаяся в них, не просто многообразна и ярка, но и сложна, поскольку в книгах ярмарок в большей степени могли проявиться речевые особенности разных территорий. Ярмарочные книги интересны не только как хранители огромного лексического пласта, но и как источники, свидетельствующие в определенной степени о путях проникновения слова в язык: значительная часть новых заимствований и новообразований, единично представленных в таможенных документах, отмечается преимущественно в книгах ярмарок: *палаш*, *шафран*, *эликсир*, *бутылка*, *путриница* "пудреница", *штычок*, *очешник* и др.

Таможенные материалы XVIII в. принадлежат к кругу источников, знакомых лингвистам лишь фрагментарно, и как всякий новый источник, они содержат слова и варианты, не внесенные в словарные картотеки и по этой причине не вошедшие в публикуемые словари или имеющие более раннюю фиксацию, чем это указывается в картотеках, словарях и исследованиях: *бардеус* "сорт вина", *бобрин* "шкура бобра", *бычина* "кожа быка", *варежный* (о чулках) "толстой вязки?", *воловшина* "кожа вола", *волчина* "шкура волка", *зубрение*, *кулак* "часть рыбы", *одинковый* "разрозненный", *полуверстный* "о мехе животного, не достигшего зрелого возраста", *шумиха* "ложка с отверстиями, шумовка" и др.; *щекалат* и *чекалат* "шоколад", *грызыт* "грезет", *брызент*, *абинковый* (от *аба*), *камель* и *камелия* "камлот"; *анчовис* – 1720 г., *больк*, *булык* – 1720, 1725 гг., *грезет* – 1746 г., *кофь* – 1719 г., *манерный* – 1736–1737 гг.,

очешник – 1725 г., *путриница* – 1725 г., *сутунка* – 1722 г. и др. (см.: [Биржакова 1972, Мальцева 1975]). Заметим, что ограниченное использование рукописных региональных памятников исключило из Картотеки Словаря русского языка XVIII в. целый ряд слов, представленных в Картотеке древнерусского словаря и продолжавших свое бытование в XVIII в.: *желобастый*, *застежный*, *кубастый*, *обушок* "сухая рыба тушка без головы и хвоста", *одинакий*, *турочка* "трубочка, катушка для ниток", *хрушкий* "крупный" и др.

Первая половина XVIII века – очень динамичный период в развитии русского языка, не последнюю роль в этом процессе играла торговля, и таможенные документы в силу своей специфики отражали активно идущий процесс заимствования слов, их адаптации, деривационные процессы, затрагивавшие как заимствованную, так и исконно русскую лексику.

Определенное место в источниковедческом исследовании должно занять использование исторических данных, сведений по культуре промыслам, торговле и др., то есть тем областям общественной жизни, которые проявляются в анализируемом памятнике. При исследовании таможенных материалов этот аспект анализа становится наиболее актуальным: направления торговых потоков и их регулирование, торговые связи городов, ограничение и запрещение торговли отдельными товарами, характер и особенности местных промыслов и др. – все это в той или иной степени обязательно обнаруживается в языке таможенных документов.

Лингвистическое исследование таможенных документов первой половины XVIII века позволяет с полной убедительностью говорить о значимости памятников данного типа для лексикологических изысканий. Однако специфика таможенных документов, представляющих определенный тип делопроизводства, характер их создания и ведения, особенности обслуживаемой ими социальной сферы ставят перед исследователем их лексического материала ряд проблем, решение которых невозможно без предварительной источниковедческой критики данного типа памятников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев А А* 1988 – Цели и методы текстологического исследования лингвистических источников XI–XVII вв. // Русистика сегодня. Язык: система и ее функционирование М., 1988
- Базилевич К В* 1936 – К вопросу об изучении таможенных книг XVII в. // Проблемы источниковедения Сб. 2 // Труды Историко-археографического института АН СССР Т. XVII. М., Л., 1936
- Биржакова Е Э* 1972 – Биржакова Е.Э., Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века: Языковые контакты и заимствования Л., 1972.
- Борисова Е Н* 1978 – Проблемы становления и развития словарного состава русского языка конца XVI–XVIII вв.: Дис. ... д-ра филол. наук. Смоленск, 1978
- Дерягин В Я* 1976 – Варьирование языковых средств в текстах деловой письменности (важские денежные отписки XVI–XVII вв.) // Источники по истории русского языка. М., 1976
- Иванов В Ф* 1979 – Письменные источники по истории Якутии XVII века. Новосибирск, 1979.
- Котков С И* 1972 – Таможенные книги Камер-коллегии – источники по истории русского языка // Русское и славянское языкознание. К 70-летию чл.-корр. АН СССР Р.И. Аванесова. М., 1972.
- Макаров И С* 1937 – Волостные торжки в Сольвычегодском уезде в первой пол. XVII в. // Исторические записки. Т. I М., 1937.
- Мальцева И А* 1997 – Памятники деловой письменности XVIII века как объект лингвистического источниковедения. Хабаровск, 1997
- Мальцева И М* 1975 – Мальцева И.М., Молотков А.И., Петрова З.М. Лексические новообразования в русском языке XVIII в. Л., 1975.
- Мерзон А Ц* 1957 – Таможенные книги XVII века: Учебное пособие по источниковедению СССР. М., 1957.
- Мерзон А Ц* 1958 – Устюжские таможенные книги XVII в. // Проблемы источниковедения. Вып. VI. М., 1958
- Митяев К Г* 1948 – К вопросу о передаче содержания таможенных книг XVII в. (смоленские таможенные книги) // Труды Историко-архивного института Т. IV. М., 1948
- Юхт А И* 1990 – Торговые связи Астрахани с внутренним рынком (20-50-е годы XVIII в.) // Исторические записки. Т. 118. М., 1990

© 1998 г. Л.М. ГОРОДИЛОВА

**СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ПАМЯТНИКОВ
ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ XVII в.**

**СИБИРСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ**

Введение в научный оборот новых материалов различной территориальной приуроченности привело к зарождению нового направления в исторической лексикографии – **региональной исторической лексикографии**, имеющей свои общеполитические и специфические задачи [Богатова и др. 1982].

Региональная историческая лексикография – неопределимый источник для лексикологических исследований частного и общего характера; без тщательного изучения региональной деловой письменности не представляется возможным “объективно определить роль того или иного диалекта в становлении словарного состава русского национального литературного языка” [Борисова 1987: 59]. Незавершенность целого ряда вопросов исторической лексикологии объясняется отсутствием региональных исторических словарей, составление которых является делом скрупулезным и многотрудным.

Центральным вопросом региональной исторической лексикографии является “теоретическое определение самого понятия регионального явления в лексике применительно к истории словарного состава языка” [Богатова и др. 1982: 37]. Незавершенность указанной проблемы затрудняет выделение регионализмов в общеполитическом словаре и тем самым сказывается на полноте исторического словаря, а в итоге тормозит развитие исторической лексикографии в целом. Стремление к полноте словаря и отражению в словарной статье “региональных моментов в истории слова” [Богатова и др. 1982: 32] являются важными аспектами работы лексикографа.

Отсутствие полноценных региональных исторических словарей существенно сказывается на разработке целого ряда проблем исторической лексикологии. Крайне важны региональные словари для решения отдельных вопросов диалектологии, в частности, связанных с определением исходного состояния говоров вторичного образования, каковыми являются русские говоры Сибири.

Несмотря на некоторую активизацию лексикографической разработки памятников прошлого, сибирская историческая лексикография до настоящего времени находится в “зачаточном состоянии” [Бухарева 1983: 21] (не разработаны единые требования к историческому словарю, принципы отбора лексики, построения словарной статьи и др.), в то время как еще в 1975 году в качестве перспективной выдвигалась задача составления сводного исторического диалектного словаря [Палагина 1975: 46; Любимова 1983: 44–45]. Отсутствие подобного словаря существенно затрудняет изучение старожильческих говоров вторичного образования. Необходимость создания сводного словаря диктуется прежде всего своеобразием формирования сибирских говоров, ведущих свое начало от XVII в. Кроме того, с созданием сводного словаря связано решение проблемы соотношения диалектной, литературной и общенародной лексики в сибирских говорах. Полный исторический словарь памятников Сибири позволил бы ввести в научный оборот богатейшие неисследованные материалы, которые имеют важное значение для исторической лексикологии в целом.

Созданию сводного словаря, на наш взгляд, должна предшествовать лексикографическая разработка памятников по разным регионам Сибири, что обусловлено экстралингвистическими факторами характером заселения зауральской территории, особенностями контактирования с аборигенами края, спецификой формирования постоянного населения [Цомакион 1966; Палагина 1971, 1972; Радич 1975; Захарова 1977]. Для этого целесообразно дифференцировать материалы как минимум трех крупнейших регионов: созданные в местах формирования оседлого населения на пути продвижения русских к восточным окраинам Российского государства, т.е. в острогах, расположенных в бассейне Оби (Обдорский, Березовский, Сургутский, Тарский, Нарымский, Тобольский, Кетский, Томский, Кузнецкий и др. остроги), Енисея (Мангазейский, Туруханский, Маковский, Енисейский, Красноярский и др. остроги), а также в бассейне Лены, включая Прибайкалье и Забайкалье (Илимский, Якутский, Олекминский, Вилюйский, Верхоленский, Верхне-Удинский, Баргузинский, Нерчинский, Иркутский, Селенгинский и др. остроги).

Создание исторического словаря по письменным памятникам Сибири связано с большими трудностями, среди которых на первое место выступает разобщенность исследовательского коллектива (в состав рабочей группы, как правило, входят сотрудники кафедр различных вузов Сибири и Дальнего Востока) и рассредоточенность материалов картотеки словаря по разным городам. Не способствует работе лексикографов отсутствие централизованного сибирского архива – большинство письменных источников находится в хранилищах Москвы и Санкт-Петербурга, местные архивы материалами XVI–XVII вв., как правило, не располагают. Затрудняет исследовательскую работу ничтожно малое количество опубликованных памятников. Однако, несмотря на указанные трудности, сибирские исследователи достаточно активно накапливают материалы, необходимые для создания сводного исторического словаря памятников Сибири. Так, к настоящему времени опубликованы: Словарь языка мангазейских памятников XVII–первой половины XVIII в. [Цомакион 1971], Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII–первой половины XVIII в. [Панин 1991], различного типа “Материалы для исторического словаря ..” по данным деловой письменности Томского [Палагина 1975], Кетского [Захарова 1975], Кузнецкого [Чигрик 1977], Красноярского [Попова 1978; 1984], Нерчинского [Христосенко, Любимова 1997] острогов. Разрабатываются теоретические положения региональной исторической лексикографии [Богатова и др. 1982, Городилова 1984; 1989; 1997]. Расширяется база изданных источников, пригодных для всестороннего лингвистического изучения [Городилова 1990].

Особо остро встает вопрос о координации исследовательской работы историков языка и диалектологов, направленной на создание крупного лексикографического предприятия, успех которого зависит прежде всего от организации добротной картотеки, основанной на единых требованиях и одинаково оформленной. Как отмечал С.И. Ожегов, “основой для всех типов словарей должна являться богатая разносторонняя картотека произведений художественной и не художественной литературы. Только хорошо продуманная картотека ...может служить прочной базой для отбора слов в разные типы словарей” [Ожегов 1952]

Картотека разрабатываемого словаря начала составляться в 1980 году и к настоящему времени насчитывает примерно 35 000 карточек-цитат. Пополнение картотеки продолжается, однако полагаем, что уже в таком объеме она может стать надежной базой для Словаря, поскольку содержит достаточное количество примеров, отражающих лексико-фразеологический состав деловой письменности XVII века.

О ТИПЕ СЛОВАРЯ ЯЗЫКА ПАМЯТНИКОВ ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

Жанровая специфика регионального исторического словаря определяется положением Л.В. Щербы, который считал, что “историческим в полном смысле этого термина был бы такой словарь, который давал бы историю всех слов на протяжении опре-

деленного отрезка времени, начиная с той или иной определенной даты или эпохи, причем указывалось бы не только возникновение новых значений, но и их отмирание, а также видоизменение” [Щерба 1979: 4].

Сложность и большой объем предварительной работы приводит к тому, что в лексикографической практике составления словарей по данным местной деловой письменности предпочтение отдается выборочному подходу к описываемому материалу – слова подбираются преимущественно по тематическому признаку, например, лексика рыбного промысла [Попова 1978] или наименование внешнего облика человека и частей его тела [Хриросенко]. Чаще всего предлагается включить в словарь лексику, не зафиксированную словарями современного русского языка (или имеющую ограничительные пометы), но отмеченную диалектными словарями. Иными словами, предлагается составление словаря дифференциального типа. Подобный словарь, безусловно, нужен. Однако региональный исторический словарь, на наш взгляд, должен быть прежде всего полным (насколько это позволяют сделать письменные источники), так как только полный словарь способен наиболее точно отразить лексическую систему говора в момент его сложения. Только полный словарь позволяет определить реальное употребление слова в его связях с другими словами, показывает процессы, происходившие в говоре на ранних этапах его развития. Без учета всего словарного состава письменных памятников невозможно выделить диалектизмы. Не случайно многие лингвисты отмечают трудность разграничения общерусской и диалектной лексики для периода формирования национального языка. Ссылки в этом случае на диалектные словари более позднего периода и современные не всегда убедительны: слова, включенные в региональные словари как местные, оказываются известными целому ряду памятников по всей территории России (см. историю слов *гойтан*, *голицы*) [Хитрова 1981]. Возникает и опасность того, что за пределами исторического словаря останется действительно локально ограниченная лексика.

Словарь языка памятников Приенисейской Сибири мыслится как общелингвистический, исторический в обоих значениях этого определения [Щерба 1979: 303–304; Сорокин 1975: 20–22], полный. Это словарь одного синхронного среза, а именно XVII века с небольшим (в 5–10 лет) захватом XVIII века. Создание словарей, отражающих “одно языковое состояние” стало неотъемлемой частью исторической лексикографии, успешно развивающей методику “демонстрации движения языковых изменений” в словаре [Богатова 1984: 39].

Региональный исторический словарь должен включать сравнительно-сопоставительные данные по употреблению слов в других локально приуроченных памятниках, по фиксации заданного слова в различных диалектных и нормативных словарях. Такая характеристика позволит более широко показать историю слова: определить принадлежность его к общерусской или областной лексике, раскрыть пути проникновения в Сибирь, указать распространенность в сибирских говорах.

ЗАДАЧИ СЛОВАРЯ ЯЗЫКА ПАМЯТНИКОВ ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

Определяемый как полный, исторический, сравнительно-сопоставительный Словарь языка памятников Приенисейской Сибири преследует решение следующих задач:

1. Представить по возможности полно лексический состав говоров вторичного образования в период их складывания.
2. Определить реальное употребление слова в его связях с другими словами.
3. Показать развитие словарного состава в данный исторический период, вскрыть процессы, происходившие в говоре на ранних этапах его развития.
4. В пределах, доступных для лексикографического издания, проследить историю слова: установить, является ли оно общерусским или областным; определить пути проникновения в Сибирь; проследить, является ли слово живым или устарело; отме-

чается ли другими историческими словарями или фиксируется впервые; вошло ли в состав литературного языка.

Помимо указанных научных задач словарь ставит перед собой и задачи чисто практические – служить справочным пособием для чтения скорописных текстов различных жанров деловой письменности, созданных на территории Сибири в период ее освоения русскими, показать богатство архивных материалов, недоступных для широкого круга исследователей.

Словарь будет интересен и для специалистов, занимающихся историей материальной и духовной культуры русских первопоселенцев Сибири (историков, диалектологов, этнографов), а также для студентов филологических и исторических факультетов.

ИСТОЧНИКИ СЛОВАРЯ ЯЗЫКА ПАМЯТНИКОВ ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

Основную группу источников (более 300 единиц) составляют рукописные материалы, хранящиеся в различных архивах страны: в Российском государственном архиве древних актов в Москве (фонды 214, 838), в архиве СПбФИРИ РАН в Санкт-Петербурге (фонд поуездной коллекции № 110), в Государственном архиве Красноярского края (фонд 907). Все памятники писаны характерной для XVII века скорописью. Крайне незначительную часть (около 10 единиц) составляют тексты, изданные историками – исследователями прошлого Сибири [Миллер]. Отбор рукописных источников для регионального словаря проводился в соответствии с требованиями, разработанными автором настоящего исследования [Городилова 1988: 5–7].

Лексикографической разработке подверглись тексты самого разнообразного тематического содержания, отразившие различные сферы человеческой деятельности, – торговлю, промыслы, быт, общественные и личные отношения. Решающим моментом при выборе источника является богатство тематики и его языковые качества. Как непоказательные (исходя из целей и задач словаря) исключаются из обработки различные именные книги, крайне ограниченно используются книги раздаточного жалованья служилым людям и под. Стремление к полноте расписывания материала реализуется за счет тщательной обработки отдельных, наиболее типичных текстов. С этой целью материалы приказного и таможенного делопроизводства рассматриваются отдельно, одновременно выявляются специфические черты разных жанров документальной письменности.

Предварительный анализ рукописных источников позволил выделить несколько групп памятников, различающихся прежде всего лексическим составом.

В первую группу вошли тексты, максимально приближенные к разговорной речи; редакторская правка и употребление шаблонов здесь незначительны. В эту группу включаются прежде всего материалы приказной избы, судебного стола: изветные челобитные, допросные речи, сказки, сыски о злоупотреблениях и под. Сюда же входят описные книги рыбных ловель, переписные книги постоянных дворов.

Вторую группу составляют тексты, связанные с передачей прямой речи писца (заказчика), но отличающиеся большей степенью стандартизованности, т.е. употреблением определенных трафаретов, формул, устойчивых сочетаний. В данную группу входят материалы приказных изб (кроме указанных выше): отписки воевод, росписные списки городов и острогов, подорожные, купчие, заемные, поручные.

Третья группа объединяет тексты, не связанные с передачей прямой речи, и представляет собой составленные по определенному образцу перечни номинативной (в основном) и аппелятивной лексики. Это прежде всего материалы таможенного производства: различные типы таможенных книг (десятинные, летовные, соболиные, отпускные, приходно-расходные и др.), проезжие выписи, ценовые и товарные росписи, росписные списки и др.

Широкий охват рукописных памятников, разных в жанрово-тематическом отношении, позволяет представить в словаре различные пласты лексики:

1) нейтральную, обычную для разных сфер употребления;

2) собственно деловую лексику и терминологию, позволяющую разграничить деловые/неделовые тексты;

3) лексику разговорной речи, которая в свою очередь подразделяется на лексику общерусскую и диалектную, местную. Под лексикой разговорной речи общерусского употребления понимаются слова, употреблявшиеся жителями Сибири при описании бытовых ситуаций, предметов домашнего обихода; как правило, это слова, обладающие определенными словообразовательными аффиксами и имеющие сниженную эмоциональную окраску. В то же время это слова, не содержащие указания на территориальную ограниченность. Диалектными считаются слова, территориально ограниченные для XVII в., а также слова, “называвшие общерусские реалии, но имеющие изоглоссы” [Мжельская 1987: 109].

Как уже отмечалось, Словарь языка памятников Приенисейской Сибири призван решить вопрос о путях формирования лексической системы говоров вторичного образования в период их становления. Решить эту проблему без использования справочно-сопоставительных материалов практически невозможно, поэтому в качестве дополнительных источников используются исторические, диалектные и толковые словари разной хронологической отнесенности, а также специальная литература по истории заселения Сибири, по истории материальной и духовной культуры русского народа.

СТРУКТУРА СЛОВАРЯ ПАМЯТНИКОВ ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ XVII в.

Основным объектом лексикографического описания в Словаре является слово. Учитывая неустойчивость орфографических норм для XVII века, под отдельным лексикографическим словом понимаем весь комплекс близковариантных написаний, имеющих единый морфемный состав и обладающий общностью семантических и грамматических характеристик, например: *кызылбашский, кызылбашский, кызылбашской, кызынбушской, козылбашской*

В отдельных случаях допускаются отступления от указанного определения. Так, рассматриваются как одно лексикографическое слово примеры типа *зимний* и *зимный*, *дальний* и *далный*, хотя с диахронической точки зрения словообразовательная структура подобных слов различна.

Разными словами считаются имена существительные, различающиеся твердостью и мягкостью конечного согласного корня или основы, сопровождаемой изменением грамматических характеристик слова: *коробь* (муж.р.), *коробь* (муж.р.) – *коробь* (жен.р.).

Словарь включает все полнозначные знаменательные слова.

В словаре принят алфавитный порядок расположения слов. Каждое слово, включенное в Словарь, сопровождается словарной статьей или отсылочным указанием. Отсылочные единицы имеют в Словаре самостоятельную позицию: **онбар** – см *амбар*, **копорос** – см. *купорос*.

Заголовочное слово в разрабатываемом словаре приводится в упрощенном виде в соответствии с правилами, разработанными составителями Сл РЯ XI–XVII вв. [Инструкции... 1988]. В заголовочную строку включаются также все зафиксированные варианты написания слова: *бакча, бакъча, барочной, барошиной, блездка, блеска* и под.

В рамках одной словарной статьи могут разрабатываться два и более однокоренных разносуффиксальных слова, тождественных по значению: *барабанный* – *барабанский*, *бараний* – *барановый*, *иноземной* – *иноземской*, *карминный* – *карминовый*, *служивши* – *служилыи*. В этом случае параллельные образования выносятся в заголовочную строку как равноправные.

Производные грамматические формы размещаются в словаре следующим образом.

Формы степеней сравнения прилагательных и наречий, как правило, разрабатываются в тех же словарных статьях, что и форма положительной степени. При этом сама форма включается в заголовочную строку и подтверждается текстовым примером с соответствующей пометой в квадратных скобках [ср ст.] или [превосх.ст.].

В порядке исключения в отдельных словарных статьях разрабатываются:

1) супплетивные формы, например **лучше** – супплетивная форма прилагательного *хороший* и наречия *хорошо*,

2) полные формы сравнительной степени, имеющие независимые значения: **лучший** – привилегированный или знатный представитель группы коренного населения (*лучший князец, лучший мужик*),

3) формы сравнительной степени, не соотносимые с формами положительной *вящий, паче*

Причастия и деепричастия помещаются в заголовочной строке после соответствующего инфинитива и иллюстрируются примером. В словаре принято следующее расположение производных глагольных форм: причастия предшествуют деепричастиям, при этом действительные причастия предшествуют страдательным, а формы настоящего времени – формам прошедшего. Например: **пригнать сов**; *пригнавший, пригнанный* – прич., *пригнав* – дееприч.

В отдельных случаях причастия разрабатываются в самостоятельных словарных статьях:

1) если причастие утратило связь с глаголом и употребляется в качестве прилагательного или существительного (*любимый, проклятый*);

2) если у причастия развилось особое лексико-грамматическое значение, что привело к изолированности формы: *ухано, посылано, поморожено* и под. В последнем случае причастия сопровождаются пометой *прич. безл*

В отдельных словарных статьях разрабатываются значимые части сложных слов: **благо-, добро-, много-, -пядный, -ланный**, при этом каждый компонент имеет грамматическую характеристику, толкование, иллюстрации из памятников письменности. При лексикографическом описании первого компонента сложных слов в заголовочной строке даются все отмеченные в текстах сложения, например: **ново-**: *новоприборный, новоприсыльный, нововерстаной, нововыборной, новокреценка, новонакладный, новопоселеный, новопостроенный, новоприискной, новоселидебный, новосостоятельный, новоуказный; много-*: *многосложный, многолюдный*. Каждое слово из приведенного списка как самостоятельное разрабатывается на своем месте по алфавиту.

В настоящее время первый этап работы над словарем можно считать завершенным: отобраны необходимые тексты, составлен указатель рукописных источников, насчитывающий 310 единиц; произведено расписывание отобранных материалов на карточки определенного образца, выполнена раскладка по алфавиту с учетом каждой последующей буквы; разработаны критерии отбора лексики, сформированы теоретические положения о типе и структуре регионального словаря, построении словарной статьи, способах разграничения явлений омонимии и полисемии.

Предлагаемый региональный исторический словарь не только вводит в научный оборот новые материалы по сибирской деловой письменности, не привлекавшиеся ранее к лингвистическому исследованию, но и позволяет представить лексическую систему русских говоров Сибири в момент их формирования и таким образом реконструировать исходное состояние говоров вторичного образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Богатова Г А и др 1982 – Славянская и историческая лексикография и проблемы региональной характеристики слова // ВЯ. 1982 № 3.
Богатова Г А 1984 – Дiachронический словарь в системе словарей исторического цикла // Теория и практика русской исторической лексикографии М, 1984.

- Борисова Е Н* 1987 – Проблемы русской региональной исторической лексикологии // ВЯ 1987 № 4
- Бухарева Н Т* 1983 – Сибирская лексика и фразеология Новосибирск, 1983
- Городилова Л М* 1984 – О создании исторического словаря письменных памятников Сибири // Русское народное слово в историческом аспекте Красноярск, 1984
- Городилова Л М* 1988 – Принципы отбора источников для словаря памятников Восточной Сибири XVII в // Координационное совещание по проблемам изучения сибирских говоров кафедр русского языка вузов Сибири, Урала и Дальнего Востока Тезисы докл 24–26 окт 1988 г Красноярск, 1988
- Городилова Л М* 1989 – Каким быть историческому словарю памятников Восточной Сибири // Русская историческая лексикография и лексикология Красноярск, 1989
- Городилова Л М* 1990 – Енисейские товарные росписи как лингвистический источник Хабаровск, 1990
- Городилова Л М* 1997 – Структура Словаря языка памятников Приенисейской Сибири XVII в // Материалы международного съезда русистов в Красноярске (1–4 окт 1997 г) Т I Красноярск, 1997
- Захарова Л А* 1975 – Материалы к историческому прикетскому словарю // Вопросы русского языка и его говоров Вып 3 Томск, 1975
- Захарова Л А* 1977 – К вопросу о диалектной основе прикетских говоров // Вопросы русского языка и его говоров Вып 4 Томск, 1977
- Инструкция* 1988 – Инструкция для составителей Словаря русского языка XI–XVII вв М, 1988
- Любимова О А* 1983 – Деловые документы XVIII века как источник диалектной лексикографии // Русская историческая лексикология XVI–XVIII вв Красноярск, 1983
- Мжельская О С* 1987 – Территориально ограниченная лексика в древнерусских памятниках (диалектизмы и регионализмы) // Русская региональная лексика XI–XVII вв М, 1987
- Миллер Г* 1937–1941 – История Сибири Т 1, 2 М, Л, 1937–1941
- Ожегов С И* 1952 – О трех типах словарей русского языка // ВЯ 1952 № 3
- Палагина В В* 1971 – Диалектный состав первых жителей Томска // Вопросы языкознания и сибирской диалектологии Вып 2 Томск, 1971
- Палагина В В* 1972 – Реконструкция диалектного состава русского населения Томска первой половины XVII века // Актуальные проблемы лексикологии Новосибирск, 1972
- Палагина В В* 1975 – Материалы для исторического словаря томского говора // Вопросы русского языка и его говоров Вып 3 Томск, 1975
- Панин Л Г* 1991 – Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII–первой половины XVIII в Новосибирск 1991
- Попова Н Е* 1978 – Материалы для словаря сибирских памятников XVII–XVIII вв // Вопросы исследования лексики и фразеологии сибирских говоров Красноярск, 1978
- Попова Н Е* 1984 – Материалы для словаря сибирских памятников XVII–XVIII вв // Русское народное слово в историческом аспекте Красноярск, 1984
- Радич Л М* 1975 – К вопросу о диалектном составе первопоселенцев Енисейского острога // Материалы и исследования по сибирской диалектологии Вып 1974 Красноярск, 1975
- Сорокин Ю С* 1975 – Что такое исторический словарь? // Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии Тезисы конференции, октябрь, 1975 г, Москва Вып 3 Теория и практика русской исторической лексикографии М, 1975
- Хитрова В И* 1981 – Материалы для словаря воронежской деловой письменности XVII–XVIII вв // Проблемы эволюции лингвистических единиц в истории русского языка (XI–XVIII вв) М, 1981
- Христосенко Г А* – Материалы для словаря нерчинской деловой письменности XVII–XVIII вв (рукопись)
- Христосенко Г А, Любимова Л М* 1997 – Материалы для регионального исторического словаря нерчинских деловых документов XVII–XVIII вв Вып I (А–В) Чита, 1997
- Цомакион Н А* 1966 – Туруханские говоры в их истории и современном состоянии Красноярск, 1966
- Цомакион Н А* 1971 – Словарь языка мангазейских памятников XVII–первой половины XVIII вв Красноярск, 1971
- Чигрик Г М* 1977 – Материалы для исторического словаря кузнецких говоров XVI в // Русское слово в языке и речи Кемерово, 1977
- Щерба Л В* 1979 – Опыт общей теории лексикографии // Языковая система и речевая деятельность Л, 1979

© 1998 г. Л.М. САВОСИНА

**АКТУАЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ТИПЫ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ И СРЕДСТВА ИХ РЕШЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ БИНОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ВЫРАЖАЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ)**

Понятие парадигмы предложения продолжает оставаться в центре внимания лингвистов. Этому вопросу посвящены многие работы, в которых отражаются различные подходы лингвистов к осмыслению данного понятия.

Парадигма рассматривается как иерархически организованная система видоизменений предложения [Адамец 1966, Грабе 1966], как система форм предложения [Шведова 1967], как система межмодельных преобразований предложения [Распопов 1969, Ломтев 1972], вводится понятие деривационной парадигмы [Белошапкова, Шмелева 1981] и т.д.

Автор статьи опирается на понятие парадигмы как "совокупности вариантов некоторого инварианта, связанных между собой его тождеством и противопоставленных его различиями" [Головин 1969], и придерживается широкого понимания парадигмы, которое позволяет в результате наблюдений над функционированием в речи биноминативных предложений, выражающих отношения характеристики (далее – биноминативные предложения характеристики) типа *Андрей – человек умный, Пет – прекрасный поэт* выделить наряду с другими типами парадигм этих предложений их актуализационную парадигму ("АЧ-парадигмы" у Е.В. Падучевой, "коммуникативные парадигмы" у И.И. Ковтуновой), объединяющую коммуникативные разновидности моделей, образуемые изменением словопорядка и интонационного оформления исходной модели¹.

Понятие актуализационной парадигмы применяется нами при анализе биноминативных предложений характеристики, которые в функциональном плане представляют для нас интерес прежде всего тем, что 1) они широко распространены во всех сферах языка, 2) отношения характеристики, выражаемые этими предложениями, реализуются одним из компонентов предложения – именем прилагательным, называющим тип отношения, выражающим узуальный смысл высказывания, реализующим коммуникативную установку говорящего; 3) в пределах одной модели оказывается возможен целый ряд высказываний с различными коммуникативно-прагматическими интенциями.

В данной статье делается попытка представить актуализационную парадигму биноминативных предложений характеристики двух типов²: 1) высказываний с типовым

¹ Поскольку представить весь состав актуализационной парадигмы биноминативных предложений характеристики не представляется возможным, в статье рассматриваются только некоторые из ее членов.

² Автор статьи относит высказывания рассматриваемых типов к изосемическим неизоморфным предложениям. К изосемическим – поскольку они удовлетворяют требованиям, предъявляемым изосемическим конструкциям: 1) они состоят из изосемических слов [Золотова 1982] семантический субъект является здесь предсказуемым компонентом [Всеволодова, Яценко 1988]. К неизоморфным – поскольку синтаксические позиции только двух изосемических слов соответствуют их семантическим ролям: дескриптив выражен формой имени N1, признак – прилагательным. Что касается третьего изосемического слова

значением 'субъект – носитель признака и его качественно-квалификативный признак', в рему которых входят родовые слова типа человек, народ, птица, дерево, существо, растение и др.: *Подмосковье – место замечательное; Верблюд – животное флегматичное; Бамбук – трава прочная*; 2) высказываний с типовым значением 'субъект – носитель признака и его качественно-квалификативный признак', в рему которых входят слова – квалификаторы типа актер, педагог, музыкант, центр, здравница и др.: *Пушкин – уникальный поэт; Башимет – блестящий музыкант; Крым – удивительная здравница* и соотнести члены этой парадигмы с коммуникативными установками говорящего.

Как будет показано ниже, актуализационная парадигма предложений этих типов представляет собой совокупность предложений одинаковой синтаксической структуры, сформированных изосемическими словами, но различающихся линейно-интонационной структурой (в терминологии Е.В. Падучевой). Что касается неизосемических биноминативных предложений характеристики (не рассматриваемых в данной статье), то они, как оказывается, имеют свою актуализационную парадигму.

Рассматриваемые биноминативные предложения характеристики функционируют в экстралингвистической ситуации характеристики, при которой говорящий решает определенную коммуникативную задачу: охарактеризовать протагониста ситуации³. Эта коммуникативная задача имеет несколько вариантов решения в зависимости от коммуникативной установки говорящего.

Вслед за лингвистами, развивающими идею антропоцентричности языкового бытия, автор статьи рассматривает решение конкретной коммуникативной задачи как реализацию коммуникативного намерения говорящего, под которым понимает практическое действие посредством языка, в результате чего и возникает речевое произведение. При таком понимании коммуникативное намерение выступает, на наш взгляд, как основная побудительная сила речевого акта, с другой стороны, является ключевым психологическим механизмом порождения высказывания. Как будет показано ниже, коммуникативная установка говорящего часто не совпадает ни с актуальным членением, ни с иллокутивными задачами, а выступает как динамический фактор, определяющий синтаксическую устроенность предложения.

Функциональный (антропоцентрический) подход к рассмотрению биноминативных предложений характеристики позволяет выявить несколько типов коммуникативных задач⁴, при решении которых говорящий употребляет тот или иной член актуализационной парадигмы, и увидеть многообразие языковых средств их решения. Каждая из коммуникативных задач решается в определенной речевой ситуации. Основным средством решения каждой коммуникативной задачи является выбор имени-носителя главного фразового – рематического ударения.

В интересах более четкой презентации материала представим исходную модель актуализационной парадигмы биноминативных предложений первого типа *Андрей – человек умный* в единстве всех уровней ее организации: денотативного (уровня содержания предложения) и уровня реализации коммуникативного задания (в пределах которого выделяются семантический и синтаксический уровни).

В исходной модели актуализационной парадигмы биноминативных предложений этого типа т е м о й высказывания является имя протагониста, представленного

занимающего позицию именной части составного именного сказуемого, то оно называет отношения, возникающие при сопряжении имени субъекта и имени признака, то есть является показателем смысловых отношений между ними – "идентификатором" в терминах Ш. Балли, "классификатором" в терминах В.А. Белашанковой, образующим именную дескрипцию. В статье мы используем первый термин.

³ Под ситуацией мы понимаем содержательный аспект предложения, соотносимый с некоторым фрагментом реальной действительности. Протагонист – единственный или первый участник ситуации, организующий ее.

⁴ См. также типы коммуникативных задач, названные Е.В. Падучевой и М.В. Всеволодовой [Падучева 1985; Всеволодова 1989], средством решения которых являются либо актуальное членение, либо субъективные установки говорящего.

ролью дескриптива, – семантический субъект, который является синтаксическим центром предложения и занимает позицию подлежащего в абсолютном начале предложения. Р е м о й высказывания ("компонентом, включающим слова с главным фразовым ударением" [Падучева 1985: 112] является предикатная именная группа, выступающая здесь как целостное сочетание, – "имя отношения-идентификатор + имя признака (качественного определителя к идентификатору)", где с о б с т в е н н о р е м о й высказывания – носителем главного фразового ударения является имя признака ("характеризующий коммуникативный элемент в фокусе контраста" у О.Н. Селиверстовой, "смысловый центр" у В.И. Бухарина).

Имя протагониста (преддицируемый, характеризуемый компонент) и предикатная именная группа (преддицирующий, характеризующий компонент, члены которого находятся в отношениях "определяемое – определяющее") связаны отношениями о с н о в н о г о п р е д и ц и р о в а н и я ("примарной предикации" у П.А. Леканта, "первичного преддицирования" у М.В. Всеволодовой), под которым мы понимаем приписывание признака предмету высказывания посредством двух сопрягающихся компонентов предложения и рассматриваем как фактор, служащий основой формирования высказывания⁵.

Все компоненты высказывания коммуникативно значимы, но по степени важности наиболее коммуникативно значимым элементом является имя признака. Именно такой порядок следования коммуникативных элементов предполагает данную семантико-синтаксическую организацию высказывания, которая определяется выполняемым им коммуникативным заданием.

Это двусинтагменное (коммуникативно членимое) высказывание, состоящее из тематической (субъектной) и рематической (предикативно-атрибутивной) синтагм (ср. классификацию типовых моделей синтагм, предложенную Н.В. Черемисиной [Черемисина 1982]). Все высказывание произносится с нейтральной интонацией, закрепленной за инвертированным порядком слов в реме. Именно такая линейно-интонационная структура высказывания является средством выражения его коммуникативной перспективы, совпадающей с его информативной структурой "известное" – "новое".

Биноминативные предложения характеристики, составляющие актуализационную парадигму, формируются следующими актуализационными механизмами (часто взаимодействующими друг с другом, что и формирует актуализационную парадигму): 1) актуализационная модификация предложений с исходным инвертированным порядком слов в реме; 2) перестановка словоформ внутри рематической синтагмы (инверсия в реме); 3) топикализация одного из компонентов высказывания; 4) темо-рематическая мена; 5) условия дополнительной дистрибуции, влияющие на линейно-интонационную структуру высказывания.

Первоначальный анализ актуализационной парадигмы биноминативных предложений характеристики типа *Андрей – человек умный* позволяет выделить четыре типа коммуникативных задач, отражающих экстралингвистическую ситуацию характеристики.

1. На основе заданного порядка следования компонентов высказывания (характеризуемый протагонист – характеризующая именная группа) интонировать данное высказывание в зависимости от целевой установки.

2. Изменить порядок следования членов характеризующей именной группы в зависимости от коммуникативной установки говорящего и интонировать высказывание.

⁵ Понятие преддицирования в нашем случае по своему содержанию близко понятию характеристики, включающему отношения преддицирования и атрибуции, тесно связанные с коммуникативной структурой высказывания. Отметим, что актуализационная парадигма нередко рассматривается как система видоизменений предложения, различающихся линейно-интонационной структурой и не имеющих выхода в синтаксическую структуру предложения. Между тем, как показывает материал, наличие того или иного члена актуализационной парадигмы может быть обусловлено характером отношений преддицирования, определяющих линейно-интонационную структуру предложения.

3 Представить отношения между членами характеризующей протагониста именной группы и интонировать высказывание

4 Представить отношения между характеризуемым протагонистом (субъектом высказывания) и характеризующей его именной группой (предикатом высказывания) и интонировать высказывание

1 При решении **первой коммуникативной задачи** во всех случаях носителем главного фразового ударения является **и м я п р и з н а к а** Эта коммуникативная задача реализуется в двух коммуникативных разновидностях, имеющих целью

А. Охарактеризовать протагониста с намерением дать о нем ту или иную информацию слушающему

Носитель главного фразового ударения (информативный центр предложения) – имя признака в нерасчлененной реме, произносимой с **н е й т р а л ь н о й** (н и с х о д я щ е й) и н т о н а ц и е й, имя протагониста, произносимое с восходящим второстепенным ударением, находится в фокусе темы, синтагматическое членение (' граница АЧ у В И Бухарина) проходит между именем характеризуемого протагониста и именем отношения – идентификатором, между именем протагониста и предикатной именной группой устанавливаются отношения первичного предикирования **Москва – город большой⁶**. **Здесь проживает более 9 миллионов человек** Например **Медведево – село старинное** И деды не помнят, с чего оно начиналось, откуда пошло название (Г Марков Соль земли), **Липа – дерево удивительное** Есть в нем какая-то мягкая ласка, обаяние (В Быков Дожить до рассвета)

В. Охарактеризовать протагониста с целью каузации последующей или предыдущей ситуации.

В этом случае имя протагониста произносится с восходящим ударением, более сильным, чем в исходной модели, а носитель главного фразового ударения – имя признака произносится а) при последующей каузации – со слабым акцентным выделением **Москва – город большой, и я его искать там не стал** Например **Лиса – зверь хитрый, и я припорошил капкан снегом** (В Солоухин Этюды о природе), **Актеры – люди бескорыстные, они готовы терпеть любые неудобства и лишения если есть подлинное творчество** (Лит газ 21 сент 1993) б) при предыдущей каузации – с сильным акцентным выделением, создающим определенную коммуникативную ауру⁷ **Будь осторожен. В Москве легко заблудиться. Москва – город большой.** Например **Не могу доверить ему это дело Лешка – парень денивыц** (В Викулов Родовое древо), **Суриков, родившийся в Сибири очень любил свой народ Сибиряки – люди крепкие, смелые** (Крестьянка 1996 № 4)

2. Вторая коммуникативная задача также реализуется в двух коммуникативных разновидностях, имеющих целью

⁶ Контрольная модель

⁷ Термин акцентное выделение понимается исследователями неоднозначно как подчеркивание тех или иных частей предложения в зависимости от задач высказывания [Скобликова 1979 10–11] как специальное усиленное ударение отличающееся от фразового функционально [Сушинский 1984 112] или позиционно [Шевякова 1980 75] акцентное выделение часто связывают с эмфазой понимая под эмфазой экспрессивность эмоциональность [Торсуева 1979 19] со свойством выводить высказывание в более широкую прагматическую сферу [Николаева 1982 15] Автором статьи акцентное выделение понимается как выделение при помощи просодических средств компонентов высказывания представляющих особую коммуникативную значимость в результате чего вокруг высказывания создается ореол коммуникативных коннотации Несмотря на то что соотношение акцентного выделения и установленных в интологии типов фразового ударения [Брызгунова 1973] еще не вполне ясно автор статьи считает возможным опираться на критерии предложенные для отграничения акцентного выделения от фактов собственно интонационных которые не имеют коммуникативной ауры не вносят в значение предложения дополнительных компонентов смысла [Николаева 1982 8] Нам важно подчеркнуть, что акцентное выделение является коммуникативным механизмом указывающим на приращение смысла в результате чего устанавливаются определенные смысловые отношения

А. Охарактеризовать протагониста при первом его представлении слушающему

Основным средством решения этой задачи является постановка имени признака в препозицию к идентификатору⁸, при этом акцентно выделяется вся рематическая синтагма, произносимая как одна интонаема *Москва – большой город и туристический центр* Например *Кумыс – вкусный, питательный и целебный продукт, Лимон – прекрасное, декоративное плодовое растение* (Неделя 1994 № 22), ср высказывания, отвечающие на вопрос "что есть что", где предикатное сочетание являет термин или эксплицирует термин *Лаваш – восточный хлеб, Диоксин – синтетическое вещество*

В. Охарактеризовать протагониста с целью усиления достоверности сказанного.

В этом случае носителем главного фразового ударения является собственно рема (имя признака), произносимая с сильным акцентным выделением, что обусловлено ее большей коммуникативной значимостью. Имя протагониста произносится с минимальным восходящим ударением *Ты пользуешься транспортом? – Конечно, Москва – большой город* Например *Хозяйство у него отменное, Андреич – добрый мужик* (Неделя 1995 № 15), *Но любопытно при этом, что герои Платонова – обычные люди* (Лит газ 26 окт 1993)

В ситуации противопоставления наблюдается эмфаза *Дьяков – не опора маленький человек* (А Рыбаков Дети Арбата), *Аппарат Каневича – не сказка, а реальный прибор* (Техн мол 1991 № 2)

3. Третья коммуникативная задача также реализуется в двух коммуникативных разновидностях, имеющих целью

А. Представить тип отношения, существующего между членами характеризующей именной группы в целях обоснования некоторой ситуации (при инвертированном порядке слов в реме *Москва – город большой*)

Средством решения этой коммуникативной задачи является структурное расчленение рематической синтагмы и распределение ее членов по двум синтаксическим позициям идентификатор, принимая на себя восходящее ударение, занимает позицию протагониста в абсолютном начале предложения (топикализуется), а имя признака сохраняет позицию в фокусе ремы, при этом актуализируются оба компонента, имя протагониста, стоящее теперь в интерпозиции (в фокусе темы), произносится с заударной интонацией, сохраняя статус подлежащего (но отступаая в коммуникативном отношении на второй план), а само высказывание произносится как односинтагменное. Механизм вторичного предикирования позволяет здесь сопрягать непосредственно имя отношения (идентификатор) и имя признака, при этом имя отношения является предиклируемым, а имя признака – предиклирующим компонентом *Отпуск решили провести в Москве. Город Москва большой, есть что посмотреть* (Ср высказывания, где сочетание "Город Москва" занимает одну синтаксическую позицию *Город Москва – большой*)

Речка Бечеиха веселая (Л Лубнин), *Судя по всему, человек он энергичный, маститый, и обладал недюжинной силой воли* (Ю Бондарев Горячий снег)

В ситуации противопоставления актуализуемая группа находится в зоне эмфазы, которая здесь констатиatively обусловлена *Город Москва большой, но установить такой мемориал негде* Например *Человек я бедный, но милости еще до сих пор не принимал* (И Тургенев Отцы и дети); *Маслобаза эта тихая, но коллектив живет в напряжении* (Экон газ 12 дек 1993)

⁸ Возможность инверсии в реме говорит о гибкой структуре предиката. Акцентное выделение собственно ремы в рематической синтагме (как при прямом, так и при инвертированном порядке слов) делает последнюю актуально членимой (ср иное понимание членимой синтагмы [Бухарин 1986 38])

Б. Представить тип отношения между членами характеризующей именной группы в целях дальнейшего подтверждения точки зрения говорящего (при прямом порядке слов в реме *Москва – большой город*).

Основное средство решения этой коммуникативной задачи – перенос собственно ремы высказывания (имени признака) в позицию абсолютного начала предложения (что всегда предполагает контекст), где она произносится с сильным нисходящим ударением с акцентным выделением ("эмфатический перенос" у Е.В. Падучевой)⁹, идентификатор принимает на себя фразовое ударение, при этом тема в интерпозиции безударна; все высказывание произносится как односитагменное. Этот член актуализационной парадигмы также формируется механизмом вторичного предцирования. *Б о л ь ш о й М о с к в а г о р о д , с т р о и т с я м н о г о и б ы с т р о*. Например: *Неважный Коля сын. Редко бывает у них.* (Юность. 1994. № 5); *Знаменитый Тула город, хороших мастеров дает спорту* (Сов. спорт. 30 июля 1995).

4. Четвертая коммуникативная задача реализуется в двух коммуникативных разновидностях, имеющих целью:

А. Представить тип отношения между протагонистом и именной группой с целью констатации факта (при инвертированном порядке слов в реме *Москва – город большой*).

При решении этой коммуникативной задачи рематическая синтагма выносится в инициальную позицию, где собственно рема (имя признака) произносится с сильным акцентным выделением, в то время как тема находится в заударной позиции, а само высказывание произносится как односитагменное: *Г о р о д б о л ь ш о й М о с к в а , и в с е с т р о и т с я*. Например: *Парень хороший Петр, добрый* (С. Залыгин. Соленая Падь); *Магазин неплохой "Весна"* (Экон. газ. 25 февр. 1992); *Народ удивительный итальянцы, любого заговорят* (Нов. мир. 1994. № 3).

Б. Представить тип отношения между протагонистом и именной группой с целью подчеркнуть его неординарность (при прямом порядке слов в реме *Москва – большой город*).

Для решения этой коммуникативной задачи высказывание строится следующим образом: рематическая синтагма переносится в изначальную позицию, где собственно рема произносится с сильным акцентным выделением, а идентификатор находится в заударной позиции; высказывание произносится как односитагменное (коммуникативно нечленимое): *Б о л ь ш о й г о р о д М о с к в а . З а д е н ь н е о б ь е х а т ь*. (Ср. также коммуникативно нечленимое предложение, поскольку оно целиком находится в фокусе синтагматического контраста: *Большой город Москва, но Токио еще больше*). Например: *Славный край Сибирь! Богатый, привольный – это тебе всякий скажет* (Е. Федоров. Каменный пояс); *Сколько судеб облегчил он, сколько неудовольствия навлек на себя, святая душа. Мужественный, сердечный человек Жуковский* (Лит. газ. 3 сент. 1994).

В ситуации противопоставления наблюдается эмфаза: *Большой город Москва, а небольшой Иваново* (коммуникативно членимое предложение, где рема – имя протагониста). *Красивая женщина Татьяна Борисовна, а Лена еще красивее*. (Юность. 1995. № 6); *Хорошие существа пиявки, но лекарство лучше* (Л. Мариковский. Тайны мира насекомых).

Попутно отметим, что другим средством решения этой задачи являются употребляющиеся в высказываниях усилительные частицы (или "акцентуаторы", по И.И. Сущинскому, – языковые средства, наделенные свойством подчеркивать, выделять коммуникативную значимость тех или иных элементов речи, представленных словом, словосочетанием, предложением или сложным синтаксическим целым [Сущинский 1984: 51].

⁹ Перенос ремы в абсолютное начало предложения определено Е.В. Падучевой [Падучева 1985] как явление стилистическое, но наблюдения показывают, что такой перенос конситуативно обусловлен.

При введении в рему акцентуатора (усилительной частицы) интонационный рисунок модели меняется: рематическая синтагма произносится как одна интонация; носителем главного фразового ударения становится имя протагониста: *Большой все-таки город – Москва*. Например: *Трудное это растение – киви* (Природа. 1994. № 1); *Древний и славный это род – Волковы* (Юность. 1993. № 4); *Странное все-таки это государство – Панама, если разобраться* (Комс. пр. 3 апр. 1994).

Такова актуализационная парадигма биноминативных предложений характеристики данного типа при первом ее рассмотрении. Что касается высказываний второго типа, в рему которых входят слова-квалификаторы (*Фет – прекрасный поэт; Ахматова – блестящая собеседница*), то в коммуникативном плане их линейно-интонационная структура существенно отличается от линейно-интонационной структуры высказываний рассмотренного выше типа.

В исходной модели актуализационной парадигмы биноминативных предложений типа *Фет – прекрасный поэт* ремой высказывания является предикатная именная группа "имя признака + квалификатор", где в фокусе ремы находятся оба члена рематической синтагмы, произносимой с нейтральной интонацией, закрепленной за прямым порядком слов.

Первоначальный анализ актуализационной парадигмы высказываний этого типа позволяет выявить три типа коммуникативных задач.

1. Охарактеризовать протагониста (одушевленного субъекта высказывания) с целью раскрытия характера его роли в конкретной сфере ее проявления (физической, эмоционально-психической, интеллектуально-творческой, социальной и др.).

2. Охарактеризовать протагониста (одушевленного субъекта высказывания) с целью раскрытия характера его роли в разных сферах ее проявления.

3. Дать протагонисту (неодушевленному субъекту высказывания) объективную специфическую характеристику, связанную с его постоянными систематическими функциями.

1. При решении первой коммуникативной задачи в фокусе ремы находится вся рематическая синтагма, произносимая с нейтральной интонацией; имя протагониста, произносимое с восходящей интонацией, находится в фокусе темы; синтагматическое членение проходит между именем характеризуемого протагониста и именем признака. Например: *Эмиши – искусные фермеры* (Экон. газ. 16 апр. 1995); *В. Бабушкин – незаурядный хирург* (Здоровье. 1992. № 6); *Герои фильма – замечательные актеры* (Иск. кино. 1995. № 3); *Гете – единственный в истории военный министр, который настолько сократил численность своей армии, что практически уничтожил ее* (Лит. газ. 16 нояб. 1994).

Эта коммуникативная задача реализуется в четырех коммуникативных разновидностях, имеющих целью:

А. Дать характеристику протагонисту с намерением подтвердить чье-то мнение.

При решении этой коммуникативной задачи принципиально важным оказывается: а) расположение границы синтагматического членения сложного предложения, в состав которого часто входит биноминативное предложение характеристики; и б) наличие в высказывании различных конкретизаторов. В обоих случаях носителем главного фразового ударения является имя признака, произносимое с акцентным выделением. Например: *Принято считать, / что Томас Манн хороший писатель, / даже классик литературы века* (Ин. лит. 1994. № 4); Ср.: *Томас Манн – хороший писатель*, где рема произносится с нейтральной интонацией; *Разумеется, / на первом плане должна быть культура, / духовность потому, / что дисгармоничный человек плохой работник* (Знание. 1993. № 6). Ср.: *Дисгармоничный человек – плохой работник; И все-таки Амар – действительно опытный табунщик* (Собеседник. 1995. № 11).

Б. Оценить характер роли протагониста с целью дальнейшей ее конкретизации.

Средством решения этой коммуникативной задачи является инверсия в реме, постановка имени признака в постпозицию к квалификатору, где оно произносится с о сла б ы м а к ц е н т н ы м в ы д е л е н и е м. Высказывания этого типа, как правило, конситуативно обусловлены. Например: *Ж. Верн – писатель теплый, домашний, волшебный* (Ин. лит. 1994. № 3); *Цэмбэлдорж – художник монгольский, национальный* (Ин. лит. 1995. № 6); *Кокуркин – руководитель жесткий* (Работница. 1995. № 3).

В. Представить тип отношения между протагонистом и именной группой с целью подвести итог сказанному.

Эта коммуникативная задача решается следующим образом: вся рематическая синтагма переносится в позицию абсолютного начала предложения, где актуализованное имя признака произносится с н и с х о д я щ е й и н т о н а ц и е й (без эмфазы); квалификатор находится в заударной позиции, и все высказывание произносится как односинтагменное. Например: *Интересный композитор Дмитрий Смирнов* (Муз. жизнь. 1996. № 4); *Великий актер Федор Шаляпин* (Крестьянка. 1994. № 1); *Славный работник этот парень* (Лесков. Сибирские картинки XVIII века).

Г. Представить тип отношения между членами рематической синтагмы с целью подчеркнуть характер роли протагониста в той или иной сфере.

При решении этой коммуникативной задачи происходит расчленение рематической синтагмы и распределение ее членов по двум синтаксическим позициям: квалификатор, принимая на себя восходящее ударение, занимает место протагониста в инициальной позиции, а имя признака находится в фокусе ремы, при этом а к т у а л и з и р у ю т с я о б а к о м п о н е н т а; имя протагониста в интерпозиции (в фокусе темы) произносится с заударной интонацией, а само высказывание произносится как односинтагменное. Например: *Может, музыкант Сергей и неплохой, но не дирижер* (Собеседник. 1995. № 12); *В ы д у м щ и к Степан не о б ы ч а й н ы й* (С. Залыгин. На Иртыше); *Р а с с к а з ч и к Афиноген Иванович великолепный* (Ю. Трифонов. Московские повести).

2. Вторая коммуникативная задача реализуется в высказываниях с предикатом, включающим две рематические синтагмы. Здесь выделяются две коммуникативные разновидности:

А. Обе рематические синтагмы, между которыми устанавливаются отношения соединения, содержат в себе положительную оценку протагониста и произносятся:

1) как одна интонаема при прямом порядке слов в реме: *Чуковский – удивительный человек и замечательный писатель* (Огонек. 1993. № 1); *Ростропович – не только гениальный музыкант, но и страстный собиратель русского искусства* (Незав. газ. 5 авг. 1994); *Представители народности эде – смелые охотники и прекрасные дрессировщики* (Наш современник. 1994. № 4); 2) с а к ц е н т н ы м в ы д е л е н и е м к в а л и ф и к а т о р а при инверсии в реме, т.е. инверсия является здесь средством решения коммуникативной задачи, в результате чего и актуализируется квалификатор: *В ее глазах он и доктор отличный и человек простой* (И. Тургенев. Отцы и дети); *Амонашвили – и учитель замечательный и психолог прекрасный* (Изв. 2 окт. 1995); *Андрей – и солдат отличный и водитель хороший* (Красн. звезда. 4 марта 1993).

Б. Между рематическими синтагмами устанавливаются отношения противопоставления, при этом первая из них содержит положительную оценку, а вторая – отрицательную.

В этом случае: 1) при прямом порядке слов в обеих синтагмах а к т у а л и з и р у е т с я к в а л и ф и к а т о р: *Человек – замечательный изобретатель, но*

плохой распорядитель (Наука и жизнь. 1995. № 6); *Л. Толстой – безусловно, великий писатель, гениальный художник, но крайне противоречивый философ* (Нов. мир. 1994. № 5); 2) при инвертированном порядке слов в обеих синтагмах актуализируется имя признака (инверсия и здесь является средством решения коммуникативной задачи): *Редактор, несомненно, руководитель талантливый, но писатель слабый* (Комс. пр. 9 дек. 1995); *По мнению Л. Толстого, Шекспир – писатель хороший, а драматург плохой* (Огонек. 1994. № 5).

3. И наконец, при решении третьей коммуникативной задачи в фокусе ремы находится вся рематическая синтагма, произносимая с нейтральной интонацией и, закрепленной за прямым порядком слов; имя протагониста в фокусе темп произносится с восходящей интонацией; синтагматическое членение проходит между именем протагониста и именем признака: *Новгородская земля – прекрасный консерватор* (Изв. 15 апр. 1994); *Звезды – надежные ориентиры* (Наука и жизнь. 1995. № 5); *Комнатные цветы – отличный очиститель воздуха* (Крестьянка. 1994. № 3); *"Всположный звон" Ю. Нагибина – замечательный путеводитель по столице* (Комс. пр. 6 сент. 1997). Высказывания с неодушевленным протагонистом имеют неполную актуализационную парадигму, имеющую ограниченное число ее членов.

Характерным для высказываний этого типа является наличие в рематической синтагме *р е л я т у м а* (имя компонента, к которому направлено отношение), не оказывающего, однако, влияния на интонационный рисунок высказывания: *Тула – признанный центр велосипедного спорта* (Сов. спорт. 22 июня 1994); *Универсальная стенка – отличный тренажер для лазания* (Техн. молодежи. 1995. № 4); *Заповедник – родной дом для животных* (Л. Жолмухамедов); *Больница – последнее пристанище для таких стариков* (Комс. пр. 20 сент. 1997).

Введение же в рему высказывания конкретизаторов (в частности, отрицательной частицы "не") с целью выделения данного протагониста из числа других протагонистов или, наоборот, приравнивания его к другим протагонистам изменяет интонационную модель высказывания: *Наша школа – не типичное для США учебное заведение* (Лит. газ. 14 окт. 1993); *"Живерт" – не единственная здравница в Ара-Ханган* (Кавк. здравница. 1990. № 2); *Эта организация – не постоянный наш спонсор* (Экон. газ. 28 дек. 1994).

Среди высказываний, решающих данную коммуникативную задачу, частотны и предложения с двумя рематическими синтагмами, между которыми также устанавливаются отношения соединения и противопоставления, но произносимыми с нейтральной интонацией, закрепленной только за прямым порядком слов в реме, темо-рематической мены здесь не отмечается. Например: *Россия – наш общий союзник и отличный партнер* (Огонек. 1994. № 6); *"Мир моды" – интересный собеседник и добрый советчик* (Моск. пр. 15 февр. 1996); *Пекинский институт иностранных языков – не только учебное заведение, но и крупный научный центр* (АиФ. 1993. № 34); *Беловежская Пуца – не только чрезвычайно важный эталон природы, но и уникальная природная лаборатория*.

Таким образом, наблюдения за выделенными актуализационными разновидностями позволяют сделать вывод о том, что: 1) актуализационная парадигма биноминативных предложений характеризации представляет собой совокупность предложений, различающихся по линии реализации отношений предцирования, т.е. порядком слов и интонацией; 2) актуализационная парадигма формируется за счет: а) постановки в фокус ремы определенного для каждого типа задач компонента предложения, часто с его акцентным выделением; б) изменения словопорядка и места синтагматического членения; в) условий дополнительной дистрибуции; 3) состав актуализационной парадигмы определяется количеством имен денотативных участников ситуации, а также содержанием отражаемой ситуации. Максимальный состав актуализационной парадигмы биноминативных предложений характеризации – 16 ее членов; 4) все

видоизменения предложения обусловлены выполнением определенного коммуникативного задания; 5) выбор модели предложения зависит от конкретной коммуникативной задачи говорящего; 6) каждая коммуникативная задача передается несколькими коммуникативными разновидностями, реализующимися в актуализационных вариантах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адамец П 1966 – К вопросу о синтаксической парадигматике // СР. XI. 1966 № 2
- Белошапкова В А , Шмелева Т В 1981 – Деривационная парадигма предложения // Вестн. МГУ. Сер.: Филология. 1981 № 2
- Брызгунова Е А 1973 – Основные типы интонационных конструкций и их употребление в русском языке // Русский язык за рубежом. 1973. № 1.
- Бухарин Н И 1986 – Коммуникативный синтаксис в преподавании русского языка как иностранного. М., 1986
- Всеволодова М В . Яценко Т А 1988 – Причинно-следственные отношения в современном русском языке М , 1988
- Всеволодова М В 1989 – Коммуникативные механизмы языка // Вопросы коммуникативно-функционального описания синтаксического строя русского языка. М., 1989
- Головин Б П 1969 – К вопросу о парадигматике и синтагматике на уровнях морфологии и синтаксиса // Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействия. М , 1969.
- Грабе В 1966 – Общее значение синтаксической конструкции и трансформация // СР. XI. 1966. № 2.
- Золотова Г А 1982 – Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
- Ломтев Т П 1972 – Предложение и его грамматические категории. М., 1972.
- Николаева Т М 1982 – Семантика акцентного выделения. М., 1982.
- Падучева Е В 1985 – Высказывание и его соотносительность с действительностью. М., 1985.
- Располов И П 1969 – Несколько замечаний о синтаксической парадигматике // ВЯ. 1969. № 4
- Скобликова Е С 1979 – Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. М., 1979
- Сущинский И И 1984 – О функциях акцентуаторов // ФН. 1984. № 4.
- Торсуева И Т 1979 – Интонация и смысл высказывания. М., 1979.
- Черемисина Н В 1982 – Русская интонация: Поэзия. Проза Разговорная речь. М., 1982.
- Шведова Н Ю 1967 – Парадигматика простого предложения в современном русском языке // Русский язык Грамматические исследования. М., 1967.
- Шевякова Б Е 1980 – Современный английский язык. М., 1980.

© 1998 г. А.Н. ПЕЧНИКОВ

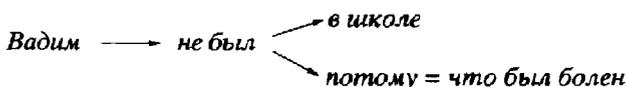
**СПОСОБЫ СВЯЗИ ПРЕДИКАТИВНЫХ ЕДИНИЦ
В РУССКОМ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ**

Сложное предложение для исследователей оказалось крепким орешком. Нет ответа на вопрос, является ли "сложное предложение" самостоятельной языковой единицей или же подразделения "простое предложение", "осложненное предложение" и "сложное предложение" есть ступени осложненности структуры единого "предложения" – абсолютно высшей единицы в иерархической системе языковых единиц, которая выполняет коммуникативную функцию и характеризуется смысловым единством, единорасчлененностью структуры и интонационной завершенностью. (Впрочем, сами понятия "языковая единица", "иерархическая система языковых единиц" не принадлежат к числу строго определенных). Классификация сложных предложений по выделенным исследовательской практикой параметрам: минимальное – полипредикативное, сложносочиненное – сложноподчиненное, открытой структуры – закрытой структуры, одночленное (нерасчлененное) – двучленное (расчлененное), гибкой структуры – негибкой структуры – во многих случаях затруднена ввиду нечеткого определения оснований. Продолжаются поиски новых путей в изучении сложного предложения. В.А. Богородицкий считал, что при исследовании придаточных предложений нужно иметь в виду, к чему они относятся [Богородицкий 1935: 230]. В.В. Виноградов писал: "Было бы осторожнее вместо сочинения и подчинения предложений говорить (как это предлагал акад. А.А. Шахматов) о разных видах сцепления предложений и о разных степенях их зависимости" [Виноградов 1947: 708].

В данной статье рассматриваются способы связи предикативных единиц в сложноподчиненном предложении. Как бы комментируя приведенную рекомендацию В.В. Виноградова, И.П. Распопов писал: "Единственным общим и констатирующим такие [сложноподчиненные. – А.П.] предложения фактором является в конструктивном плане наличие определенным способом фиксируемой связи между составляющими их частями. Поэтому именно в данном пункте и нужно искать главное основание для целесообразной классификации сложноподчиненных предложений" [Распопов 1979: 46]. Анализ структуры сложноподчиненного предложения показывает, что в нем проявляются два способа связи предикативных компонентов. Они могут быть проиллюстрированы примерами:

- 1) *Вадим не был в школе потому, что был болен.*
- 2) *Вадим не был в школе, потому что был болен.*

Специфика первого предложения в том, что в его главной предикативной единице имеется указательное местоименное слово, смысловое содержание которого раскрывается придаточной частью¹ и в непосредственную связь с которым придаточная часть вступает:



¹ Ф.Ф. Фортунатов определял придаточное предложение как такое, которое "образуется не само для себя, но для другого предложения, с которым оно сочетается" [Фортунатов 1956: 188].

(знак равенства передает тождество смысла указательного слова и придаточной части). Широко, однако, распространено утверждение, что придаточная часть связывается непосредственно с знаменательными словами (глаголом, существительным и др.) или же с сочетанием знаменательного и указательного слов, находящимися в главной части; см., например [Русская грамматика 1980; Крючков, Максимов 1977]. Такому видению связей, несомненно, способствуют возможность нулевого выражения указательных компонентов. Реальные связи на стыке предикативных единиц в предложениях рассматриваемого типа таковы: в границах главной части знаменательное слово *п о д ч и н я е т* местоименное слово, последнее же и придаточная предикативная единица связываются отношением неонтологического характера, а именно *п о я с н и т е л ь н ы м* отношением, так что, строго говоря, здесь нет непосредственной подчинительной связи придаточной части с главной, хотя предложение традиционно называется сложноподчиненным.

Предложения данного типа употребительны в том случае, когда для заполнения какой-либо синтаксической позиции в главной части требуется развернутое описание ситуации [Богородицкий 1935: 230], о котором и предупреждает указательное местоимение. "Такие развернутые члены предложения, получающие вид подчиненных предложений, обладают большими возможностями детализации высказываемой мысли, чем простые, хотя бы и распространенные членения предложений, передаваемые синтаксическими группами" [Мещанинов 1978: 218]. Без придаточной части главная предикативная единица не имеет смысловой завершенности, в силу чего придаточная часть регулярна (обязательна). Предложения рассматриваемого типа Н.С. Пospelов определил как одночленные (нерасчлененные) – в том смысле, что главная и придаточная части в них образуют единое высказывание [Пospelов 1950, 1959]. Позицию придаточной части в этом случае можно определить как присловную, если иметь в виду: при дейктическом слове. О сложноподчиненных предложениях данного типа говорят, что они "вырастают" из простого предложения. Но этот процесс нельзя представлять как реализацию синтаксической потенции одного из членов предложения, дело обстоит иначе: к указательному местоимению примыкает "придаток", описывающий ситуацию, на которую местоимение указывает.

Указательное местоимение, являющееся членом главной предикативной единицы, и раскрывающая его содержание придаточная часть образуют блок (*потому = что был болен*). Значение придаточной части в практике анализа, естественно, определяется по синтаксической роли указательного местоимения в главной части: если, к примеру, указательное слово является дополнением, то и придаточная часть, его раскрывающая, квалифицируется как дополнительная. Таким образом, блок представляет собой функциональное единство. Давняя исследовательская традиция [Буслаев 1959] рассматривает придаточную часть как развернутый член главной части. Бесспорно, придаточная часть включается в главную, поскольку она раскрывает содержание указательного слова, находящегося в главной части. Однако в качестве развернутого члена главной части правомерно считать не одну предикативную часть, а весь блок "указательное местоимение = придаточная часть" [*не был (почему?) потому = что был болен*], в рамках которого через выражение тождества смысла левой и правой стороны и срабатывает механизм в к л ю ч е н и я придаточной части в главную. Правильность этого положения подтверждается тем, что при возможности трансформации сложного предложения в простое именно этот блок, а не придаточное предложение заменяется обычными членами предложения [*Он → не был → по болезни*; ср. также: *Он боялся запачкать то, что переполняло его душу* (Л. Толстой, Анна Каренина, т. I, X) – *Он → боялся → запачкать → переполнявшее → душу → его*].

Как многократно отмечалось в литературе, предложениям, построенным по способу включения придаточной части в главную, свойственны двусторонние средства связи: указательное местоимение в главной части и относительное местоимение (или союз) в

придаточной. которые вступают в "симметричное" или "асимметричное" [Распопов 1981: 534] соответствие между собой (*то – что, тот – кто, тот – который, такой – какой, так – как, тогда – когда, так – чтобы, столько – что, для того – чтобы, туда – где* и т.д.).

Указательные (соотносительные) компоненты в главной части могут иметь нулевое выражение; не будет преувеличением сказать, что они "опускаются" в значительной доле случаев. Происходит это (в силу действия закона экономии речевых усилий) при том условии, если указательные местоимения "подсказываются" союзными словами (союзами) или сопоставлением смыслов предикативных единиц. Так, при союзе *что* обычно нулевое выражение указательного местоимения *то* в наиболее частотном случае употребления союза – в сложном предложении с придаточным изъяснительным (*Предполагаю, что он прав*), но всегда словесно выражаются соотносительные компоненты в соответствиях *так – что, такой – что, столько – что, потому – что* и др. В принципе нулевое выражение соотносительного слова всегда можно заменить материальным выражением (*Предполагаю (то), что он прав*). Этому явлению дает обоснование С.О. Карцевский: "Одно из двух объединенных предложений имеет в качестве знака *t*, индексом другого служит *k*... Поскольку нет необходимости в том, чтобы каждое из связанных предложений имело позитивный [эксплицитный] знак своей функции, *t* обычно опускается, если только оно специально не подчеркивается" [Карцевский 1961: 126]. (Кстати, изучение условий материального/нулевого выражения дейктических компонентов в сложноподчиненном предложении могло бы представить интерес в целях выявления стилистической нормы.)

"Пропуск" указательного компонента в главной части свидетельствует не об отсутствии его в семантической структуре предложения, а лишь о его нулевом выражении в условиях эллиптической конструкции. В исследовательской же практике нередко формальное отсутствие соотносительного слова в условиях эллиптической структуры принимается за его фактическое отсутствие. И.П. Распопов различал по отсутствию/наличию указательных слов в главной части "несоотносительную" и "соотносительную" связь, что, бесспорно, соответствует положению дел в языке. Однако среди предложений с "несоотносительной" связью у него оказались и те, в семантической структуре которых указательный компонент отсутствует (*Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами*. Пушкин), и те, в которых он есть, но передан нулевым способом и может быть выражен словесно без изменения смысла предложения (*Я не знал (о том), что он уже приехал*) [Распопов 1981: 530].

Проанализируем один из примеров, причисленных упомянутым автором к предложениям с "несоотносительной" связью – *Он приехал к нам, когда все уже были в сборе*. Вероятно, целью этого предложения является не утверждение факта приезда определенного лица, что вытекает из буквального понимания главной части, а сообщение о приезде лица в определенное время (*Он приехал к нам (тогда), когда все уже были в сборе*). Иначе говоря, если главную часть, взятую как она есть в рассматриваемом сложном предложении, употребить отдельно от придаточной части, ее смысловое содержание не совпадает с тем содержанием, которое она имеет в сложном предложении. Знание о факте приезда лица предшествует содержанию сложного предложения, в котором теперь выражается новая информация – о времени приезда лица. Если же главную часть воспринять буквально – как утверждение о приезде лица, то сообщение о времени приезда получит добавочный, присоединительный характер [(*Все же*) он приехал к нам – (но; правда) (тогда), когда все уже были в сборе]. Но это будет предложение уже с иным способом связи предикативных единиц.

Другой пример. В предложении *Солнце давно уже встало, когда Рудин пришел к Авдюхино пруду* (И. Тургенев. Рудин), по мнению Н.С. Поспелова, "каждая часть имеет самостоятельное коммуникативное назначение" [Поспелов 1959: 26]. Но так ли

это? Думается, что главная часть в нем не имеет информативной завершенности, поскольку имеет нулевой указательный компонент *Солнце давно уже встало (к тому времени), когда Рудин пришел к Авдюхиному пруду* или (при разрыве главного предложения придаточным) *(Тогда к тому времени) когда Рудин пришел к Авдюхиному пруду солнце давно уже встало* В В Виноградов, сопоставляя главную часть сложного предложения *Я знал, что он не придет* с предложениями *Я знал его характер, Я знал о его намерении прийти*, счел, что она "представляет своеобразно препарированную часть простого предложения" [Виноградов 1975 290], ср *Я знал (о том) что он не придет* Пример В В Виноградова отличается от рассмотренных выше тем, что в нем указательное слово соединяется с глаголом на основе сильной связи (*знал о том*), ср в предшествующих примерах *приехал тогда, пришел к тому времени* (слабая связь), но сути дела это не меняет Формальным показателем неполноты главной части во всех приведенных примерах является то, что она произносится с повышением голоса, предупреждающим, что за ней должно следовать придаточное предложение Вопрос в том, признавать ли ее самостоятельной коммуникативной единицей Таковой в этом случае является все сложное предложение, как и считал это Н С Пospelов Из сказанного можно сделать вывод нулевое выражение соотносительного слова не привносит никаких функциональных, семантических и структурных изменений в характеристику сложноподчиненного предложения, построенного по способу включения придаточной части в главную

Способу включения придаточной части в главную противостоит другой способ связи предикативных единиц в сложноподчиненном предложении, который в начале статьи был представлен примером *Вадим не был в школе, потому что был болен* Как уже было отмечено, рассмотренное выше предложение *Вадим не был в школе потому что был болен*, построенное по способу включения, могло возникнуть при том условии, если сам факт отсутствия Вадима в школе участникам речи известен То есть последовательность развития сюжета здесь такова *Вадим не был в школе Вадим не был в школе потому, что был болен* С точки зрения актуального членения, в этом сочетании "новым" первого предложения является *не был в школе*, а второго – *потому, что был болен* Подобные построения, столь расточительные по средствам выражения, редки Приведем другие примеры *Она все еще говорила, что уедет от него но чувствовала, что это невозможно, это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его* (Л Толстой Анна Каренина, ч I, IV), *Но он сказал не совсем правду А сказал он так потому, что это было выгоднее ему* (А Фадеев Молодая гвардия, ч I, гл 15) Смысловая близость и сюжетная последовательность двух сообщений позволяют слить их в одно предложение *Вадим не был в школе – а не был он в школе потому, что был болен* Первая часть в этих сложных построениях – простая предикативная единица, вторая – сложноподчиненное образование (по способу включения), которое сообщает нечто новое по поводу содержания первой части, распространяя ее Функция распространения придает второй части присоединительный характер (что во всех примерах условно передаем знаком тире)

В подобных конструкциях, как видно из примеров, в главной предикативной единице второй части повторяется первая часть (*Вадим не был в школе*), это повторение теперь играет роль "данного" второй части В речи подобные излишества избегаются и состав "данного" второй части – частично или полностью – выражается нулевым способом См примеры *Вадим не был в школе – не был потому, что был болен, И все-таки я буду говорить о национальном идеале Это для меня важнее – важнее еще и потому что вдруг я найду единомышленников, а это так важно!* (Д С Лихачев Тире в данном примере Д С Лихачева)

Чаще всего в главной предикативной единице присоединенной части словесно выраженным остается лишь указательный компонент, который – в блоке с прида-

точной единицей – представляет "новое" второй, присоединенной части *Вадим не был в школе – потому что был болен* Обратим внимание на то, что запятая между *потому* и *что* в данном случае обычно не употребляется (оправданно ли – другой вопрос), но она ставится, если к соотносительному слову относятся частицы (отрицательные, усилительно–выделительные), а также вводные группы См примеры *Машенька заговорила об отце – и не только потому, что дальше молчать уже становилось неловко* (В Каверин *Исполнение желаний*, ч I, гл б), *Он напился очень быстро – и тоже не потому что ему хотелось, а от застенчивости, которую старался преодолеть* (Там же *Тире* в обоих примерах В Каверина)

Примечательны случаи постановки запятой без наличия частиц при указательном слове с употреблением *тире* между главной и присоединенной частью *И сердце вновь горит и любит – оттого, что не любить оно не может* (А Пушкин *"На холмах Грузии"*, *Приходится снова возвращаться к этим давно уже разрешенным вопросам – потому что гораздо позже в XX веке, стали появляться работы в которых уже подлинному пушкинскому тексту "Памятника"* приписывался тот самый смысл который стремился придать ему Жуковский своими переделками (С Бонди *Памятник*), *Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами, и засмеялся – оттого, что у отца рыжие усы затопорщились над губой, как сибирьки, из каких маманька венки вяжет а под усами смешно шлепают губы и рот раскрыт круглой черной дыркой* (М Шолохов *Нахаленок*), *Для меня же он [Некрасовский вечер] был настоящим праздником – и потому, что я в нем участвовал, и потому, что все это было так интересно и необычно* (М Исаковский *На Ельнинской земле*)

Присоединительный характер связи позволяет отделить (парцеллировать) вторую часть от первой, например *Если день прошел без детской шалости – чаще всего умной, действительно творческой, – меня угнетает скука* *Потому что нет того оселка на котором воспитателю можно оттачивать свое мастерство, созидая человека* (В Сухомлинский) *Он был мягкий, просвещенный человек, но его почему-то полагалось бояться* *Может быть, потому, что он сидел в высоком кабинете с портретом хирурга Пирогова, лепными потолками и красным ковром* (К Паустовский *Повесть о жизни*, кн I, Кишата)

При рассмотрении данного способа связи предикативных единиц не следует упускать из виду, что здесь речь идет о соединении простой (*Вадим не был в школе*) и сложноподчиненной части (*а не был он в школе потому, что был болен*), построенной по способу включения Первая часть – в противоположность главной предикативной единице второй, присоединяемой части – не имеет требующего раскрытия указательного местоимения, характеризуется смысловой полнотой, следовательно, не нуждается в обязательном придаточном предложении (она произносится с понижением голоса) и, будучи употребленной без присоединенной части, способна быть самостоятельной коммуникативной единицей Присоединяемая же часть, состоящая из двух предикативных единиц, выступает самостоятельной единицей, взятая в целом Поскольку "данное" присоединяемой части повторяет информацию первой части, оно, как уже было отмечено, частично или полностью может быть опущено Так, в предложении *Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней* (Л Толстой *Анна Каренина*, ч I, XVIII) главная предикативная единица в присоединенной части опущена полностью, включая указательное местоимение (в подобных случаях можно говорить о нулевом предложении") Частичная неполнота здесь могла бы иметь такой вид *Каренина опять вошла в вагон – (вошла для того или для того), чтобы проститься с графиней* При нулевом выражении "данного" в присоединяемой части создается впечатление, что его "новое" связано непосредственно с первой частью как ее второе "новое" Н С Поспелов относил такие предложения к двучленным (расчлененным) в которых каждая предикативная единица может стать самостоятельной в коммуникативном плане

Как известно, Н.С. Пospelов с одночленностью и двучленностью структур связывал определенные типы сложноподчиненных предложений, относя к первым "присубстантивно-определятельный", "местоименно-соотносительный" и "присказуемо-изъяснительный" типы, а ко вторым – "конструкции, выражающие причинно-следственные, временные, условные и уступительные отношения" [Пospelов 1959: 27]. Это соответствие подчеркивают также М.И. Черемисина и Т.А. Колосова: делению сложноподчиненных предложений по принципу "более тесной" (в одночленных) и "менее тесной" связи предикативных единиц (в двучленных), по их мнению, "соответствует еще одно важное функционально-семантическое различие, которое определяется соотносительностью придаточной части этих предложений с типологически разными синтаксическими функциями" [Черемисина, Колосова 1987: 97, 105]. Это положение, на наш взгляд, требует уточнения. Дело в том, что предложения с придаточными разных типов могут строиться и (1) по способу включения придаточной части в главную (если придаточная часть необходима), и (2) по способу присоединения придаточной части к главной (если придаточная часть факультативна). Покажем это на примерах:

с придаточным подлежащим: (1) *...кто ищет, тот всегда найдет!* (В. Лебедев-Кумач. Веселый ветер);

с придаточным сказуемым: (1) *Впечатление было такое, какого он хотел* (А. Макаренко). Поскольку подлежащее и сказуемое являются необходимыми членами предложения, в случае выражения их указательными местоимениями придаточные части, раскрывающие содержание этих местоимений, могут иметь только регулярный, но не факультативный (присоединительный) характер;

с придаточным дополнительным: (1) *Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память?* (С.Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука. Вступление); (2) *Я стал интересоваться им [отцом] и вот уже кое-что узнал о нем: то, что он никогда ничего не делает...* (И. Бунин. Жизнь Арсеньева, кн. I, IV);

с придаточным определятельным: (1) *Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать* (И. Ильф, Е. Петров, Двенадцать стульев, ч. II, гл. 22); (2) – *А из Казани гости бывали?* – с улыбкой спросила Фленушку Настя. – *Были из Казани, да не те, на кого ты думаешь* (А. Печерский, В лесах, кн. I, ч. I, гл. 4);

с придаточным образа действия: (1) *Елена ни разу не поговорила с Инсаровым так, как бы она хотела...* (И. Тургенев, Накануне, XIII); (2) – *Семья, наконец, семья, так, как она существует у наших крестьян!* – закричал Павел Петрович (И. Тургенев. Отцы и дети, X);

с придаточным степени: (1) *Расширенные и притом неодинаковой величины зрачки были так велики, что глаза вместо серых казались черными* (А. Куприн. Молох); (2) *Не такой уж я грамотный, чтобы в партии состоять,* – тихо ответил Островнов, так тихо, что, кроме сидевших рядом с ним, никто в школе не расслышал, что он сказал (М. Шолохов. Поднятая целина, кн. I, гл. XXIII);

с придаточным места: (1) *...всякий хозяин поселился там, где ему угодно...* (С. Аксаков, Детские годы Багрова-внука. Дорога до Парашина); (2) *Крайнев шел через степь, туда, где начинал светлеть от восходившей луны край неба* (В. Попов. Сталь и шлак, гл. 52);

с придаточным времени: (1) *Рассказывал он превосходно, изображая все в лицах, в быстрых переменах голоса. Можно было заслушаться его и тогда, когда он читал...* (И. Бунин. Жизнь Арсеньева, кн. I, XII); (2) *Та сосредоточенность и убитость, которую заметил Пьер во взгляде князя Андрея, теперь выражалась еще сильнее в улыбке, с которою он слушал Пьера, в особенности тогда, когда Пьер говорил с одушевлением радости о прошедшем или будущем* (Л. Толстой. Война и мир, т. 2, ч. 2, XI);

с придаточным причины: (1) *Стоит ли отказываться от трудного дела только потому, что оно трудное?* (Ю. Крымов. Танкер "Дербент". Командиры, VI); (2) *Следует почаще менять девочек на посту, потому что к вечеру мороз крепчает* (Б. Полевой. Свои);

с придаточным цели: (1) – *Кто знает? Может быть, ты с тем сюда забрался, чтоб раздавить меня.* – шипит ему змея (И. Крылов. Змея и Овца); (2) *Потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотой вечера* (И. Тургенев. Отцы и дети, гл. XX);

с придаточным условия: (1) *Я вам оставляю свой адрес на случай, если выйдет история* (И. Тургенев); (2) *Выбирайте... кого угодно, лишь при условии, что этот человек не будет лишен государственного разума* (М. Шолохов)²;

с придаточным уступки: (1) *Несмотря на то, что Чехов стоял в литературе уже высоко, занимая свое особое место, он все же не отдавал себе отчета в своей ценности* (И. Бунин); (2) *За моей тележкой четверка быков тащила другую как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена* (М. Лермонтов. Герой нашего времени, ч. I. Бэла).

Дискуссионным остается вопрос о средствах связи предикативных единиц в сложно-подчиненном предложении. В частности, отмечается неясность статуса соотносительного слова в главной части [Черемисина, Колосова 1987: 103]. Представляется бесспорным, что это обычный член предложения, поскольку соотносительное слово, замещая ту или иную знаменательную часть речи, передает ее категориальное (частеречное) значение и, обладая набором синтаксических форм, свойственных замещаемой части речи, обеспечивает выражение того отношения, которое оно замещает в связи со стержневым словом. Что же касается смыслового содержания, скрытого местоименностью, то оно раскрывается регулярно следующим за дейктическим компонентом придаточным предложением.

Широко распространено мнение, что соположение указательного местоимения (в главной части) и относительного местоимения или союза (в придаточной) образует составной союз, к каковым относят *в то время как, с тех пор как, потому что, для того чтобы, несмотря на то что* и множество других. Если принять это решение, то составными союзами надо объявлять и такие соответствия, как *то, что; такой, какой; так, как* (при выражении образа действия); *там, где; туда, куда; тогда, когда; так, что* (при выражении степени признака) и многие другие, однако никто этого не делает. Думается, что сращения двусторонних средств связи в составной союз во всех приведенных случаях не происходит – как при построении сложного предложения по способу включения, когда между правой и левой частями соответствия ("скрепы") интуитивно ставится запятая, так и при построении по способу присоединения, когда запятая обычно не ставится. И указательные, и относительные слова в сложном предложении сохраняют свою местоименную природу.

Сказанное не отрицает наличие в сложном предложении составных союзов. К таковым относятся *так как* (причинный), *так что* (следственный), *в то время как, между тем как* (сопоставительные). Их отличие в том, что *t*-компонент в них утратил роль члена предложения и свою синтаксическую функцию; главная предикативная часть, за которой следует составной союз, представляя собой самостоятельную коммуникативную единицу, не требует присутствия указательного слова. В примере *Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли...* (С. Аксаков. Детские годы Багрова-внука. Последовательные воспоминания) слитный союз *так что* выражает отношение следствия; расчленение его (*Дом стоял на косогоре так, что...*) меняет статус *t*-компонента: он предстает соотносительным местоименным наречием в роли обстоятельства образа действия.

² Оба примера взяты из книги [Русская грамматика 1980].

В заключение повторим основные положения статьи.

1. Структуры, называемые "сложноподчиненными предложениями", конструируются двумя существенно отличными друг от друга способами связи частей. В одном случае речь идет о предложениях, в которых тот или иной смысловой компонент передается не словом, а развернутым описанием ситуации, т.е. предикативной единицей. Введение ее в предложение предваряется действительным словом, являющимся членом предложения, смысловое содержание которого раскрывается этим включаемым "придаточным предложением". Связь между указательным местоимением и придаточной частью является пояснительной. В подчинительную связь придаточная предикативная единица не вступает ни с предложением в целом, ни с его отдельным знаменательным словом.

2. Указательное местоимение и придаточная предикативная часть составляют функционально единый блок, который в коммуникативной структуре предложения может занимать позицию как "нового", так и "данного".

3. При втором способе связи к первой, исходной предикативной единице (коммуникативно самостоятельной) присоединяется сложноподчиненное образование, построенное по способу включения, в котором главная предикативная единица, повторяя информативное содержание исходной коммуникативной единицы, играет роль "данного" присоединенной части. Это "данное" обычно получает нулевое выражение, а его "новое" (придаточная единица) присоединяется к первой, исходной части как бы на правах ее факультативного второго "нового".

4. Связь частей сложноподчиненного предложения имеет двусторонние средства: соотносительное слово в главной части и относительное местоимение или союз в придаточной. Нулевое выражение указательных (соотносительных) слов (оно во всех случаях может быть заменено словесным) не меняет структуры и смысла предложения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Богородицкий В А* 1935 – Общий курс русской грамматики М.; Л., 1935.
Буслаев Ф И 1959 – Историческая грамматика русского языка. М., 1959.
Виноградов В В 1947 – Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.; Л., 1947.
Виноградов В В 1975 – Избранные труды. Исследования по русской грамматике М, 1975
Карцевский С О 1961 – Бессоюзие и подчинение в русском языке // ВЯ 1961. № 2.
Крючков С Е, Максимов Л Ю 1977 – Современный русский язык Синтаксис сложного предложения М, 1977.
Мещанинов И И 1978 – Члены предложения и части речи. Л, 1978.
Поспелов Н С 1950 – О грамматической природе сложного предложения // Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950.
Поспелов Н С 1959 – Сложноподчиненное предложение и его структурные типы // ВЯ. 1959 № 2.
Распов И П 1979 – Дихотомическая классификация так называемых сложноподчиненных предложений // ФН. 1979. № 6.
Распов И П 1981 – Синтаксис // Современный русский литературный язык / Под ред Н М Шанского Л, 1981
Русская грамматика 1980 – Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. М., 1980.
Фортунатов Ф Ф 1957 – Избранные труды. Т. 2. М., 1957.
Черемисина М И, Колосова Т А 1987 – Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск, 1987.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1998 г. А.В. БАРАНДЕЕВ

"КНИГА БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ"

(к 370-летию памятника)

Среди оригинальных произведений русской деловой письменности XVII в. "Книга Большому Чертежу" (далее – КБЧ) без преувеличения занимает уникальное место. Такой статус памятника обусловлен временем и условиями его появления, а также характером назначения и содержания.

Возникновение КБЧ отражает важный этап в развитии картографии – самостоятельной отрасли русской практической географии XVI–XVII вв. Задачи административного управления; учет земельных владений, который не прекращался в течение XVII в. [Веселовский 1951]; вопросы обороны границ Русского централизованного государства; развитие торговых и дипломатических отношений с державами иностранными – все это требовало составления надежных графических изображений различных территорий. На Руси такие изображения традиционно именовались *ч е р т е ж а м и*, поскольку вычерчивались вручную.

Исследователи предполагают, что элементарные чертежи существовали на Руси уже в XIII–XIV вв., хотя ни один из них, к сожалению, не сохранился. Тем не менее косвенные упоминания о первых чертежах встречаем в инвентарных росписях архивов Ивана Грозного и Посольского, Разрядного и Тайного приказов. Например, "Чертежи же розных государств, ветхи добре, распались, розобрать имянно и написать не мочно" [Описи... 1960: 136]. Естественно, что ручной, почти бестиражный характер изготовления древних чертежей и частые для того времени войны и пожары не могли обеспечить длительную сохранность этих ценных произведений отечественной картографии. В странах Западной Европы, благодаря пионерской практике фламандского картографа XVI в. Г. Меркатора, стал распространяться способ изготовления географических карт путем гравирования изображения на меди и переноса его на бумагу, что позволяло получать большие тиражи карт. Однако на русской почве в допетровскую эпоху этот способ развития не получил.

Самый древний из дошедших до нас русских рукописных чертежей с элементарным текстом датируется, по оценке В.С. Кусова, 1536 годом. К настоящему времени, "несмотря на утрату значительного числа отечественных картографических памятников, учтено 1173 чертежа. Из них 21 чертеж пока не обнаружен" [Кусов 1989: 5, 8]. Картографическое наследие Древней Руси представляло большую ценность не только для русских книжников, активно продвигавшихся в познании географического устройства своей Родины, но и для иностранных послов, купцов и путешественников. Не случайно поэтому некоторые чертежи дарились русскими царями именитым иностранцам, воспринимавшим их как редкий подарок. Западноевропейские картографы широко использовали русские чертежи для составления карт Московии, географию которой они знали весьма приблизительно [Рыбаков 1974].

Вершиной отечественной картографии на рубеже XVI–XVII вв. стала генеральная

карта всего Московского государства Большой Чертеж", созданная на основе "старого" и "нового" чертежей, но, к сожалению, не сохранившаяся В начале XVII в царская администрация санкционирует работы по упорядочению и обновлению корпуса картографических материалов, без чего невозможно было обеспечить надежную оборону границ Русского государства и наладить станичную, сторожевую и посольскую службу В таком историческом контексте появилась КБЧ, 'построенная' в 1627 г в Разрядном приказе как словесное описание карты "Большой Чертеж" В связи с этим обратим внимание на характерную форму названия памятника – 'Книга Большому Чертежу' (дательный падеж принадлежности, употреблявшийся в древне-русском языке в этой функции наряду с родительным) Однако конкуренция этих падежей для выражения принадлежности закончилась победой родительного падежа поэтою нередко в литературе XVIII–XX вв (и даже во втором издании БСЭ) название памятника встречается в форме родительного падежа – Книга Большого (Большого) Чертежа', что нельзя считать исторически правильным

С момента своего появления КБЧ приобрела особый, официальный статус, поскольку была создана по социальному государственному заказу, о чем свидетельствует своеобразное предисловие к памятнику "По государеву цареву и великого князя Михаила Феодоровича всеа России указу сыскан в Розряде старои чертеж всему Московскому государству < > И тот старои чертеж ветх, впредь по нем урочищ смотреть не мочно, избился весь и розвалился А зделан был тот чертеж давно при прежних государех И в Розряде дьяки, думной Федор Лихачев да Михаило Данилов, велели [кому? курсив наш – А Б], примерясь к тому старому чертежу, в тое ж меру зделать новои чертеж всему Московскому государству по все окресные государства < > И против чертежные подписи урочищам и книгу написать, и в книге и в чертеже знамя мере верстам положить по прежнему, как была мера < > в старом чертеже положена" [Книга 1950 49–50]

В соответствии с 'государевым указом' предполагалось не только обновить старые чертежи и составить новые, но и сделать словесное описание этих чертежей, обеспечив таким образом их длительную сохранность как важных документов для 'государевой службы посылок' КБЧ представляет собой одно из таких описаний, но составленное именно к 'Большому Чертежу', что и определило дальнейшую судьбу памятника С XVII в КБЧ стала прочно ассоциироваться с самим 'Большим Чертежом' – в XVIII–XIX вв ее нередко именовали к а р т о й, о чем можно судить по названиям некоторых изданий памятника Причина такого переосмысления понятна в связи с утратой "Большого Чертежа" КБЧ сохраняла все его "чертежные подписи", т е словесное содержание, и поэтому приобретала не вспомогательное, а вполне самостоятельное значение Кроме того, следует учесть, что текст на древних картах выполнял важную и самостоятельную информативную функцию, в отличие от краткого текста на современных картах, представленного лишь в виде названий географических объектов и условных знаков и пояснений (легенды)

Долгое время оставалось загадкой авторство КБЧ Из предисловия к памятнику ясно, что руководство работой по составлению КБЧ поручалось двум опытным дьякам Разрядного приказа – Ф Лихачеву и М Данилову, имена этих книжников упоминаются в исторической литературе XIX в [Лихачев 1894 65–78, Белокуров 1898 311] Но кому они в е л е л и к н и г у н а п и с а т ь? Заслуга в установлении авторства КБЧ принадлежит Г А Хабургаеву, который в газетной статье 1955 г, а затем в ряде других своих работ доказал, что автором КБЧ был подьячий Разрядного приказа Афанасий Иванович Мезенцев Это утверждение основывается на челобитной А И Мезенцева царю Михаилу Федоровичу, которую Г А Хабургаев обнаружил в ЦГАДА, в делах Севского стола Разрядного приказа, и в которой автор КБЧ просил выплатить промежуточное вознаграждение за ее составление [Хабургаев 1955, 1966, 1969а, 1969б] Впрочем, эта челобитная была кратко упомянута в архивном описании еще в 1913 г, однако до Г А Хабургаева не была детально исследована [Описание 1913, Полевой 1967]

Отражая картографическое содержание "Большого Чертежа", КБЧ охватывала огромное для того времени географическое пространство. На севере ее сведения простирались до Ледовитого океана, на юге – до современных территорий Казахстана и республик Закавказья, на западе – до городов порубежных' Невеля, Полоцка и др., на востоке – до бассейна Оби. В начале КБЧ написан царствующий град Москва на реке на Москве, на левом берегу, а река Москва вытекла по Вяземской дороге, за Можайском верст с 30 и больши' [Книга 1950 55]. Далее географическое описание территорий последовательно проводится по дорогам и (преимущественно) рекам как важнейшим путем сообщения, о чем свидетельствуют названия разделов памятника. Например, "Роспись Изюмские дороги", 'Роспись реке Донцу, и рекам и колодезям, которые () в Донец с Крымской и Нагайской стороны пали Дон', 'Роспись реке Терку' и т.д. Дано также описание бассейнов Днепра (и его порогов) Угры, Оки, Клязьмы, Волги, Онеги, Двины и др., характеризованы города порубежные и сибирские города. Таким образом, в целом КБЧ имеет ярко выраженное гидрографическое содержание.

Наряду со сведениями военно-стратегического характера (точное указание расстояний между городами, реками и другими объектами, физико-географическая характеристика этих объектов, сообщения о местах татарских перевозов и перелазов в Русь и т.п.) КБЧ фиксирует важную историко-этнографическую информацию. Например, А до Кафы и Бакчисарая верст с 60, а по обе стороны той дороги деревни же татарския, а воды копанья и родники есть *А у татар во всех деревнях пашни пашут, а сеют пшеницу, да ячмень, да полбу* [Там же 66], "А на реке на Угус город Каган, живет в нем Юргенского царя брат" [Там же 96], 'А усть реки Белья Воложки вверх и по реке по Уфе () *все живут башкирцы а кормля их мед, зверь рыба а пашни не имеют*" [Там же 139] и т.д. Кроме того, в КБЧ встречаются сведения о наличии в отдельных регионах полезных ископаемых. А с верху реки Манача с левыи стороны озера, а в том озере емлют соль азовцы и черкасы *пятигорския* () [Там же 86], '() От Самары 90 верст озеро, а в нем емлют серу горячую' [Там же 140], "А от тое горы 170 верст гора Улутова, по нашему Великая гора, а в ней олово" [Там же 170].

Всего в КБЧ зафиксировано около 2 000 топонимов, более половины из них составляют гидронимы, что вполне согласуется с общей гидрографической направленностью памятника. Лингвистическое изучение всего обширного топонимического наследия КБЧ представляет несомненный научный интерес [Барандеев 1973]. В частности, весьма показательно, что некоторые иноязычные топонимы даны в их переводе на русский язык, достаточно верном для того времени и с параллелями из других языков, что расширяло энциклопедические возможности КБЧ. Например, "() У моря на берегу город *Дербент Железные Ворота тож, а по турски Темир-Капы*" [Книга 1950 89], "() С левыи стороны Яика, Илез река, ниже горы *Тустеби, по нашему та гора Соляная, ломают в ней соль*" [Там же 93], "() А на устье тое реки 8 озер *Карагол, по нашему Черныя озера*" [Там же 94].

В XVII в. КБЧ не только продолжала широко использоваться как своеобразная маршрутная карта ("дорожник" для 'государевой службы посылок'). Являясь ценным произведением русской деловой письменности, она стимулировала появление новых "дорожников" для организации почтовой службы. В их числе 'Поверстная книга (известная в списках конца XVII в. и XVIII в.), возникновение которой, по оценке В. А. Петрова, следует относить к 30-м гг. XVII в. [Петров 1950 80]. Другой дорожник – "Описание расстоянию столиц и нарочитых градов и славных государств и земель () от града Москвы" – составлен в 1667 г. переводчиком Посольского приказа А. А. Виниусом и впервые обнаружен историком П. Г. Бутковым [Бутков 1840]. Мнение исследователей XVIII–XIX вв. о том, что эти новые 'дорожники' появились как "дополнение" к КБЧ, вряд ли правомерно, поскольку КБЧ, будучи официальным памятником картографического происхождения, всецело принадлежит своему времени.

Для составителей новых документов КБЧ была лишь авторитетным образцом, что подтверждается наличием в составе ряда сборных рукописей конца XVII–начала XVIII в текстов КБЧ и "Поверстной книги" [Петров 1950 93, 101]

Заслуга открытия КБЧ и введения ее в научный оборот принадлежит В Н Татищеву В 1768 г в первом томе своего капитального труда "История Российская", анализируя картографическое наследие прошлых столетий в главе "О географии вообще и о русской", он упоминал и о КБЧ Сохранившиеся архивные материалы свидетельствуют, что ранее, в 1744–1745 гг В Н Татищев готовил текст памятника к публикации, так как КБЧ "для географии русской весьма нужна и полезна, для того я оную изъяснил, пополнил и роспись алфавитную приложил" [Татищев 1994 348] Однако по неизвестным причинам этот замысел остался неосуществленным

Большим событием в истории изучения КБЧ явилось ее первое издание, предпринятое Н И Новиковым под характерным названием "Древняя Российская Идрография, содержащая описание Московского государства рек, протоков, озер, кладязей, и какие по них города и урочища, и на каком оныя разстоянии (СПб, 1773) В основу издания было положено шесть списков КБЧ В значительно искаженной форме название первого издания памятника дано в академическом издании под редакцией К Н Сербиной [Книга 1950 36, 199], а затем в СИЭ (М, 1965) и БСЭ (3-е изд, М, 1973), добавивших еще одну ошибку, в датировке – 1775 г, что наглядно доказывает опасность некритического использования материалов "из вторых рук"

Следующее издание памятника вышло под названием "Книга Большому Чертежу или древняя карта Российскаго Государства, поновленная в Розряде и списанная в книгу 1627 года (СПб, 1792) Текст КБЧ на основании трех списков был напечатан в типографии Горного училища без указания имени издателя, поэтому второе издание часто квалифицировали как анонимное Между тем большинство исследователей не без основания считают, что вторым издателем памятника был известный археолог и собиратель древних рукописей А И Мусин-Пушкин, хотя в предисловии к своему изданию он почему-то не упомянул об издании 1773 г

Третье издание КБЧ, озаглавленное аналогично предыдущему, было осуществлено писателем и переводчиком Д И Языковым (СПб, 1838) В основу этого компилятивного издания положен текст издания 1792 г с предисловием А И Мусина-Пушкина, а также варианты по изданию 1773 г Д И Языков сопровождал текст памятника комментариями, объяснив наиболее темные, по его мнению, слова *застава надолбы колодезь сакма* и др В двух рецензиях на это издание указывалось, что оно не вполне отвечает требованиям, предъявляемым к публикациям древних памятников, поскольку прежние издатели не учитывали текстологических особенностей рукописей и нередко исправляли то, что казалось им непонятным [Книга 1950 39]

Четвертое издание памятника под названием "Книга, глаголемая Большой Чертеж было предпринято историком Сибири Г И Спасским (М, 1846) Это издание выгодно отличается от всех предыдущих тем, что Г И Спасский не только использовал более древние списки, доведя их число до восьми, но и дал описание списков, сохранив орфографию и указав разночтения (в вариантах) Издание снабжено обширными примечаниями, в которых издатель комментировал значение наиболее сложных терминов и топонимов, например, *шлях засека, россошь, Иверская земля Юргенская земля, Святой нос* и т п

В течение XIX в историки и географы неоднократно обращались к исследованию отдельных фрагментов КБЧ для решения частных проблем, касающихся времени ее составления, издателей и изданий, интерпретации некоторых топонимов и сведений о конкретных регионах (см труды Н М Карамзина, А Х Лерберга, Е К Огородникова, А И Макшеева, Д И Прозоровского, В С Иконникова и др) Неослабевающий интерес к памятнику проявился и в том, что Отделение этнографии Русского географического общества с 1852 г по 1859 г объявило конкурс, предполагавший реконструкцию КБЧ Однако единственная работа, поступившая на конкурс, была признана неудовлетворительной и осталась ненапечатанной [Вестник 1858]

Пятое издание КБЧ осуществлено Ленинградским отделением института истории АН СССР (М, Л, 1950) Подготовка памятника к печати и редакция принадлежит известному историку К Н Сербиной Во введении, имеющем самостоятельное исследовательское значение, критически рассмотрены существующие издания КБЧ и принципы их построения, дана полная характеристика официальных и неофициальных редакций памятника, его списков, установлена генеалогия отдельных редакций и списков В основу академического издания положен наиболее надежный список № 396 официальной редакции, непосредственно связанный своим происхождением с Разрядным приказом Этот список сопровождается списком № 1330, содержащим важные дополнения, представленные в подстрочных примечаниях Издание снабжено библиографией, обобщившей с некоторыми пропусками литературу о КБЧ до 1950 г, и, как в предыдущих изданиях, географическим указателем К сожалению, академическое издание не лишено серьезных ошибок, которые справедливо замечены историком и топонимистом А И Поповым [Попов 1951] И в лингвистическом отношении это издание не может удовлетворить современного исследователя хотя бы потому, что в нем допущены необоснованные отступления от орфографии подлинника, и в целом оно не отвечает строгим критериям научной публикации, так как содержит ошибки в названиях, именах, датах и многочисленные опечатки Подобная небрежность вообще характерна для многих исследований, посвященных КБЧ

Назрела потребность в новом издании КБЧ, свободном от указанных погрешностей, которое вполне отвечало бы современным принципам публикации памятников письменности и смогло бы удовлетворить научные интересы не только историков, но и лингвистов, географов, этнографов Актуальность нового издания памятника обусловлена и тем, что академическое издание осуществлено почти полвека назад и тиражом всего 3 000 экземпляров, став библиографической редкостью Кроме того, с момента последнего издания КБЧ литература о ней обогатилась новыми материалами и исследованиями Так, два списка памятника обнаружены в Швеции [Davidsson 1954 64–77], введена в научный оборот ранее неизвестная сокращенная редакция КБЧ (конец 80-х–90-е гг XVII в) [Кобяк, Поздеева 1986 27–29]

Значительный интерес представляет изучение языка КБЧ – этой уникальной географической энциклопедии допетровской эпохи В частности, Ф И Буслаев первым обратил внимание на то, что «в древнерусском и народном языке особенно замечательно употребление прошедшего в описании природы там, где теперь употребляем настоящее время () В [КБЧ] эта форма постоянно употребляется при описании географических местностей, напр, а по странамъ того рва обойти нельзя, *пришли лѣса и болота*”, *нала въ Донѣ рѣка Красная Дѣвица*» () Формы настоящего времени, ныне принятые в географии *идет, течет, впадает*, составляют более отвлеченное понятие, потому что означают постоянно и неизменно пребываемое *те течет всегда впадает постоянно* Старинные же выражения прошедшего времени указывают на факт, некогда совершившийся ()» [Буслаев 1959 366] Ф И Буслаев справедливо указал на ценность КБЧ для исторической лексикологии и лингвистического источниковедения, «() как по географическим собственным именам, так и по различным выражениям, употребленным составителями ее при описании местностей» [Буслаев 1861 1065]

Весьма примечательно, что КБЧ закрепляла и развивала приемы лаконичного описания фактического материала, которые проявлялись в русской письменности уже во 2-й половине XVI в и впоследствии стали характерными для русских переводов западноевропейских космографий и для энциклопедической литературы вообще Например, в составе одного из кратких летописных сборников обнаруживаем пассаж, типичный для КБЧ "От Казани до болгарского городища и Балымата – 200 верст От болгар до Девичих гор и до Царева кургана – 100 верст, Царев курган на реке на Самаре, а Девичих гор 60 верст" [Зимин 1950 19]

КБЧ содержит богатый материал для изучения апеллятивной и ономастической лексики русского языка [Барандеев 1980], отражая наиболее раннюю фиксацию от-

дельных слов, например, *гирло* – "морской пролив; рукав в речной дельте" [Барандеев 1993], что немаловажно для их полной историко-лексикологической интерпретации. К сведениям КБЧ неоднократно обращаются современные исследователи для установления надежных этимологий ряда географических названий. Памятник включен в корпус обязательных источников при создании капитальных произведений отечественной исторической лексикографии и, таким образом, не утратил значения для науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Барандеев А В* 1973 – "Книга Большому Чертежу" как источник топонимического исследования // Изв. АН СССР. Серия геогр. 1973. № 5.
- Барандеев А В* 1980 – Русская гидрографическая терминология "Книги Большому Чертежу" в историко-лексикологическом освещении: Автореф. канд. дисс. ... М., 1980.
- Барандеев А В* 1993 – Украинизм ли термин *гирло*? // Collegium. 1993. № 2.
- Белокуров С [А]* 1898 – О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898.
- Буслаев Ф И* 1959 – Историческая грамматика русского языка М., 1959.
- Буслаев Ф И* 1861 – Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков М., 1861
- Бутков П Г* 1840 – Три статьи, присоединенные к книге Большаго Чертежа России (.) // ЖМВД 1840 Ч. 38 № 10. Смесь
- Веселовский С Б* 1951 – Материалы по истории общего описания земель Русского государства в конце XVII в. // Исторический архив. Т. 7. М., 1951.
- Вестник* . 1858 – Вестник Имп. РГО за 1857 г. СПб., 1858. Ч. 21. Кн. 6. Отд. 6.
- Зимин* 1950 – Краткие летописцы XV–XVI вв // Исторический архив. Т. 5. М.; Л., 1950
- Книга* 1950 – Книга Большому Чертежу / Под ред. К.Н. Сербинной. М., Л., 1950
- Кобяк Н.А., Поздеева И В* 1986 – Славяно-русские рукописи XIV–XVII веков Научной библиотеки МГУ М., 1986.
- Кусов В С* 1989 – Картографическое искусство Русского государства. М., 1989
- Лихачев Н [П]* 1894 – Библиотека и архив Московских Государей в XVI столетии СПб., 1894
- Описание*. 1913 – Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства юстиции. Кн. 18. М., 1913.
- Описи*. 1960 – Описи царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года. М., 1960.
- Петров В А* 1950 – Географические справочники XVII в. // Исторический архив. Т. 5 М.; Л., 1950.
- Полевой Б П* 1967 – Новое о "Большом чертеже" // Изв. АН СССР. Серия геогр. 1967 № 6.
- Попов А И* 1951 – Вестник ЛГУ. 1951. № 10. Рец.: "Книга Большому Чертежу" в новом издании Академии наук СССР
- Рыбаков Б А* 1974 – Русские карты Московии XV–начала XVI века. М., 1974.
- Татищев В Н* 1994 – История Российская // Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 1. Ч. 1. М., 1994.
- Хабургаев Г А* 1955 – Замечательный географ начала XVII века // Курская правда 3 сент. 1955 (№ 209)
- Хабургаев Г А* 1966 – Заметки по исторической фонетике южновеликорусского наречия Введение Вокализм // Уч. зап. МОПИ им. Н.К. Крупской Т. 163. Вып. 12. М., 1966.
- Хабургаев Г А* 1969а – ВЯ. 1969. № 3. Рец.: Московская деловая и бытовая письменность XVII в. М., 1968.
- Хабургаев Г А* 1969б – Локальная письменность XVI–XVII вв. и историческая диалектология // Изучение русского языка и источниковедение. М., 1969.
- Davidsson С* 1954 – Two MSS of *Kniga Bol'sogo Čerteža* in Sweden // Scando-slavica. 1954. Т. 1

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

M. Snoj. Slovenski etimološki slovar. Založba "Mladinska knjiga". Ljubljana. 1997. 900 s.

Славянская лексикография пополнилась новым изданием – однотомным "Этимологическим словарем словенского языка". Автор словаря М. Сной известен своими работами в области славянской акцентологии, индоевропеистики, балто-славянских языковых отношений, он один из составителей третьего тома "Этимологического словаря словенского языка", работа над подготовкой которого на протяжении многих лет ведется в Институте словенского языка (Любляна). Этимологический словарь, известный в науке как словарь Ф. Безлая, еще не завершен. Ф. Безлаем разработана концепция словаря и подготовлены первые два тома: (I: A–J, 1976 г.; II: K–O, 1982 г.), во втором томе несколько статей принадлежат М. Сною (*net, netec*). Третий том (1995 г.), охватывающий лексику в объеме P–S, подготовлен Ф. Безлаем и его учениками М. Фурлан и М. Сноем. Как полагают сами составители, подготовка четвертого тома (Š–Ž) потребует не меньше 10 лет. Не дожидаясь завершения работы над последним четвертым томом, М. Сной в очень короткие сроки подготовил полный этимологический словарь словенского языка объемом в 900 стр., охватывающий общеупотребительную лексику словенского языка.

Сравнительный анализ этимологических словарей Ф. Безлая и М. Сной показывает, что мы имеем дело с самостоятельными лексикографическими работами, ориентированными на решение сходных и вместе с тем не совпадающих задач.

В словаре Ф. Безлая, адресованном в первую очередь специалистам, филологам, историкам, при этимологизации лексики в центре внимания вопросы словенского лингвогенеза, дославянского прошлое словенского языка, изоглосные связи словенской лексики, отсюда особый интерес к архаичной лексике, словам, фиксируемым старыми

словарями, редким диалектизмам. В словарь Ф. Безлая включены важнейшие топонимы, антропонимы, имена божеств, фитонимы. Этимология служит средством восстановления истории словенского языка, его истоков в праславянскую эпоху.

Словарь М. Сной рассчитан на широкого читателя, проявляющего интерес к судьбам родного слова. Словарь выполняет роль справочного пособия, сообщающего читателю в простой, доступной форме необходимую информацию о происхождении слова. Предметом этимологического анализа стала общеупотребительная лексика словенского языка, а за основу взят "Словарь словенского литературного языка". Словник весьма разнообразен по составу, но основная часть этимологизируемой лексики – это слова литературного языка и заимствования конца XIX – начала XX вв. Редкие, архаичные, диалектные лексемы рассматриваются внутри словарной статьи в тех случаях, когда именно с помощью этих слов удастся прояснить некоторые аспекты словообразовательной, семантической структуры слова. Большое место в словаре отведено заимствованиям разного времени, среди них различаются: 1) заимствования, восходящие к праславянской эпохе и эпохе, предшествующей формированию праславянского языка, 2) заимствования эпохи самостоятельного развития словенского языка, 3) интернациональная лексика. У поздних заимствований своя сложная проблематика. В словаре выделен большой пласт заимствований из славянских языков и в первую очередь из соседнего сербохорватского языка: ср. *vīnjak* < хорв., серб. *vīnjāk* (с. 719), *vlōga* 'драматическая роль' < хорв., серб. *vlōga* (с. 723), *vrtāča* 'котловина' < хорв., серб. *vrtāča* (с. 731), *zločin* 'преступление' < хорв., серб. *zločin* (с. 723) и т.д. В составе словника найдем заимст-

воваия из польского (ср. *vrřiv*), чешского (ср. *urřad, znřmka*), русского (ср. *udřben, udřv, řrec*) языков, словообразовательные и семантические кальки (ср. *znřsven* 'сносный' ~ нем. *ertragbar, ertrřglich, vrtnica* 'роза' ~ нем. *Gartenrose* и т.д.). Для европейских заимствований автором указывается не только язык-источник, но довольно подробно дается вся предшествующая история слова, его структура, семантика, пути миграции слова.

Из всего сказанного следует, что словники в словарях Ф. Безлая и М. Сноя не совпадают. И различия весьма существенны. Проиллюстрируем их на материале слов с начальными *L-, N-*: в словаре М. Сноя не найдем *lřkniti, lřkomica, lanřta, lřnjec, lanoř, lřp, lapet, lřsica, lřvek* 'остатки', *lřcati, lřgen, lejřti, lekno, libovřna, liřen, řigarica, lřnica* и т.д. И, напротив, в словник словаря Ф. Безлая не вошли слова *liřaj, řipe, lřc* и т.д. В словаре М. Сноя рассматриваются *naknřden, nalřřc, napřr, naprřva, naprřdek, narřmnica, nedřřžen, narřcje, narřdba, narřbe, nřuk, navlřka, neborřžen, neskřnřen* и т.д., у Ф. Безлая – *nřlep, nřmka, napřriti, nřt, natřc, nřton, nřvel, navřda, navřn* и т.д.

Как мы уже отметили, словарь М. Сноя предназначен прежде всего для массового читателя, носителя словенского языка. В вводной части автор знакомит читателя с основными принципами построения словаря, организации лексического материала, очень кратко сообщает необходимые сведения о месте словенского языка в кругу славянских языков. Особый раздел вводной части посвящен характеристике индоевропейских языков, в виде таблицы представлена классификация языков *kentum* и *satem*, наглядно показано соотношение индоевропейских, праславянских и словенских гласных и согласных. Вниманию читателя предложен словарь важнейших лингвистических терминов (фонема, ларингал, перфект и т.п.), с помощью которых объясняется происхождение слова. Язык как исторически сложившаяся система несет в себе наследие разных эпох – индоевропейской, праславянской, собственно словенской, что и обуславливает необходимость разного подхода к этимологическому объяснению. Словарная статья имеет разную структуру в зависимости от хронологической глубины слова. Статья, посвященная словам, унаследованным из индоевропейского праязыка, содержит следующие зоны: заглавное слово, ближайшие родственные образования в словенском языке, славянские соответствия, праславянская реконструкция, родственные

образования в индоевропейских языках, индоевропейская праформа, объяснение строения и первоначальной семантики слова, литература. В конце статьи даются отсылки к алфавитной позиции слов, связанных между собой на корневом уровне в системе праславянского или индоевропейского языков. Поскольку словарь ориентирован на словенского читателя, значение приводится только в тех случаях, когда в этом есть необходимость. Для наглядности и большей доходчивости автор предлагает во введении читателю схему трех словарных статей (*přst, klavřr, řmbudsmann*) с графическим выделением основных зон. К достоинствам словаря следует отнести разработанную автором лаконичную и вместе с тем емкую структуру словарной статьи, позволяющую без упрощения представить во всей полноте и сложности вопросы этимологического анализа. Автору удалось выработать единый для всего словаря язык описания, четкий, ясный, доступный пониманию широкого читателя. Ориентироваться во всем богатстве словенской лексики, рассматриваемой в словаре, помогает словоуказатель, занимающий более ста страниц.

Этимология – наука гипотетическая, и во многих случаях материал, которым располагает исследователь, дает возможность этимологической интерпретации в разных направлениях. Ясно, что жанр словаря, одним из основных требований которого является краткость, лаконичность изложения, не предполагает развернутого обзора существующих точек зрения. Тем не менее словарь призван обозначить основные этимологические версии и документировать их ссылками на литературу. В отличие от Ф. Безлая, который, освещая разные этимологические подходы, вводит читателя в лабораторию творческих поисков, показывает, как, в каком направлении развивалась этимологическая мысль, М. Сной, адресуя свой словарь массовому читателю, более определенно высказывается в пользу той или иной этимологии, поэтому в словаре, как правило, приводится одна версия, реже две и лишь в отдельных случаях три. Соответственно с разной полнотой представлена литература. Если Ф. Безлай подкрепляет приводимые им версии ссылками на известные словари и этимологические исследования, то М. Сной ограничивается ссылками на известные словари и лишь в единичных случаях в библиографию включаются исследования по этимологии (ср. *řikva*). Однако из всего сказанного отнюдь не следует, что словарь М. Сноя имеет узкую направленность.

Напротив, этот словарь, выполненный на самом высоком профессиональном уровне, несет на себе печать яркой творческой индивидуальности, и уже поэтому большой интерес представляет предлагаемый в словаре подход к этимологизации словенских и шире – славянских слов. Словари Ф. Безлая и М. Сноя взаимно дополняют друг друга и обогащают наши представления о словенской лексике.

Словарь М. Сноя, безусловно, займет свое особое место в кругу славянских этимологических словарей. В этимологическом словаре слово исследуется с разных сторон, через этимологию и с помощью этимологии решаются вопросы, существенные для построения концепции праславянского языка. При всех различиях, обусловленных в первую очередь ориентацией на разный круг читателей, одноименный этимологический словарь концептуально близок словарю Ф. Безлая и особенно тому III, в составлении которого принимал активное участие М. Сной. Оба словаря объединяют общие исходные послыски в подходе к этимологической интерпретации слова (см. об этом [Куркина 1996: 132–137; Куркина 1998: 194–208]). Из наиболее важных методологических особенностей отметим следующие.

1. В настоящем словаре, как и в словаре Ф. Безлая, особенно в его третьем томе, основной акцент сделан на дославянском прошлом словенской лексики, в центре внимания – слова, унаследованные из индоевропейского праязыка. Поиски ведутся в двух направлениях: с одной стороны, автора интересуют точные лексико-словообразовательные соответствия в индоевропейских языках (ср. слав. **cělъ* – гот. *hails* ‘здоровый’ < и.-е. **kaj-lo* (с. 57); слав. *žito* ~ др.-прусс. *geits* ‘хлеб’ < и.-е. **g^hejHto-* ‘скотина; съестные припасы’ (с. 763) и т.п.), а с другой стороны, одна из задач, решаемых в словаре, состоит в том, чтобы как можно полнее выявить в славянских языках продолжения индоевропейских корней со всеми возможными преобразованиями и в сочетании с разного рода расширителями. Этот аспект исследования чрезвычайно важен для выявления индоевропейских истоков славянской лексики, стратификации лексики в плане относительной хронологии. Для автора важно восстановить родство на индоевропейском уровне для словен. *krôg*, *křiv*, *křilo*, *krúljav* < и.-е. *(*e*)*ker-* (с. 280, 276). Как генетические тождественные трактуются *kámen* и *óster*, *ostna*, *jeséter*, *járseh* < и.-е. **Hak-* ‘острый’ (с. 212, 414), *kléti*, *klicati*,

kókalj, *klobasáti* < и.-е. **kelH-* (с. 236, 237), *kríti* и *krásti* < и.-е. **kraH-* (с. 274), *trín*, *strn*, *tráva*, *drôzg*, *štrléti* < и.-е. *(*s*)*ter-* (с. 685) и т.д. Эти слова могут быть признаны словами однокоренными только применительно к ранней эпохе развития индоевропейского праязыка, в праславянскую эпоху они предстают как самостоятельные образования, возможные связи вариантов восстанавливаемого индоевропейского корня разрушились. Более того, в словаре, предназначенном для широкого читателя, такого рода сближения, основанные на преобразовании корня минимальной длины, открывают большой простор для всевозможных манипуляций словами с отдельными общими элементами. Информация о генетически тождественных образованиях на корневом уровне вынесена в конец словарной статьи. Эта же последняя строка закреплена за отсылками к родственным образованиям, сложившимся в системе праславянского языка: ср. *lôk*, *oblôk*, *lôka*, *ločiti*, *-léniti* и т.п. (с. 308), *vôz*, *voziti*, *véslo*, *vêža* (с. 727, 716) и т.п. Практически образования того и другого рода не разграничены.

2. Особым вниманием пользуются балтославянские соответствия. Как следует из предисловия, автор предполагает существование до IV в. до н.э. балто-славянской языковой общности близкородственных диалектов, слабо различающихся между собой, так что носители этих диалектов вполне могли понимать друг друга. Восстановление древнейшего лексического фонда, унаследованного из эпохи балтославянских языковых отношений, является одной из основных задач словаря. В словаре на первый план выносятся балтославянские соответствия, построенные по общим словообразовательным моделям: ср. слав. **lęka* и лит. *lankà* (~ *leñkti*) (с. 308), слав. **mъgla* (~ *migati*) и лит. *miglà*, лтш. *migla* ‘мгла’ (с. 331) и т.п. Однако нельзя не отметить, что в ряде случаев автор отступает от этого принципа и не приводит близкие по структуре балтийские соответствия. Так, в окружении слав. **lomiti* (с. 309), трактуемого как дуратив от и.-е. **lem-* ‘ломать’ (лит. *limti* ‘надламываться, ломаться’, нем. *lahm* ‘хромой’), не найдем построенного по той же модели лит. *lāmyti* ‘ломать, крушить’ [ЭССЯ 16: 19]. Для слав. **loviti* (с. 311) не отмечено самое близкое по структуре лит. *lāvūti* ‘упражнять, развивать’ [ЭССЯ 16: 112], а для слав. **blōditi* (с. 37) – лтш. *blāndītiēs* ‘шляться’, лит. *blandýties* ‘протрезвиться’ [ЭССЯ 2: 126] и т.п. Харак-

теристика слав **vert'a* (с 729), производного с суф *t'a* (~ **verti*), будет неполной без соотнесения славянского образования с близким по структуре лит *virtine* 'узелок, связка' [Фасмер I 297, SP II 42]. При реконструкции праславянских форм автор исходит из посылки о максимальной близости славянской и балтийской систем и соответственно ориентируется не на конец праславянской эпохи, как это принято в ЭССЯ, а на ранний этап развития праславянского языка. Поэтому в некотором противоречии с такой установкой находятся предлагаемые в словаре праславянские реконструкции для слов с изначальными сочетаниями *gt, kt* перед гласными переднего ряда *te* вместо традиционной реконструкции типа **mog'ti *nok't'ь*, ориентированной и на воспроизведение морфологической структуры слова, найдем формы **moti *not'ь* при лит *meçti* 'любить' *naktis* 'ночь'. Сочетания *y z* фиксируются на ступени ассимилирующего воздействия *y* без последующей ассимиляции *y* предшествующим мягким согласным ср **nas'ь *noz'ь *koz'a *yzy'a* для слав **nažь *koža žyža* 'рыболовный снаряд' (с 374, 384, 267, 731).

3 Современная этимология не может удовлетвориться идентификацией слов на уровне корней, она рассматривает слово как цельнооформленное образование со своей семантической и словообразовательной структурой сложившейся в разные эпохи развития языка. Задача этимологии состоит в том, чтобы объяснить немотивированное слово как производное, мотивированное словообразовательными и морфологическими процессами характерными для более ранних эпох. В словаре остаются невыявленными собственно славянские словообразовательные и морфологические процессы. В ряде случаев автор, нарушая процедуру последовательного продвижения вглубь удревняет слово, видит наследие дославянских отношений в словах, построенных по славянским словообразовательным моделям. Так слав **kol'ь*, производное от гл **kolti*, толкуется как продолжение и-е **kelH* 'бить, толочь' (с 246), слав **voit'ь*, связанное чередованием корневого вокализма с гл **yit'ēti*, прямо выводится из и-е *çotto* < *çeit-* 'вертеть' (с 728), слав **l'ęriti* каузатив к гл **l'ęrēti*, прямо возводится к и-е **leipr* 'мазать' (с 298) слав **mъdъl'ь*, образованное при помощи суф *-yl* от корня гл **mъdati*, **mъdēti* связанных чередованием корневого

вокализма с гл **muditi* (с 330), (ср [ЭССЯ 20 210–211] с иной реконструкцией исходного значения), трактуется как производное от и-е **mau-* 'опасть, пошатнуться'. В случае слав **kvasъ* (с 288) акцент делается на индоевропейских истоках слова (< и-е **kʷatsō* → лат *caseus* 'сыр' (не *casseus*!) далее лтш *kūvāt* 'кипеть' и т.д.), хотя, на наш взгляд, следовало бы в первую очередь отметить связь чередующихся основ **kvasъ* ~ **kysnqti*. Список подобных примеров без труда легко может быть продолжен.

Примечательно, что в предисловии автор приводит образцы словарных статей для слов, структура которых мотивирована отношениями индоевропейского языка, и для разного рода заимствований, но отсутствует образец статьи для слова, сложившегося на славянской почве. И если в предисловии автор кратко останавливается на правилах фонетических соответствия индоевропейского и праславянского языков с учетом ларингала, то другая составная часть этимологического анализа – основные способы славянского словообразования – вообще осталась никак не затронутой. Было бы полезно познакомить читателя с набором словообразовательных средств основными моделями словообразовательных и морфологических отношений. Представляется, что недостаточно лишь указать на производность слова от имени или глагола без более точной характеристики способа образования. Так слав **maslo *mastь* характеризуются как производные от гл **mazati* без выделения в структуре этих слов суф *-slo tь* (с 326). Для слов типа слав **klicъ* (с 238) важно не только признание родства с **kl'uka*, но и определение характера словообразовательных связей – производное с суф *ъ*. В плане относительной хронологии некорректно прямое соотнесение слав **vidly* производного с суф *-dlo* от **viti* с и-е **çei(H)-* 'вить' (с 718).

Нельзя не отметить неточности в трактовке словообразовательных отношений ряда лексем. Автор утверждает, что гл **kliciti* связан отношением производности с **kic'iti* (с 279–280), а слав **klicъ* производно от **kliciti* (с 280). Но эти образования связаны между собой чередованием корневого вокализма и имеют разные производящие основы гл **kliciti* образован от **klicъ/*klicla*, а **kic'iti* – от **kic'la*. Слав **orьna* и **orьna* толкуются как производные от гл **oręti* **orьno* (с 408). Однако было бы полезно уточнить, что эти морфо-

нологические варианты имеют разные производящие основы **орона* – образование регулярного типа с вокализмом *о* в корне от гл **орети*, а **орьна* образовано от основы наст вр этого глагола Слав **kiovъ* (с 278) трактуется как производное от гл. **kiuvi* В действительности гл **kiuvi* восходит к и-е **kiŭ-*, продленной нулевой ступени корня, нормальная ступень (*ou*) корня представлена в форме **kiovъ* [ЭССЯ 13 72] Словен. *oŭinek* 'изгиб, поворот' производно не от гл *oviti*, а от гл на -*na* Префикс *ra-* характеризует именные образования (ср. **ranoga* **rametъ*) По непонятным причинам исключаются из этой модели словен *paluba* лалуба (< хрв) а также *raŭbek*, они производятся от гл **polubiti*, **polobiti* (с 421 426) Вызывает большие сомнения реконструкция для праславянского состояния глаголов с основой наст вр на -*na* **otъi(p)iti* (**otъi(p)noti*) при наст вр **otъr(p)no* для словен *otŕpiti* (с 416) **veiti* наст вр. **vygno* для словен *veiti* (с 729)

Этимологические разработки М Сноя дают богатый материал для размышлений В словаре немало новых и даже неожиданных этимологических решений. ср. слав **kustiti* < **kustiti*/**kustia* < **kustъ* (с. 286), слав **gizodъ* < и-е **ghiz-* ветка (растущая) (~ нем *Gras*) + *zdo* (~ **sed-* 'сидеть') (с 161), слав **dizodъ* < и-е *(*s*)*nozdo-* < *(*s*)*tei-* 'трава' + производное от **sed-* 'сидеть' (с 105), слав **konъti* < и-е **konHdHti-* < **konH* (лит *kātas* война) + **dheH-* 'ставить, класть' (с 261); слав **prestъ* ~ нем *Faust* < и-е **penkъe* 'пять' + **stah-* 'стать', первонач 'пять пальцев вместе' (438), слав **reŭati* (словен *reŭati* 'е утомиться') < слав **reŭъ* < и-е **roŭъ* /**reŭ-* 'дышать (лат *spiriare*) (с. 434), (но ср [Фасмер III 144] к *neший*), словен *volkodlāk* < **ylkъ* + **lakъ* (ср польск. *luch* старая вещь' и др) (с 726) (но ср [Фасмер I 339] < **ylkъ* + **dlaka* 'шкура') Не все предлагаемые М Сноем этимологии безоговорочно могут быть приняты, но в любом случае они стимулируют к поискам дополнительных аргументов (фонетических, семантических) Например, требует дополнительных доказательств версия автора о родстве **repelъ* и **pelva* (с 436, 454) Не подтверждается славянским материалом объяснение слав **otava* из **aviti* т.е. трава, которая снова появляется' (ср словен. *otaviti* 'успокаивать, подкреплять' ст-чеш. *otaviti se* 'отдохнуть, набраться сил и ср

[Фасмер III 168, Bezlaj II 261]) Большие сомнения вызывает этимологическое разделение продолжений слав **ръна* и **ръъ* (с 513, 433), (ср [Фасмер III 398]) Не учитывает внутриславянской семантики объяснение слав **molъdъ* 'молодой' из **melъ* < **mel-* 'толочь, молоть', первонач 'истолченный измельченный' (с 347), (ср [ЭССЯ 19 178]) В одном ряду форм, родственных словен *osina* 'ость, волосок', едва ли можно рассматривать русское название дерева *осина*, традиционно выводимое из **opъsa* (~ лит *apuše*, лтш *apse* 'осина') [Фасмер III 159] При более внимательном изучении материала оказывается что словен *veha* 'затычка', связываемое автором с гл *vehati* 'дуть', первонач 'отверстие для продувания', мотивировано отношениями иного рода речь идет о названии затычки. втулки по материалу, используемому в этих целях ср словен *veha* 'ботва' *veheŭ* 'пучок' русск *вехоть* 'хлоп, тряпка, ветошка и тд [Фасмер I 308] Требуют уточнений некоторые из индоевропейских и праславянских реконструкций Так, слав **volkъno* ~ **velkt'i*, построенное по модели **tolkъno* ~ **telkt'i* [SP I 35], содержит суф *ъno*, а не *no* (с 723) Словен *zlōmek* 'черт', трактуемое как производное от незасвидетельствованного глагола **zъlati* (~ **zъlo*), происходит от **ъzlomъkъ* Слав **kydati* производится из и-е *(*s*)*keud-* (с 228), но точнее и правильнее говорить об исходной индоевропейской форме **kud-*, связанной чередованием с **keud* /**skeud* (см [ЭССЯ 13 253])

В рамках отведенного нам объема мы смогли коснуться лишь некоторых вопросов и привести лишь отдельные наиболее показательные примеры, дающие представление о направленности словаря, его методологических принципах Словарь М Сноя представляет собой капитальный труд, который еще ждет своего осмысления и более подробного анализа С выходом его в свет будут активнее использоваться лексические материалы словенского языка в этимологических исследованиях Необходимо отметить высокий уровень полиграфического исполнения и практически отсутствие опечаток (среди единичных опечаток **letiti* вместо **letiti*)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Куркина Л В 1996 – ВЯ 1996 № 4 – Rec
F Bezlaj Etimološki slovar slovenskega jezika
Tretja knjiga P-S Dopolnila in uredila M Snoj in
M Furlan Ljubljana, 1995

Куркина Л В 1998 – Этимология 1994–1996 М
1998 – Rec F Bezljaj Etimološki slovar slovenskega jezika Tretja knjiga P–S Dopolnila in uredila M Snoj in M Furlan Ljubljana 1995
Фасмер М – Этимологический словарь русского языка Перевод и дополнения О Н Трубачева Т I–IV М, 1964–1973

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков Праславянский лексический фонд // Под ред О Н Трубачева М, 1974–197– Вып I–23–
Bezljaj F – Etimološki slovar slovenskega jezika Ljubljana, 1976–1995 Knj I–III–
SP – Słownik prasłowiański T I–VII– Wrocław etc., 1974–1991–

Л В Куркина

Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков / Отв ред Г Нецименко // Институт славяноведения и балканистики М Наука, 1994 240 с

Несмотря на значительные достижения сопоставительной лингвистики последних лет все более очевидной становится необходимость детальной разработки теоретических и методологических основ этого магистрального направления современной лингвистики, глобализации сферы его применения дальнейшей разработки и унификации понятийно-терминологического аппарата, совершенствования процедуры анализа и синтеза языкового материала Без этих предпосылок развертывание новых крупномасштабных сопоставительных исследований языковых систем и их фрагментов на современном уровне едва ли возможно

Коллектив авторов рецензируемого научного труда, представляющий национальные лингвистические школы нескольких стран (Россия, Белоруссия, Польша, Чехия, Словакия, а также Австрия) внес весомый вклад в дальнейшую разработку одного из приоритетных направлений современной лингвистики Издание подготовлено в соответствии с Долгосрочной программой многостороннего сотрудничества академий наук славянских стран и является продолжением научного труда, посвященного проблематике сопоставительного изучения языков, прежде всего близкородственных Первая часть, опубликованная в Варшаве (Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich / Pod redakcją Heleny Běličovej, Galiny Nieszczimienko i Zofii Rudnik-Karwatowej Warszawa, 1991), исследует общие вопросы, а также проблемы синтаксиса Вторая часть, опубликованная в Москве (и рецензированная нами), охватывает остальные языковые уровни И несмотря на их разнообразие (лексика, семантика, ономастиология, словообразование, акцентология, морфология, морфонология), рассматриваемый труд производит весьма цельное впечатление, поскольку независимо

от характера привлекаемого материала именно научный метод, используемый для его изучения и описания, ставится во главу каждого конкретного исследования

Книга состоит из трех частей и краткого вступительного слова редакционной коллегии [Г Беличова (Чехия), Г Нецименко (Россия), Э Рудник-Карватова (Польша)] содержащего характеристику издания

В первом разделе книги “Лексикология и семантика” (с 5–79) слово, лексико-семантическая группа, словарный состав, его динамика, лексическая семантика, семантика языкового знака рассматриваются как объект сопоставительного лексикологического и ономастиологического изучения и описания В статье В Ф Васильевой (Россия) “О логико-семантическом аспекте в сопоставительной ономастиологии (к вопросу о межязыковой асимметрии)” обосновывается необходимость включения в сопоставительные исследования номинативных систем собственно семантических расхождений языковых знаков В основу аргументации положено действие принципа производности языкового знака как номинативной единицы На разнообразном материале русско-чешских номинативных аналогов автор убедительно показала проявление межязыковой асимметрии на всех уровнях языковой системы Собственно семантические расхождения в интерпретации мыслительного содержания неадекватно характеризуют отдельные понятийные зоны близкородственных языков Обобщение этих расхождений позволит значительно уточнить и дополнить наши представления о типологических особенностях номинативных систем сопоставляемых языков

Статья Э Жетельской-Фелешковой (Польша) “Проблематика сопоставительных исследований в ономастике” обращает вни-

мание на целесообразность более глубокого включения ономастического материала в сопоставительные исследования, который по мнению автора, вполне поддается сопоставительному изучению. В качестве примера автор рассматривает несколько характерных явлений ономастики, имеющих в славянских языках разное выражение: официальный способ именования людей; отражение словообразовательной и флексийной характеристикой фамилий информации о поле данного лица и о семейном положении женщины, противопоставление *singulatis-pluralis* в грамматическом числе географических названий и согласование с ними зависимых членов предложения; функциональную нагрузку форм множ. числа топонимов и т.д. По мнению автора, для сравнения фактов ономастики двух или нескольких языков вполне может быть найдена основа для "сведения материала" (язык-посредник или третий естественный язык). Охватывая разные уровни языка, располагая большим и характерным комплексом проблем, ономастика может существенно обогатить современные сопоставительные грамматики, тем более что первый успешный опыт такого рода уже есть [Topolińska, Vidoeski 1984].

Статья О Мартинцовой (Чехия) "Неологические процессы в аспекте ономастической типологии" поднимает важную и интересную проблему формирования и адаптации нехарактерных по структуре новых номинативных единиц (ННЕ) в славянской (чешской, польской, русской) системе номинационных типов, существующих в настоящее время. Поскольку речь идет о сопоставительном исследовании, автора интересует прежде всего структурная оформленность, степень и скорость адаптации ННЕ в каждом из сопоставляемых языков. Исследуя на материале близкородственных языков функционирование двучленных ННЕ, структуру которых упрощенно можно выразить двумя формулами "слово + слово" (*chemik analytik*), "не слово + слово" (*RC modeláf*) автор пришла к интересным выводам и обобщениям. Так, наиболее глубинные различия в типологии и сфере употребления в сопоставляемых языках (особенно, в чешском и русском) обнаруживают формации первого типа (слово + слово). В то же время, неологические процессы, связанные с формациями второго типа (не слово + слово), которые относятся к периферии словообразовательной системы, во всех сопоставляемых языках (чешском, русском и польском) проявляют большое сходство.

Статья И Марыняковой (Польша) "Се-

мантика глагольных форм с возвратным местоимением *się* в польском литературном языке и их соответствие в русском литературном языке" обращает внимание на дополнительную функциональную нагрузку польской местоименной энклитики *się* – служить показателем грамматической категории неопределенности. Характерной особенностью такого употребления является отсутствие в польском высказывании агенса. По мнению автора эта функция морфемы *się* в польском языке не является новацией. Она отмечается и в произведениях старых авторов, причем даже в большей степени, чем у авторов современных (приводятся примеры из трудов польского естествоиспытателя XVIII в. Кшиштофа Клюка, жившего в Восточной части Польши). Исходя из сопоставления польских переводов с русского языка к их русским источником, автор приходит к выводу о большом сходстве между польским и русским языками в выражении категории неопределенности, что следует учитывать изучающим оба языка (польский и русский) и переводчикам.

В нескольких статьях обсуждаются способы сопоставительного описания словарного состава двух или нескольких языков. Статья А.Е. Супруна (Белоруссия) "О комплексном подходе к построению славянской сопоставительной лексикологии" рассматривает основания для создания современного общеславянского лексикона. Автор всесторонне анализирует ряд возможных подходов, от самых простых, известных давно, до новейших элементарное количественное сопоставление лексики славянских языков, сопоставление текстов, принятых за эквиваленты, сопоставление лексиконов хороших толковых словарей, текстово-словарный подход, сопоставление отдельных лексических групп, сравнение "ядерной лексики" каждого из языков, сопоставление ассоциативных полей. Отмечая сильные и слабые стороны каждого из подходов, автор склоняется в пользу метода сопоставительного описания ассоциативных полей в лексике как одному из подходов, обеспечивающих комплексную характеристику лексиконов славянских языков. Несмотря на все сложности воплощения идеи славянского лексикона, альтернативы ей, кажется, нет. "Славянская сопоставительная лексикология, – подчеркивает автор в заключительной части, – безусловно помогает создать более богатую и яркую картину лексикона каждого из сопоставляемых языков, картину более выпуклую и интересную, чем та, которая возникает при автономном анализе

лексикона отдельно взятого языка, где многое просто не замечается” (с. 50).

Тему разработки основ сопоставления словарного состава близкородственных языков продолжает статья А. Ярошовой (Словакия) “Теоретические предпосылки сопоставительного исследования частных лексико-семантических систем”. В сопоставительной лексикологии, теоретической основой которой является функционально-системная концепция языка, помимо сопоставления отдельных лексических единиц перспективным направлением следует считать сопоставление частных лексических систем (ЧЛС). Первым этапом такого исследования должно быть установление эквивалентности моносемантических лексических единиц – лексий, входящих в более крупные группировки – ЧЛС. На втором этапе при сопоставлении пары лексических единиц более высокого порядка – лексем (гиперлексем), основной сопоставления является совокупность семем (составляющих план содержания лексий) или, другими словами, совокупность семантических признаков. В основе третьего этапа сопоставления лежит сравнение двух ЧЛС, точнее, их понятийных структур (схем). В качестве семантического признака (семемы или нескольких семем) данное понятие присутствует в определенном множестве разноструктурных лексических единиц обоих языков. Автор обосновывает в связи с этим актуальность разработки типологии сопоставляемых лексических эквивалентов и особенно типологии ЧЛС, которая может служить базой для выбора однотипных объектов сопоставления, и излагает методику создания такой типологии. Типология конкретной ЧЛС, представленная в виде схемы, поможет увидеть ее на фоне всей классификации в ее взаимосвязях с другими ЧЛС. Таким образом, основой сопоставительного изучения ЧЛС является 1) создание системно-функциональной типологии эквивалентов ЧЛС и 2) создание типологии самих ЧЛС словарного состава.

В статье В.В. Усачевой (Россия) “Из опыта сопоставительного изучения терминологических систем в славянских языках” рассматривается одна из таких ЧЛС – медицинская терминосистема, связанная с контекстом народной культуры и охватывающая мотивированные названия болезней. Проследивая процесс мотивации, связанный с выбором мотивационного признака, положенного в основу номинации болезненного состояния человека, автор выявляет наиболее продуктивные семантико-этимологические принципы номинации болезней. На материале славянских диа-

лектов автор показывает, как при транспонировании содержания, признаков и свойств прилагательных, глагольных действий и состояния динамики формировалась система наименований болезней. Для словопроизводства данной ЛСГ характерны те же способы, что и для словообразования других ЛСГ (деривация, морфолого-синтаксический и лексико-семантический способы образования). Особенностью данной группы лексики является наличие в ней эвфемизмов, употребление которых диктуется у славян этикетом, ситуацией и традицией.

Статья Н. Савицкого и Р. Шишковой (Чехия) “К методологии сопоставительного изучения динамики словарного запаса” исследует комплекс вопросов, относящихся к ведению совершенно нового направления лингвистики – сопоставительной неологии. В центре внимания авторов поиск параметров “диагностирования” неологизмов. Они высказывают предположение о существовании связи между функционально-стилистической характеристикой слова, его формальной регулярностью, правильностью образования и переводимостью (существованием точных эквивалентов в других языках). Если через эту матрицу признаков пропустить поэтический (или детский) окказионализм и нейтральное слово, то мы, действительно, получим контрастную, диаметрально противоположную характеристику каждого из них в современном словарном составе языка. Важной представляется мысль авторов о том, что на определенном уровне абстракции все в языке и в речевой деятельности системно, включая и такие сложные явления как неологизмы, в которых отражается “глубинное” знание (или неосознанное чувство) моделей, структур, типов, фиксации более общих закономерностей языка и их конкретное применение в речевой действительности. Объясняя неологизмы, подыскивая им аналоги мы только используем более утонченные методы анализа для выявления их системности, учитывающие разные виды переработки, народной этимологии и т.д. Такой анализ, разумеется, выходит за рамки обычных структурных описаний словообразовательной системы. Однако авторы исходят из того, что язык – это не законченная структура, а живой, динамичный структурообразующий процесс. Поэтому на смену стремлению создать окончательное, полное описание лексики языка, заранее учитывающее и любые возможные неологизмы, должны прийти готовность и умение постоянно находить в лексике все новые и новые структурные связи.

Второй раздел книги посвящен словообразованию (с. 80–178).

Статья Т.И. Вендиной (Россия) "Семантическая функция суффикса и сопоставительное изучение славянского словообразования" возвращает из забвения и творчески развивает идею о семантической функции суффикса как основе сопоставительных исследований, имплицитно присутствующую уже в работе Р. Бошковича [Бошкович 1936]. В основу исследования Т.И. Вендиной положена мысль о полифункциональности аффикса, реализующейся в двух разных функциях — структурной (так наз. "эволюционной", имеющей своей целью обогащение словарного состава) и семантической (или классификационной). В заслугу автору надо поставить четкую и полную обрисовку задач, выполняемых каждой из функций. Эта часть исследования убедительно показывает значимость семантической функции аффикса для сопоставительного изучения близкородственных языков. Если структурная функция суффикса выражается во всех славянских языках практически одинаково (и в этом отношении особого интереса для сопоставительных исследований не представляет), то семантическая функция, напротив, выявляет широкий спектр различий славянских языков, причем даже близкородственных. Именно в семантической функции суффикса кроется больше всего различий, связанных с речевой практикой и с индивидуальным использованием суффикса — своеобразного формального средства систематизации форм человеческого мышления. Поэтому семантическая функция позволяет обнаружить закрепленную традицией связь суффикса с реалиями материального мира и выявить своеобразие языков в наречении фрагментов мира. На большом и разнообразном материале в статье подробно рассматриваются параметры, необходимые для определения функциональной типологии суффикса в славянских языках.

Выбору оптимальной рабочей модели изучения и описания словообразовательной категории (СК) — важнейшего понятия деривационного синтеза — посвящена статья Г.П. Нешименко и Ю.Ю. Гайдуковой (Россия) "К проблеме сопоставительного изучения славянского именного словообразования". Экспериментальный характер работы заключается в апробации на широком, новом и разнообразном материале модели изучения и описания СК, которая ранее была успешно применена одним из авторов статьи при изучении демунитивов в истории чешского литературного языка,

исходя из внутриязыковой конфронтации различных синхронных срезов [Нешименко 1980]. Достоинство предложенного типа лингвистического описания заключается, в частности, в широком спектре его применения. Он может быть использован как на материале одного языка (синхронно-диахронический аспект сопоставления деривационной системы), так и при сопоставлении нескольких близкородственных языков. Весьма ценны наблюдения о соотносительности типа словообразовательного описания в зависимости от поставленных задач: детальная прорисовка всех параметров алгоритма порождения слов в синхронно-монографическом исследовании и сознательное смещение акцентов в значимости некоторых из них, их селекция, выдвижение на первый план основных системно-функциональных закономерностей изучаемого явления в описаниях сопоставительного характера. Нельзя не отметить тщательности и аргументированности формулировок узловых понятий лингвистического описания: "рабочая модель", "словообразовательная категория" (СК), "словообразовательный тип" (СТ), четкости выводимых соотношений (СТ и СК, СК и ономастологическая категория (ОК), СК и общая деривационная система). Исследование выполнено на материале нескольких современных славянских языков: чешского, русского, болгарского, сербского, хорватского, польского и словацкого. Авторами привлечено семь суффиксальных СК, манифестирующих семь ОК, принадлежащих к магистральным направлениям номинации. В исследовании представлены результаты целевого зондирования каждой СК. Выполненная программа описания позволила выявить 1) строевые компоненты СК; 2) правила их внутренней организации (иерархию строевых компонентов); 3) динамику внутри СК и 4) место каждой из них в деривационной системе языка. Все разделы представленной программы, несмотря на их взаимосвязанность, имеют и самостоятельную теоретическую и практическую ценность, являясь, в сущности, итогом огромной работы по обработке всех привлеченных СК, "оставшейся за кадром" статьи. Основные результаты исследования отражены также в четких и наглядных схемах и таблицах, облегчающих восприятие столь обширного материала.

Новый подход в определении статуса префиксальных элементов (ПЭ) заимствованных глаголов, и шире, заимствований вообще, представлен в статье М.А. Осиповой (Россия) "Заимствованные глаголы в славянских языках: к проблеме словообразова-

тельной и морфологической членности". Исходя из общности места (периферия) в синхронной словообразовательной системе языка заимствованной и некоторой части исконной лексики, оказавшейся за пределами продуктивных моделей, автор предлагает близкую методику определения показателя словообразовательной членности и для заимствований. Объектом исследования являются ПЭ заимствованных глаголов в трех языках: польском, русском и сербском. Эмпирическому критерию интуитивного определения статуса ПЭ, а также формального подхода, основанного на вычленении ПЭ в результате сопоставления повторяющихся начальных отрезков слова в различных контекстах, автор противопоставляет критерий словообразовательной членности, учитывающий синхронную семантику морфем, составляющих заимствование. Хорошо отработанный инструментарий исследования. существенная поправка к дефиниции понятия морфемы, принимающая во внимание фактор степени членности основы заимствованного слова, определение по этому показателю трех ступеней членности префиксальных заимствованных глаголов, позволили автору выявить весьма обширный и разнообразный инвентарь ПЭ в сопоставляемых языках, определить их статус (префикс, префиксоид, унипрефиксоид), степень адаптации и активности в каждом из сопоставляемых языков, а также наличный состав и структуру словообразовательных моделей заимствованных глаголов, содержащих идентичный ПЭ. Весьма показательна таблица матрицы членности заимствованных глаголов, содержащих различные ПЭ, отражающая ход и результаты исследования.

Статья Э. Рудник-Карватовой (Польша) "О некоторых методологических аспектах сопоставительного описания славянского словообразования" в известной мере перекликается с предыдущей работой в попытке распространить известную методику лингвистического описания (модель "семантика → форма" У. Чейфа, Ч. Филдмора, И. Мельчука, С. Кароляка и др.) на новый, пока еще неопробованный инструментариум этой методики, уровень языка. Используя семантическую структуру элементарного предложения (единицы синтаксиса), основу которого составляет первичная предикативно-аргументная структура (ППАС), автор весьма дальновидно и остроумно предлагает использовать ее в качестве основы (своеобразного языка-посредника) также и при

сопоставительном изучении словообразовательных систем разных языков. Несмотря на то, что вопрос об интервале семантических ролей аргументов (одного из компонентов ППАС) пока остается открытым, автор убеждена, что сама идея использования этого инструмента при сопоставительном словообразовании весьма перспективна. Во всех славянских языках инвентарь семантических ролей аргументов идентичен, различия же касаются моделей их структурирования и возможностей реализации отдельных ролей.

В статье А.Н. Тихонова (Россия) "Лексические и словообразовательные гнезда как единицы сравнительного изучения восточнославянских языков" рассматривается методика сопоставительного исследования самых крупных системных единиц двух сопредельных уровней языковой системы – лексики и словообразования: лексических и словообразовательных гнезд. С тщательностью и четкостью, достойной энциклопедического словаря лингвистических терминов, автор объясняет дистрикцию и объем важнейших понятий, нередко смешиваемых дериватологами и лексикологами – "словообразовательное гнездо" и "лексическое гнездо". Во втором и третьем разделах статьи обосновывается актуальность использования данных макроединиц лексики и словообразования в качестве основы для сопоставления лексической и словообразовательной систем близкородственных восточнославянских языков. Даются ценные рекомендации с чего начать подобное исследование.

Проблема определения типов бессоюзных составных существительных (БСС), к которой обращается В. Эйсман (Австрия) в статье "Типы бессоюзных составных существительных в русском и их соответствия в южнославянских языках", уже длительное время привлекает внимание многих отечественных и зарубежных исследователей, в том числе и весьма известных. Подтверждением тому служит и весьма обширная библиография, представленная автором по данной теме. Анализ и обзор разных точек зрения на статус БСС в отечественной литературе и критерии его определения позволили автору выделить в одном только русском языке свыше десяти разнообразных групп БСС: (1) *кафе-столовая*; (2) *жарптица*; (3) *летчик-космонавт*; (4) *хлеб-соль*; (5) *купля-продажа*; (6) *путь-дорога*; (7) *каша-малаша*; (8) *шурпы-мурпы*; (9) *ум-разум*; (10) *юбка-мини* и др. Из обзора следует, что

определить и классифицировать русские БСС, исходя только из синхронной оценки их типа, не представляется возможным. "Полагаем, — пишет автор, — что некоторые из трудностей при определении и классификации этих единиц можно объяснить лишь прибегая к истории их возникновения, становления или заимствования. Сказанное касается и русских, и южнославянских образований этого типа" (с. 165). Дополнив обзор БСС фактами из истории языка, языка фольклора, из произведений русских писателей кавказского происхождения (по определению автора статьи), сопоставительных исследований немецких ученых и других источников, автор подтверждает влияние тюркоязычных народов на некоторые типы БСС в русском языке, а в дальнейшем анализе этот же вывод распространяет и на южнославянские языки. Завершая исследование БСС, автор вслед за Б. Станковичем констатирует, что настоящая (исконная) аппозиция в славянских языках — в постпозиции (*изба-читальня*, т.е. "изба, в которой читают", а не наоборот). Примеры из южнославянских и русского языков ставят под сомнение исконность происхождения древнего употребительного существительного в БСС на первом месте (ср. русск. *жар-птица*, болг. *пиле-чорба* и др.).

Последняя третья часть коллективного труда посвящена использованию сопоставительного метода при изучении акцентологии, морфологии и морфонологии (с. 179–240).

Сопоставительные исследования в области акцентологии еще не получили широкого распространения, поэтому статьи, посвященные теоретическим основам и методике сопоставления акцентных систем, представляют особый интерес. Статья В.А. Дыбо (Россия) "Морфонологический анализ, внешнее сравнение и сопоставление в лингвистической реконструкции" рассматривает широкий круг теоретических и методических вопросов сопоставления акцентных систем разных языков. В компаративистской процедуре автор выделяет две группы приемов: 1) приемы внутренней реконструкции (или морфонологического анализа) и 2) приемы внешнего сравнения. Опыт сравнительно-исторического исследования таких сложных объектов как акцентуационные системы в языках с морфонологизованными и тоновыми системами показывает, что успеха достигают лишь те исследователи, которые циклично используют обе группы приемов. Автор подробно останавливается на типах

поведения акцента в парадигматических акцентных системах, к классу которых принадлежат реконструированная праславянская и балто-славянская акцентные системы и вводит правило их экономного описания (акцентуационные валентности и правило постановки ударения в слове — иктуса). Доказательством реальности осуществленной реконструкции праславянской и балто-славянской акцентных систем служат факты наличия подобных систем среди языков других семей, обнаруженные исследователем. Сопоставляя балто-славянскую и абхазскую системы и давая фонетическую интерпретацию результатов компаративистской процедуры, автор выдвигает тонологическую гипотезу происхождения парадигматических акцентных систем. Акцентуационные валентности рецессивности (–) и доминантности (+) могут быть отображением праязыковых низкого и высокого регистрационных тонов. Такое предположение хорошо поддерживается типологическими сопоставлениями с восточносахарскими языками, осуществленными в ряде статей автора.

В статье Р.В. Булатовой и Г.И. Замятиной (Россия) "Общее и специфическое в механизме построения акцентных систем суффиксальных имен в сербохорватском и словенском" на примере отадъективных имен с суф. *-ostь* (недоминантный) и *-ota* (доминантный) сопоставляются акцентные системы производных (суффиксальных) классов имен в близкородственных южнославянских языках на фоне восточнославянского — русского. Опираясь на диахронический подход авторы показывают, в каком направлении проходила эволюция и становление современных акцентных систем рассматриваемых дериватов, какие механизмы построения акцентных систем действовали в данных близкородственных языках. Выяснилось, что развитие акцентных систем определяется прежде всего внутренними закономерностями развития каждой из сопоставляемых языковых систем. При наличии сильного объединяющего феномена — доминантного суф. *-ot(a)* — имеет место упрощение трехакцентной праславянской системы до одноакцентной с постоянным ударением на суффиксе. Ср. русск. *-otá*, серб. и хорв. *-òti (-òtia)*, слов. *-òtia*. При этом неодинаковость исходных систем не влияет на тенденцию развития и результат. Когда же такой феномен отсутствует (в случае с недоминантным суф. *-ostь*), то в русском языке упрощение все равно доведено до одноак-

центной системы с ударением не на суффиксе а в южнославянских языках получились двухакцентные системы Вторая группа факторов относится к более позднему периоду развития языковой системы – периоду формирования литературного языка, и связана с внешними и регуляторами сознательной языковой политикой ориентированностью на определенный диалект проведением целенаправленных мер по нормированию литературного языка Анализ общих и специфических факторов, определяющих построение акцентных систем, показал, что русский язык имеет более симметричную акцентную систему в дериватах с доминирующими и недоминирующими суффиксами, чем южнославянские языки с которыми проводилось сравнение

Сопоставительные исследования менее всего затронуты также область морфонологии, поэтому весьма актуальной представляется статья С М Толстой (Россия) К сопоставительному изучению славянских языков на уровне морфонологии глагольные основы в польском и русском языках, в которой на конкретной проблеме обосновывается пригодность морфонологической проблематики для сопоставительного изучения и описания Автор убедительно показала что система глагольных основ и их трансформированные тематические показатели, организующие всю морфонологическую модель современного глагольного словоизменения, являются надежной основой на которой могут строиться сопоставления морфонологических систем разных языков, в том числе и близкородственных Анализируя сильные и слабые стороны разных стратегий сегментации глагольной основы, автор приходит к выводу о необходимости нахождения разумного равновесия между всеми механизмами, регулирующими структуру и взаимоотношение глагольных морфем в составе парадигмы 1) морфонологической организацией исходной основы 2) инвентарем присоединяемых к ней аффиксов и их морфонологическими свойствами, 3) характером правил, преобразующих стыки на морфемном шве между основой и аффиксами внутри словоформ Главное требование, которому подчиняется организация стыка глагольной основы и последующего аффикса, состоит в соблюдении принципа сочетания открытой основы с консонантным аффиксом, а закрытой основы – с вокалическим аффиксом Во всех случаях, где это требование нарушено на стадии выбора, включаются в действие правила усе-

чения основы, а далее – правила фонемных чередований В статье подробно рассматриваются факторы, от которых зависит наличие консонантного чередования в исходе основы и его вид

Статья Я Зенюковой (Польша) К проблематике интерпретации языковых категорий обращает внимание на известную, но редко обсуждаемую проблему несовпадения принципов, методов, традиции интерпретации одного и того же языкового феномена в грамматических описаниях разных национальных школ, что осложняет проведение сопоставительных исследований двух (или нескольких) языков Может случиться, – пишет автор, что сопоставляя два грамматических описания мы вообще не получим необходимого для сравнения материала, составляющего ясную картину исследуемого явления в каждом из языков (с 220) На примере анализа грамматической категории числительного, по-разному трактуемой в нормативных грамматиках двух близкородственных языков – польском и верхне-лужицком, автор показывает как, тем не менее, собирать необходимый материал и приводить в соответствие то что кажется несводимым

В заключение отметим, что этот труд несомненно будет способствовать сближению и унификации лингвистической терминологии и понятийного аппарата славянских и шире, европейских национальных школ Он значительно обогатил методику сопоставительных исследований близкородственных славянских языков, отшлифовал ее для проведения более тонких и усложненных наблюдений за языковыми процессами их динамикой, показал неограниченные возможности сопоставительного метода применительно к любому уровню языковой системы

Данным трудом в научный оборот вводится совершенно новый языковой материал и много свежих, новационных идей Отметим лишь некоторые из них презентация оптимальной рабочей модели описания и изучения словообразовательной категории использование семантических расхождений языкового знака для уточнения типологии близкородственных языков, обоснование целесообразности более глубокого многоуровневого включения ономастического материала в современные сопоставительные грамматики, установление правила диагностирования неологизмов, совершенствование презентационных фильтров для сопоставительного славянского лексикона, расширение сферы действия отдельных опробованных приемов

сопоставительного описания языковой системы применительно к новому словообразовательному материалу, разработка приемов изучения периферийных участков словообразовательной и лексической систем, возвращение к незаслуженно забытым аспектам сопоставительного анализа в семантике формантов разграничение и дальнейшая разработка понятийного аппарата сопоставительного исследования смежных лингвистических дисциплин: лексикологии, словообразования и ономастологии, выработка основ сопоставительного анализа в области акцентологии и морфологии, привлечение внимания к ценности собственно грамматического знания отражающего специфику национальных школ и т.д.

Нельзя не отметить значимости рецензируемого издания как надежного справочника по методике сопоставительного

лингвистического исследования, который может быть рекомендован широкому кругу пользователей – студентам, аспирантам и преподавателям филологических дисциплин. Книга имеет еще один важный гуманитарный аспект – она продолжает традицию совместного научного поиска ученых стран Центральной и Юго-Восточной Европы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бошковић 1936 – Развитак суфикса у јужно-словенској језичкој заједници Београд, 1936
Нецименко 1980 – Очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII – середина XX в.) Praha, 1980
Topolińska Z, Vidoeski B 1984 – Polsko macedoński Gramatyka konfrontatywna Z 1 Wrocław, 1984

Г. Г. Тяпко

I. Maier Verbalrektion in den "Vesti-Kuranty" (1600–1660). Eine historisch-philologische Untersuchung zur mittlerrussischen Syntax. Uppsala, 1997 308 S (Acta Universitatis Upsaliensis Studia Slavica Upsaliensia 38)

Рецензируемая монография И Майер, уже достаточно известного шведского специалиста по русскому языку (см [Maier 1991]) состоит из двух частей. Первая посвящена лингвистическому описанию вестей-курантов (далее сокращенно В-К), первых русских рукописных газет XVII столетия по данным уже опубликованных пяти томов этой серии (В-К I–V) По объему эта часть составляет почти треть всего монографического исследования и является новым значительным продвижением вперед после монографии Р. Шибли [Schibli 1988] в изучении В-К как лингвистического источника

И Майер выявила целый ряд новых текстов – оригиналов газетных сообщений (на немецком, нидерландском, шведском, датском языках) к более чем 300 рукописным листам В-К в результате длительных и весьма трудоемких разысканий как в архивах Швеции (Упсала, Стокгольм), так и в архивах других западноевропейских стран, и провела тщательное сопоставление их с переводами, позволившее обнаружить (что бывает далеко не часто в практике изучения переводных текстов) именно те старопечатные издания западноевропейских газет, которые непосредственно находились перед

глазами переводчика Посольского приказа в Москве Среди обнаруженных текстов-оригиналов В-К I–V – три текста договоров значительного объема (один из них, свыше 100 рукописных листов, – шведско-немецкая часть Вестфальского мира 1648 г.) что значительно расширяет круг источников при изучении истории и техники русского светского перевода XVII в., которое в основном базируется на исследовании историко-повествовательных и художественных текстов Но теперь встает и иная задача сделать весь этот добытый огромным трудом материал доступным для исследователей (в виде ксерокопии, фотокопии, современных печатных воспроизведений) Идеальным вариантом был бы такой, когда тексты оригинала и перевода печатаются на развернутых двойных листах, что облегчает их сравнение друг с другом

Поражает та оперативность, с которой Майер сумела воспользоваться публикацией В-К V, вышедшей уже тогда, когда монография была практически завершена

Состояние дел с поиском оригиналов к В-К I–V на сегодняшний день подытожено в приложении к исследованию (с 292–304), где мы имеем возможность получить точные библиографические данные о 33-х текстах

из В-К I–V, оригиналы к которым на немецком, шведском, нидерландском, датском языках обнаружены в разное время Майер, Шибли издателями, исследователями, предшествующей научной традиции

Представляют интерес выводы Майер о том, что в целях стимулирования интереса русского читателя могли сокращаться при переводе статьи и международных договоров, а не только обходиться вниманием отдельные газетные сообщения. Зондирование В-К 70-х годов XVII в лишний раз подтверждает это наблюдение Майер (см об этом подробнее в исследовании историка Е И Кобзаревой, проведшей сравнение западноевропейских газет с их русскими переводами – 41 номер за 1667–1668 гг, 52 номера за 1695 г [Кобзарева 1988]) Сказанное существенным образом изменяет выбор методики поиска оригиналов, нацеливая на обнаружение целой газеты по ее составляющим – координатам отдельного газетного сообщения

Майер наметила и определенные перспективы дальнейших поисков оригиналов к ряду текстов В-К (с 79–81), причем эти перспективы не голословны, а являются результатом продуманных и долговременных предварительных разысканий

Нельзя не отметить и общее заключение Майер о том, что качество переводов удивительно хорошее (*erstauulich gut*, с 97), в отличие от негативных и несколько предвзятых оценок А В Исаченко, который считал, что переводы В-К I–II беспомощны и неточны (*unbeholfen und ungenau*), а переписывали их полуграмотные писакки (*halbgebildete Schreiberlinge*) [Issatschenko 1980 343–345] Вывод Майер представляется достаточно компетентным, т к он, во-первых сделан на основании большого собственного исследовательского опыта, и, во-вторых, принадлежит перу специалиста по историческому синтаксису, а умение схватить и передать синтаксическую структуру текста – явное свидетельство достаточно хорошего владения языком оригинала Как пишет Майер в русском переводе синтаксические связи оказываются достаточно ясными и отчетливыми (*klar und deutlich*, с 99) и далее говорит о том, что сравнение оригиналов и переводов показывает, что ни о каком пословном переводе (*wortliche Uebersetzung*) не может быть и речи и что в примерах не встретилось ни одной синтаксической конструкции, которая была бы чужда русскому языку

Оценивая в целом положительно первую

часть монографии, хотим высказать некоторые замечания

С 49 Обратим внимание на одну неразгаданную до сих пор загадку текста нидерландско-испанского договора 1648 г, (см [В-К III 164–179]) На странице 177 В-К III загадочным образом фамилия *Колома* попала в подпись под наказом с правами полномочий послам испанского короля Не брат ли обозначенный тут *Петръ Колома* тому нидерландскому печатнику *Johannes Colom*, который упоминается Майер на с 49 в связи с описанием нидерландского издания договора Не явится ли расшифровка этой загадки (мимо которой прошла Майер, не обратив на нее внимания) еще одним подтверждением установленного ею тезиса о нидерландском оригинале договора?

С 30 Вызывает сомнения правомерность использования Словаря Памво Берынды в качестве источника сведений по русскому языку XVII в 'Лексикон славенороссийский и имен тлъкование Памвы Берынды (1627 г) переиздан фотомеханическим способом в Киеве в 1961 г в серии 'Памятники украинского языка При этом не должен смущать компонент 'росский, ср, например, западнорусская мова – это вовсе не русская мова а книжно-письменный субстрат староукраинских и старобелорусских черт (см [Биржакова и др, 1972 48–49])

С 69, примечание 54 Утверждение Майер о том, что в В-К нет переводов с латинского, может быть принято с определенной оговоркой Позволим себе обратить внимание читателей на нашу статью [Демьянов 1991], показывающую и доказывающую по данным топониматики (помимо заголовочных 'перевод с латинского письма', где л а т и н с к и й все же двузвучно 'латинский и 'западно-европейский), что текст РГАДА 1666 г, № 11 в курантском фонде – перевод с латинского

С 74–77 Майер считает что перевод объявления о мире между Англией и Нидерландами (1654 г, см [В-К V 95–96]) был сделан с нидерландского Все же возможны некоторые предположения о наличии немецкого текста при переводе, которые вызывает передача нидерл *v* как *ф* (*фан – val*, из *Графовой Gage – Glavenhage*) и ошибка *бв* при передаче *h*

С 90 При истолковании *Р землѣ* нет необходимости обращаться к архаической флексии -ѣ, необходимо использовать синхронные XVII в возможности Флексия *Р*, равная *Д-М*, распространялась

и на *jā основы в южновеликорусских говорах (см [Кузнецов 1951 63, Сологуб 1980 12]) Кстати, сама Майер тоже допускает здесь и диалектную форму (с 106)

Пример *ульмерана* не очень показателен для иллюстрации мены [p//p'], т.к. 1) сущ образовано от нем *Ulmer* 'житель Ульма', 2) [p] могло испытать морфологическую аналогию с флексией и позициями с твердым исходом Из В-К можно было бы подобрать иные 'чистые', случаи, ср "в Прусской землѣ [В-К II 137]

Полагаем, что *шарпать* как полонизм приведен не к месту, т.к. он связывается Майер со ст.-бел. билабиальным [w] Надо было бы выдержать старобелорусскую линию интерпретации

С 94 Что касается дат с различием в 10 дней (6 IV в 16 IV) то следует принять во внимание различия старого (юлианского) и нового (григорианского) календаря, расхождения между которыми в XX в составляет 13 суток, а в XVII в составляло 10 суток Так что это не ошибка

С 95-96 Нет никакой ошибки в следующих двух случаях 1) *Рянварь* в контексте княз Ангвиской *Рянварь* переводчиками и издателями правильно понято как топоним (см [В-К II 333]), несмотря на непосредственное следование после антропонима 2) "В Шлезвиге (. .) землѣ (с 96) Перед нами попытка передать название *Силезии* близко к нем *Schlesien* невольное сближающее название с нем *Schleswig* В В-К I совершенно правильно отнесено к Силезии [В-К I 320]

С 101 Что касается одного из нидерландских переводов то констатация Майер того что переводчик не изучал специально нидерландский, а воспринимал нидерландский текст через призму немецкого языка мало вероятно Трудно представить себе чтобы переводчик решился на такого рода рискованный шаг, ведь переводы оглашались перед самим царем

Вторая часть исследования Майер (по объему 2/3 монографии) представляет собой описание вариативных явлений в области глагольного управления Она теснейшим образом связана с первой, поскольку оригиналы обнаруженные в результате источниковедческого исследования, используются при анализе иллюстративных примеров из В-К в целях проверки возможного влияния глагольного управления в оригинале на русский перевод и выяснения степени самостоятельности, автохтонности способа глагольного управления в русском переводе

На широком историческом фоне (от

древнерусского до современного) рассматривается материал В-К I-V, любовно и тщательно анализируется каждый пример с подведением оригинала Привлечены для анализа глаголы самой разнообразной семантики (а она является одним из главных определяющих способов управления моментов) стремления – достижения, отказа, восприятия, оберегания, взаимного действия, дарения, сообщения, просьбы, поздравления – приветствия, пожалования, угрозы сотрудничества, распределенные по вариантам управления Р-В Д-В, В-Т, Р-Д

Четкие статистические сопоставления (числовые соизмерения разных способов управления при одном глаголе), сравнение правки в черновике с отражением ее в беловом тексте дают ясное представление о состоянии узуальной нормы XVII в, а ретро- и перспективные данные – о месте языковой картины XVII в в общей языковой эволюции нормы

Новизна подхода к анализируемому материалу не вызывает сомнений Предшествующие работы по среднерусскому синтаксису не дают представления о процессе формирования нормы (частотности конструкций) и не содержат необходимой источниковедческой критики Следует также отметить, что синтаксические заимствования остаются до настоящего времени наименее изученной областью языковых контактов К среднерусскому периоду истории русского языка это относится вдвойне Неизученность этого периода ярко высвечивается наличием работ по древнерусско-византийским контактам и контактам XVII в с западноевропейскими языками в области синтаксиса

Большое значение в монографии придается семантике глагола Например, управление Д при гл *здравствовать* можно объяснить семантическим развертыванием 'желать здоровья кому', которое (развертывание) создает хорошую русскую почву для усвоения нем способа управления *glatulieren jemandem* Насколько важен учет способа управления для глубокого источниковедческого проникновения в переводной текст, проиллюстрируем на одном примере "Король впаденье ево в Померскѣю землю за явное разоренье держит [В-К V 16] Обращение к нем *halten fu* 'считать, принимать за' уже сразу способно подсказать, что нулевой текст В-К V (см [В-К V 12-16]) был переведен с немецкого оригинала

Майер отмечает, что свободная дистрибуция вариантов управления становится причиной весьма распространенных в сфере

разговорной речи явлений контаминации, сосуществования разных типов управления в пределах одного и того же контекста

В своей синтаксической части исследование Майер отличается новизной постановки проблемы (можем указать только две работы В Б Крысько [Крысько 1994, 1997], привлекающие материал В-К), свежестью привлекаемого материала, широтой исторического фона освещения явлений синтаксиса в русском языке XVII в., предварительной глубокой источниковедческой проработкой анализируемого материала (учет оригинала, параллельных текстов, неоднократного воспроизведения текста и др.)

Позволим себе сделать несколько замечаний по второй части исследования

Основное замечание сводится к недостаточному учету синтаксического влияния польского языка через старобелорусское посредство. Отдельные упоминания об этом имеются в работе (см с 19 и др.) но внимание к польскому (и соответственно старобелорусскому) синтаксису не проходит как постоянно действующая компонента на протяжении всего исследования. А между тем многие факты говорят о том, что учет этого влияния необходим. В рамках весьма краткой рецензии можем позволить себе лишь одну иллюстрацию. *Dostupniti* с Р (с 139–140), ср польск *dostąpić czegoś* 'подойти, приблизиться к ч-л, удостоиться ч-л, заслужить что-л', ст-бел *dostupniti* с Р 'здобыць, атрымаць', 'наблизца да чаго-н, дасягнуць' [ГСБМ IX 33–34]. К сожалению, в работах по полонизмам как-то не замечают крупного восточнославянского языкового ареала – старобелорусский язык контакты с которым невольно прорываются в исправлениях В К (см., в частности [Демьянов 1992]). И это при всем том, что полонизмы, по признанию самого же автора (см [Крысько Магел 1997]), а также с 19 рецензируемой монографии), выполняли в языке XVII в. примерно ту же функцию, что в наше время американизмы.

И еще несколько отдельных более частых замечаний

На с 138 в сочетании *время изыскаль* возможна трактовка *время* как Р (см [Обнорский 1927 4, 298–303]) в южнобелорусской языковой области *время* – омоним и И и Р [Соснон 1962 54] формы на *-мя* эволюционировали в сторону форм склонения на *-а* и на *-о*). Сказанное можно отнести и к случаю *жда(т) осаду'* (с 120), где *осаду* может быть Р от И *осадь* (см [В-К I 271]).

С 114, пример 9 Майер справедливо избегает жестких однозначных оценок, при

влекая возможность и фонетических интерпретаций (*счастие желали* при возможном *счастия желали*). Однако подобные фонетические ресурсы интерпретации флексий было бы неплохо подтвердить дополнительными иллюстрациями. Морфологическая модель словоизменения была очевидно достаточно жесткой и детерминированной надежными флексиями.

Непередача выносных при цитации текста В-К I–V вполне допустимая в синтаксическом исследовании, в некоторых случаях чревата искажением орфографии слова (см с 116 с *полмеля* вм *похме(л)я*)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Биржакова Е Э и др 1972 – Биржакова Е Э Воинова Л А Кутина Л Л Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования Л 1972
- В К I – Вести Куранты 1600–1639 гг / Изд подгот НИ Тарабасова В Г Демьянов А И Сумкина Под ред С И Коткова М 1972
- В К II – Вести Куранты 1642–1644 гг / Изд подгот НИ Тарабасова В Г Демьянов А И Сумкина Под ред С И Коткова М 1976
- В-К III – Вести-Куранты 1645–1646, 1648 гг / Изд подгот НИ Тарабасова В Г Демьянов Под ред С И Коткова М 1980
- В К IV – Вести Куранты 1648–1650 гг / Изд подгот В Г Демьянов Р В Балтурина Под ред С И Коткова М 1983
- В-К V – Вести Куранты 1651–1652 гг 1654–1656 гг 1658–1660 гг / Изд подгот В Г Демьянов Отв ред В П Вомперский М 1996
- ГСБМ – Гістарычны слоўнік беларускай мовы Вып IX Мінск, 1989
- Демьянов В Г 1991 – Отражения языка оригинала в иноязычных словах перевода (По материалам вестей-курантов) // Источники по истории русского языка XI–XVII вв М, 1991 С 99–109
- Демьянов В Г 1992 – О некоторых реминисценциях старобелорусской орфографии в памятниках русской деловой письменности XVII века // Гезисы докладов на научно-методической конференции. Проблемы изучения и преподавания русского языка в вузах и школах республики (20–22 мая 1992 г.) Минск 1992 (Минский гос пед ин-т Белорусский ун-т)
- Кобзарева Е И 1988 – Известия о событиях в Западной Европе в документах Посольского приказа XVII в. Автореф. дис. канд. ист. наук М, 1988
- Крысько В Б 1994 – Развитие категории одушевленности в истории русского языка М 1994
- Крысько В Б 1997 – Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность М 1997

- Крысько В В* *Матер I* 1997 – *RLing* 1997 V 21 № 3 – Рец *Вести-Куранты* 1651–1652 гг., 1654–1656 гг., 1658–1660 гг / Изд подгот В Г Демьянов Отв ред В.П Вомперский М., 1996
- Кузнецов П С* 1951 – *Русская диалектология* М., 1951
- Обнорский С П* 1927 – *Именное склонение в современном русском языке* Вып 1 Ед число Л., 1927
- Сологуб А И* 1980 – *История существительных женского рода в русских говорах (опыт историко-морфологического исследования по данным лингвистической географии)* Автореф. дис докт филол наук М., 1980
- Cocron F* 1962 – *La langue russe dans la seconde moitié de XVII siècle (morphologie)* Paris 1962
- Ivssatschenko A V* 1980 – *Geschichte der russischen Sprache Bd 1 Von den Anfängen bis zum Ende des 17 Jahrhunderts* Heidelberg, 1980
- Матер I* 1991 – *Verben mit der Bedeutung 'benutzen' im Russischen Untersuchung einer lexikalisch – semantischen Gruppe* Uppsala, 1991 (Acta Universitatis Upsaliensis Studia Slavica Upsaliensia 29)
- Schibli R* 1988 – *Die ältesten russischen Zeitungsübersetzungen (Vesti-Kuranty) 1600–1650 Quellenkunde* von Lehnwortschatz und Toponomastik Bern et al (Slavica Helvetica 29)

В Г Демьянов

И.С. Улуханов. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация. М · Институт русского языка РАН "Русские словари" 1996 221 с.

Многочисленные фронтальные описания русского словообразования осуществлялись до сих пор в основном на базе узуальной лексики, неологизмы и окказионализмы же изучались, как правило, в связи с установлением степени и сферы продуктивности установившихся моделей или в стилистическом аспекте В последние годы на материале окказионализмов исследовался динамический аспект словообразования, условия коммуникации, способствующие действию словообразовательного механизма языка

В рассматриваемой монографии известная в лингвистике идея описания не только реализованного, но и системно возможного, выдвигавшаяся в особенности применительно к словообразованию, находит крупномасштабное воплощение На обширном материале разных подсистем русского словообразования И С. Улуханов раскрывает возможности словообразовательного механизма в соотношении с реализацией их в узуальной и окказиональной лексике Автор обоснован и выработан исчислительно-объяснительный метод изучения словообразовательной системы и на этой основе дано новое описание состава и свойств способов словообразования словообразовательных формантов, а также возможностей их пополнения – описание, которое существенно расширяет и углубляет сложившиеся в науке представления Если в фундаментальной академической Русской грамматике (М., 1980) описано 15 узуальных и 2 окказиональных способа словообразования, то здесь – 79 способов, реализованных узуаль-

но (26) или окказионально (53) В их числе такие нестандартные, как десуффиксация + суффиксация: *здравоохранитель* десуффиксация + префиксация: *повоспоминать*, десуффиксация + постфиксация: *колениопрклониться*, десуффиксация + сращение: *нуладный*, депрефиксация + суффиксация: *лепство*, депрефиксация + сложение: *малоприятности*, депостфиксация + суффиксация: *соприкоснуть*, десубстантивация + префиксация: *последостоевский*, декомпозиция + префиксация: *супермульти*, десуффиксация + суффиксация + постфиксация: *самообразоваться*, десуффиксация + префиксация + постфиксация: *навпечатляться* и др (см., в частности, с 80–84)

В результате изучения реализованных единиц – способов словообразования и формантов – автором выявляются общие закономерности организации системы, которые указывают на наличие нереализованных единиц, возможность реализации которых этими закономерностями предусмотрена В определенном аспекте можно согласиться с тем, что "нереализованные единицы составляют равноправную по отношению к реализованным часть описания" (с 7) Выявление максимума возможных единиц производится в работе посредством исчисления теоретически возможных единиц и их комбинаций, результат такого исчисления сопоставляется с числом реализованных и устанавливается процент реализации, свойственный тем или иным подсистемам И С Улуханов приходит к выводу, что в

чистых способах словообразования реализуются почти все теоретически возможные операции с морфемами и фонемами, так что появление новых чистых способов вряд ли возможно, но этого нельзя сказать про смешанные способы (с. 203). В данной методике уязвим лишь один момент: в конечном итоге речь идет о нереализованности в пределах имеющегося у исследователя фактического материала и, следовательно, играет роль и фактор случайности. Это, впрочем, неизбежно при обращении к такой открытой системе, как лексика.

Принципиальное достоинство данного исследования, как и ряда других работ И.С. Улаханова, заключается в переходе от констатирующего способа описания, представленного в основной массе существующих синхронических грамматик, к объяснительному. Существенно, что объяснительный способ описания, как подчеркивает сам автор, "важен не только в теоретическом, но и в практическом отношении: изучающий язык лучше усваивает то, причина чего ему ясна" (с. 8). В большинстве случаев в монографии ставится и убедительно решается вопрос о причинах, предопределяющих как наличие/отсутствие тех или иных "клеток" словообразовательной системы, так и их заполнение или незаполнение. Такое описание "способствует полному представлению всей системы со всеми ее связями. Оно не может быть атомарным в силу самой своей природы" (с. 8).

Проблематика данной работы связана с определением границ между системными и несистемными явлениями, а также нормативными и ненормативными. Автор справедливо подчеркивает, что строгой границы между ними не существует, и речь идет о шкале, "место на которой определяется взаимодействующими или противоборствующими причинами" (с. 9), которые он и стремится выявить. В силу объективной сложности явлений анализ не всегда дает ответ на вопрос о том, "в какой степени новый факт речи является результатом расширения потенциальных возможностей языка или нарушением его системных закономерностей" (с. 9).

В монографии тщательно исследуется обширнейший фактический материал. Следующая за теоретическим Введением I глава посвящена узуальным, окказиональным и потенциально возможным способам словообразования современного русского литературного языка, II глава – соответствующим словообразовательным формантам. И.С. Улаханов показывает, что словообразовательные ресурсы русского языка,

реализованные в узуальной и особенно окказиональной лексике, намного превосходят то, что зафиксировано в существующей специальной литературе. Только в пределах узуальных способов словообразования насчитывается более 600 аффиксальных морфов и около 360 смешанных комбинаций морфов. Наряду с отмеченным выше исключительным разнообразием самих способов это составляет важную характеристику словообразовательного арсенала и потенциала русского языка. Давая общую характеристику смешанных способов словообразования с точки зрения их состава и количества, автор, в частности, обнаруживает, что доля реализованных комбинаций чистых способов по отношению к числу возможных комбинаций уменьшается с увеличением числа чистых способов, задействованных в той или иной комбинации. Это наблюдение согласуется с известной общей тенденцией уменьшения количества языковых единиц с увеличением их формальной сложности (ср. понятие глубины слова).

Характеризуя состав словообразовательных формантов и возможности его пополнения, И.С. Улаханов рассматривает возникновение новых аффиксов и новых значений у существующих аффиксов, проникновение аффиксов из чистых способов в смешанные, возникновение новых смешанных формантов, описывает узуальные, окказиональные и нереализованные сочетания значений формантов чистых способов в составе смешанных. Особое внимание уделено выявлению тех факторов, которые способствуют или препятствуют лексической реализации формантов смешанного словообразования.

В III главе дан обзор видов словообразовательных значений, выражаемых способами и формантами, описанными в предшествующих главах. Здесь особенно интересным нам представляется рассмотрение семантической инвариантности/неинвариантности формантов каждого способа, их частеречного распространения; выделены, в частности, суффиксы, выступающие в словах разных частей речи, и префиксы, способные изменять часть речи мотивирующего слова.

В кратком Заключении подводятся итоги исследования и выдвигается целый ряд новых проблем дериватологии, которые должны рассматриваться, по словам автора, с учетом существующих и возможных единиц. Среди них проблемы проникновения способов словообразования и отдельных формантов из одной части речи в другую (т.е. заполнение еще одного вида словообра-

зовательных лакун), стилистические свойства способов словообразования, особенности употребления в тексте слов, относящихся к отдельным способам, проблема лексического наполнения различных способов, семантического соотношения разных способов и др. Автор справедливо полагает, что изучение словообразовательной системы, направленное на выявление существующих и возможных единиц, "раскроет ... многие существенные свойства словообразовательного механизма и его непознанные возможности" (с. 207).

В заключение отметим отдельные моменты в монографии, которые представляются спорными или неразъясненными.

В ряде работ по словообразованию, как известно, различаются, помимо слов узуальных и окказиональных, также потенциальные, причем окказиональные считаются антиподами потенциальных и характеризуются нарушением законов словообразования данного языка. С другой стороны, в Русской грамматике [1980, I: 137], на которую в исходных понятиях опирается рассматриваемая монография, окказионализмы характеризуются как "встречающиеся в речи индивидуальные новообразования, присущие только данному контексту". Однако привязанность только к одному данному контексту вряд ли относится ко всему массиву слов, называемых в рецензируемой работе окказиональными. Хотелось бы видеть здесь прояснение и уточнение соотношения известных понятий и терминов.

Малоубедительным представляется отказ автора монографии от той трактовки форманта субстантивации, которая была принята им же (совместно с В.В. Лопатиным) в упомянутой Русской грамматике: "система флексий мотивированного слова (существительного), представляющая собой часть системы флексий мотивирующего (прилагательного или причастия)". На наш взгляд, словообразовательный формант необязательно "должен различать ...каждую из ... словоформ" мотивированного и мотивирующего (с. 31), об этом свидетельствует

наличие в языке многочисленных омоформ и омоморфем. Если формантом при субстантивации признать "только различие в синтаксической позиции и грамматической семантике мотивированного и мотивирующего..." (там же), то окажется, что словообразование не ограничено границами слова (цельнооформленного и даже аналитического). Кроме того, реально существует и субстантивация по модели (*тренерская*, *редакторская* и т.п.), когда синтаксическая позиция существительного является следствием состоявшегося словообразовательного акта, но не исходным пунктом.

Как указывается в работе, в окказионализмах могут иметь место различного рода усечения и совмещения фонем, "пределы которых определяются минимумом фонем, необходимых для идентификации мотивирующих слов и тем самым – значения мотивированного слова" (с. 74). Однако ряд окказиональных образований, в основном поэтических, как видно и из самой монографии, выходит за эти разумные пределы, так как коммуникативная установка может и отсутствовать либо быть намеренно загадочной (ср., например, на с. 76 окказионализм В. Хлебникова *равнебен*, требующий гипотетической расшифровки даже от исследователя его творчества). Если за такими образованиями видеть все же словообразование, а не словесную игру, то придется, видимо, различать окказионализмы "коммуникативные" и "некоммуникативные". В последних формальные изменения в принципе непредсказуемы.

Оценивая монографию И.С. Улуханова в целом, следует подчеркнуть, что это исключительно содержательное новаторское исследование, ценное и по методам, и по результатам. Несомненна его важность и для общей теории словообразования. Монография расширяет горизонты теории синхронного словообразования и, надо полагать, стимулирует новые исследования с применением исчислительно-объяснительного метода.

Р.С. Манучарян

Selected essays of Catherine V. Chvany / Ed. by O.T. Yokoyama and E. Klenin. Columbus (Ohio): Slavica, 1996, 391 p.

Эта книга – избранные труды известного американского слависта К. Чвани, объединяющая практически все ее важнейшие работы.

Личность автора этой книги необычна

и заслуживает того, чтобы сказать несколько слов о биографических обстоятельствах, прежде чем перейти непосредственно к характеристике содержания.

Этрин Чвани – урожденная Екате-

рина Николаевна Вакар – родилась в межвоенном Париже в семье русских эмигрантов. Ее отец, Николай Платонович Вакар – историк, во Франции сотрудничавший в газете "Последние новости" (издававшийся тогда П.Н. Милюковым), а впоследствии, уже в США, написавший книгу по истории Белоруссии и, между прочим, несколько работ по лингвистической статистике (тогда еще совсем новой области знания); мать, Гертруда Павловна Клафтон, принадлежала к старинному роду английских купцов, с XVIII в. живших в Архангельске. В самом начале второй мировой войны, после оккупации Франции, девочка волею судьбы оказалась в Бостоне, где и начался – некоторое время спустя – ее путь американского лингвиста. На формирование ее взглядов огромную роль оказал Роман Якобсон, у которого она училась в Гарварде, а позднее, в MIT, где она преподавала до 1994 г., Н. Хомский и др. ведущие американские лингвисты "формального" направления. К. Чвани является человеком трех культур – русской, французской и американской; неудивительно, что она специализировалась как славист. Подавляющее большинство ее работ (в том числе ее получившая большой резонанс диссертация [Chvany 1970] и известная монография [Chvany 1975; ср. также опубликованные у нас переводы двух статей Чвани 1985а; 1985б]) написаны на русском материале; второе место в списке ее трудов занимают работы о болгарском языке. Но почти все написанное Чвани может рассматриваться и как вклад в общую теорию языка (особенно теорию синтаксиса и теорию грамматических категорий); кроме того, помимо чисто лингвистических исследований, Чвани принадлежит и ряд работ по поэтике и русской литературе – часть из них тоже представлена в сборнике.

Сборник подготовлен силами двух ближайших учениц Чвани, О. Йокоямы и Э. Кленин, и издан очень тщательно и продуманно. Отбор работ не случаен; статьи распределены по разделам книги в полном соответствии с тематикой и жанром; кроме того, каждому разделу предпослано отдельное предисловие, написанное специалистом в соответствующей области. Это удачное решение, которое очень помогает читателю ориентироваться в богатом и тематически разнородном материале (ведь далеко не всякий лингвист является специалистом одновременно по синтаксическим свойствам модальных глаголов и особенностям русской прозы XX в.).

Сборник состоит из следующих четырех

частей: "Синтаксис и морфосинтаксис" (с предисловием Л. Бэбби); "Словарная информация и лексический компонент" (с предисловием М.С. Флайера); "Моделирование грамматических категорий" (с предисловием К.Дж. Нидл); "Поэтика и нарративные структуры" (с предисловием Д. Ранкур-Лаферрьера). В приложении приводится подробная библиография работ Чвани.

Большая часть творчества Чвани 70–80-х гг. находится в русле трансформационной генеративной теории; так, в статьях первых двух разделов обсуждаются – на языке и в терминологии тех лет – синтаксические свойства русских модальных и экзистенциальных предикатов, отрицания, местоимений и некоторых других. Вместе с тем, значение написанного Чвани, как представляется, выходит за пределы одной главы истории генеративного синтаксиса. Прежде всего, Чвани выделяется среди многих других американских славистов не просто безупречным и тонким знанием русского языка, но и особым вниманием к материалу, к особенностям и индивидуальным свойствам каждой языковой единицы. Часто теоретиков собственные построения интересуют гораздо больше, чем факты, – Чвани, никогда не была лингвистом такого типа. Ее лексико-синтаксические наблюдения сохраняют ценность независимо от метаязыка, на котором они были сформулированы. (Для примера укажем только одно из них, но весьма характерное для научного стиля автора: Чвани (с. 11–12) обратила внимание на асимметричность синтаксического поведения предикатов *должен* и *мочь* в русском языке: несмотря на то, что оба они допускают употребление как в качестве вершинного предиката, так и в качестве парентетического компонента, только *мочь* употребляется в последнем случае как с глаголом *быть*, так и без него; для *должен* эллиптический вариант невозможен, ср. *Иван, может быть / может, работает vs. Иван, должно быть / *должно, работает.*)

В данной рецензии мы не имеем возможности обсуждать все проблемы, связанные с трансформационным анализом русской лексики в работах Чвани; впрочем, книга [Chvany 1975], с которой тематически связаны многие публикуемые в этих разделах работы, у нас достаточно известна, а одна из них входит и в число переведенных на русский язык [Чвани 1985а]. В этих статьях Чвани предстает пронизательным теоретиком, сочетающим вкус к формаль-

ным построениям и верность языковому материалу; несколько общих идей, высказанных Чвани в разных публикациях этого периода, безусловно опередили свое время (к сожалению, приоритет Чвани при этом часто незаслуженно замалчивается). Одна из таких идей – описание синтаксических различий между конструкциями вида *ego ne было.. и он не был..* за счет наличия vs. отсутствия "глубинного подлежащего" – впоследствии получила (весьма неудачное) название Unaccusative hypothesis, и ее открытие приписывается Д. Перлмуттеру. Другая идея Чвани – о существовании так называемых "синтаксически выводимых" слов – имеет отношение к дискуссиям вокруг гипотезы "сильного лексикализма" (согласно которой синтаксические правила не могут затрагивать морфологическую структуру слова), актуальным и в настоящее время: многие данные русского языка, анализируемые в статьях сборника, свидетельствуют о том, что такая гипотеза если и не является полностью неадекватной, то, по крайней мере, нуждается в серьезных коррективах: особое место в рассуждениях Чвани занимает проблема русских притяжательных прилагательных (типа *Машин, папин*), впоследствии рассмотренная Г. Корбеттом [Corbett 1987] на материале других славянских языков.

Остановимся более подробно на одной из статей этого раздела, публикуемой в полном виде впервые; статья называется "О неэлементарности понятий агенса и подлежащего" ("Deconstructing agents and subjects", с. 63–95). В ней затрагиваются такие актуальные проблемы современной синтаксической теории, как инвентарь падежных ролей и соотношение семантических и синтаксических ролей; большая часть работы посвящена критике так наз. теории "тетаролей" Хомского. Значительную часть материала составляют русские безличные конструкции – традиционный камень преткновения для генеративных построений в этой области. Автор предлагает считать понятия семантического и синтаксического уровня неэлементарными (отчасти в духе аналогичных идей Лейкоффа), рассматривая поверхностные подлежащие как обобщение двух континуумов – континуума ответственности (responsibility) и вовлеченности (affectedness): статья является оригинальной репликой в очень современной теоретической дискуссии.

Другая сторона этой проблематики (отраженная главным образом в статьях второго раздела) – соотношение между

"грамматической" (или синтаксической) и "словарной" (или хранимой в готовом виде, невыводимой, "stored") информацией. Такое (или подобное) деление свойственно, по видимому, всем современным формальным моделям языка (хотя его необходимость – точнее, его безусловность – и отрицается в ряде когнитивных теорий, ср. [Bybee 1988] или, с более общих позиций, [Taylor 1995]); и в этом случае аргументы Чвани конкретны и неожиданны, а ее наблюдения (например, над синтаксическими свойствами инфинитива глагола *мочь*, отчасти перекликающиеся с предыдущими работами) сохраняют значимость и за пределами тех формальных построений, которые послужили непосредственным стимулом к их возникновению. Среди статей этого раздела выделяется исследование о категории определенности в русском, болгарском и английском языке (последние два, как известно, являющиеся артиклевыми языками). В этой работе Чвани (как и в статьях следующего раздела) выступает уже не как формальный теоретик, а скорее как функционалист-типолог; само понимание определенности как "семантического поля" и стремление анализировать ее семантику в дискурсивно-прагматических терминах (связывая ее с глагольным временем и дейксисом в целом) красноречиво свидетельствует об этом.

Очень интересен третий раздел книги, посвященный проблемам теории грамматических категорий. В работах этой группы (кстати, более поздних по времени: большинство написано в середине 80-х гг.) заметнее влияние яacobсоновского наследия на творчество Чвани: в центре ее внимания – классификация грамматических оппозиций, понятие маркированности, а также понятие парадигмы как особого "геометрического" объекта лингвистического исследования со своими специфическими свойствами.

Укажем лишь на некоторые наиболее интересные наблюдения Чвани. В статье "Иерархии в русской падежной системе" (1982) пронизательно отмечается, что наиболее естественный (не только в функционально-семиотическом, но и в педагогическом плане) порядок анализа и перечисления русских падежей должен быть следующим: *Им. – Вин. – Род. – Предл. – Дат. – Твор.*; это лучше отражает модели нейтрализации падежных показателей в разных типах склонения и облегчает усвоение русской морфологии учащимся. В статье 1984 г. о знаменитом "падежном кубе" Яacobсона (из его работы 1936 г.) приводятся аргументы в

пользу того, что это геометрическое упражнение великого структуралиста следует рассматривать не как строго научное построение, а скорее в эстетическом плане – как своего рода произведение искусства, для творчества Jakobson в целом необычайно характерно эстетическое отношение к исследованию языка – одновременно со стремлением к строго научному исследованию литературы, это отличает Jakobson, в частности, от Трубецкого (Заметим в скобках, что это, на наш взгляд, одна из самых глубоких характеристик творчества Jakobson, известная нам, – ее ценность, повышает, конечно, и то, что это свидетельство одного из тех, теперь уже, увы, не столь многих людей, которые имели возможность знать Jakobson лично)

История понятия маркированности прослеживается в очень содержательной, несмотря на ее краткость, статье "Эволюция концепта маркированности от Пражского кружка до генеративной грамматики" (1993); автор обобщает многие современные исследования по теории и истории лингвистики и убедительно показывает неоднородность и внутреннюю противоречивость этого понятия. Как показал М Вьель, его непосредственным источником следует считать письмо Трубецкого Jakobsonу от 31 июля 1930 г о "положительных" и "отрицательных" элементах (фонологических) оппозиций. Заслугой Jakobson является перенесение этого понятия в область морфологии, где, однако, его применение вызвало ряд новых проблем Чвани – один из немногих современных лингвистов (среди своих предшественников она называет болгарского лингвиста М Янакиева), эксплицитно отмечающих невозможность говорить о противопоставлении маркированного и немаркированного элемента внутри грамматических оппозиций (если, конечно, придерживаться буквы определения, эта проблема – в терминах "непривативности грамматических оппозиций" – подробно обсуждается в нашей работе [Плунгян 1988]). Более плодотворной кажется интерпретация маркированного элемента как когнитивно выделенного (что, кстати, оказывается не так уж далеко как раз от первоначальной идеи Трубецкого)

Статьи последнего, четвертого раздела несколько более разнородны в тематическом плане; они объединяют как работы, которые можно было бы отнести к жанру "лингвистический анализ литературного дискурса", так и работы, скорее попадающие под рубрику "литературоведческий анализ художественного текста". К числу

первых относится статья о роли глагольного вида и времени в структуре "Слова о полку Игореве", а также большая статья о "результативном перфекте" в современном русском языке, обе работы написаны с позиций, близких к дискурсивной трактовке вида (П. Хоппер и др.), но, как всегда у Чвани, сохраняют печать авторского подхода к проблеме. Ко второй группе работ можно отнести статью о деминутивах в прозе Лескова, разбор малоизвестного романтического стихотворения Тэффи "Корабль" (опубликованного в парижской прессе, это – первая работа Чвани, написанная в 1968 г, еще в период учебы в Гарварде), а также анализ рассказа Солженицына "Захар-Калита" (в основе сюжета которого – встреча с "хранителем" Куликова поля), этот рассказ уже служил объектом исследований К Поморской, и Чвани развивает ее наблюдения относительно близости стилистической манеры Солженицына и Чехова, обращая основное внимание на то, что она называет "поэтикой правды". Быть может, самым интересным в этой статье является набранный петитом заключительный постскрипtum. В нем сообщается, что уже после публикации работы автору стали известны два факта, позволяющие поместить ситуацию, описанную Солженицыным, в более широкий культурный контекст. С одной стороны, в бостонской газете было напечатано интервью с самозванным "хранителем" знаменитой статуи Свободы – "американским Захаром" (между прочим, из семьи недавних эмигрантов). С другой стороны, на встрече президентов Литвы и Польши по поводу юбилея Грюнвальдского сражения (1410) именно оно было названо "величайшей битвой" в истории средневековой Европы. По этому поводу Чвани замечает, что русский характер не столь уж уникален (вопреки тому, что часто утверждается), а национальная оценка исторических событий – всегда субъективна и относительна. В этом умении построить остроумное обобщение на основе мелких и разрозненных фактов, а также в подчеркнутой 'неангажированности' взгляда чуть отстраненного наблюдателя – может быть, самая суть творчества Чвани, проявившаяся и во многих других ее работах, в частности, в ее позиции "между генеративизмом и функционализмом".

Невозможно перечислить все глубокие и тонкие наблюдения, содержащиеся в этой книге, чтение которой, безусловно, будет полезно для лингвистов самых разных интересов и теоретических ориентаций. В

закключение хотелось бы лишь процитировать один из абзацев вступительной статьи (с 7), подписанной двумя соредакторами сборника – надеюсь, читатель не сочтет эту цитату слишком длинной

"Словно бы восполняя то что ее собственные работы порою не получали того отклика, который они на самом деле заслуживали, Чвани всегда поразительно добросовестна в цитировании своих предшественников, она особенно выделяется своим доброжелательным отношением к славистам и молодым лингвистам, только начинающим свой путь в науке – иногда кажется что она специально старается разыскать новое имя, еще никому в своей области не известное То отделение MIT где работает Чвани, не присуждает ученых степеней по славистике – и несмотря на это, ее роль в воспитании младшего поколения американских славистов поистине уникальна Она давала стимул к творчеству и снабжала новыми идеями, она прочла множество чудовищно сырых текстов и ответила на них глубокой, но очень деликатной критикой; она приходила на семинары невзирая на непогоду и болезни; у нее живой стиль, абсолютно неразборчивый почерк и всегда свое собственное мнение о предмете"

К этой оценке можно только присоединиться

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Плунгян В А* 1988 – О некоторых свойствах грамматических оппозиций // Научно-техническая информация Сер. 2 № 10 1988
- Чвани К* 1985а – Синтаксически выводимые слова в лексикалистской теории (опыт нового описания русской морфологии) // Т В Булыгина, А Е Кибрик (ред.) Новое в зарубежной лингвистике. Вып 15 Современная зарубежная русистика М, 1985
- Чвани К* 1985б – Грамматика слова *должен* словарные статьи как функция теории // Т В Булыгина, А Е Кибрик (ред.) Новое в зарубежной лингвистике Вып 15 Современная зарубежная русистика М, 1985
- Bybee J L* 1988 – Morphology as lexical organization // M Hammond and M Noonan (eds) Theoretical morphology approaches in modern linguistics San Diego, 1988
- Chvany C V* 1970 – Deep structures with *должен* and *мочь* Ph D thesis Harvard University, 1970.
- Chvany C V* 1975 – On the syntax of BE-sentences in Russian Cambridge 1975
- Corbett G* 1987 – The morphology-syntax interface // Language 63 1987
- Taylor T R* 1995 – Linguistic categorization prototypes in linguistic theory. Oxford, 1995

В А Плунгян

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

8-10 октября 1997 г в университете г Магдебург (ФРГ) состоялось заседание Международной комиссии по славянскому словообразованию при поддержке Deutsche Forschungsgemeinschaft и правительства земли Заксен-Анхальт. В работе Комиссии приняли участие дериватологи из Европы, Азии и Австралии.

На открытии заседания Комиссии выступил декан факультета гуманитарных, социальных и педагогических наук профессор Клаус-Эрих Поллман, который рассказал об истории университета г Магдебург, о научной работе преподавателей факультета и пожелал успешной работы членам Комиссии и приглашенным на ее заседание гостям.

Основные проблемы, вынесенные на обсуждение Комиссии, были такие: синхрония и диахрония в словообразовании, принципы синхронного и диахронического описания словообразования славянских языков, словообразование и лексика, словообразование и синтаксис, словообразование и морфология, единицы словообразовательной системы и их лексическая реализация, закономерности сочетаемости морфем.

Председатель Комиссии И С У л у х а н о в (Россия), открывший заседание докладом "Некоторые проблемы изучения словообразования славянских языков", проанализировал особенности современного этапа изучения славянского словообразования и предложил свою трактовку словообразовательной системы, а именно, рассматривать словообразовательную систему не только как совокупность узואуально реализованных единиц, но и как совокупность возможных единиц, часть которых реализована окказионально. В докладе использовался предложенный автором ранее метод исчислительно-объяснительного изучения языка: исчисление всех возможных единиц и

объяснение причин их реализации или нереализации.

Активные тенденции словопроизводства в русском языке второй половины XX века стали предметом рассмотрения в докладе Е А З е м с к о й (Россия). Было отмечено, что вторая половина XX века характеризуется активизацией тех тенденций, которые действовали в русском языке после революции 1917 года. Основные из этих тенденций: демократизация, интернационализация, рост неузуального словообразования и экспрессивизация, деидеологизация, рост аналитизма и черт агглютинативности в структуре производного слова.

Е С К у б р я к о в а (Россия) в докладе о когнитивных аспектах словообразования подчеркнула необходимость изучения феномена инференции (семантического вывода) в словообразовании, поскольку оно способствует установлению закономерностей развития ономаσιологических категорий и, что особенно существенно, закономерно стей регулярной полисемии.

Большинство докладов, прочитанных на заседании Комиссии, было посвящено проблемам взаимодействия словообразования и лексики.

И О н х а й з е р (Австрия) в своем выступлении указала на необходимость учета лексико-семантических аспектов при сопоставительном изучении словообразования в процессуальном и в результативном планах. Так, например, возможная многозначность исходного производящего слова по-разному влияет на тип гнездования производных в разных славянских языках, на синхронные границы словообразовательных гнезд.

Влияние идиоматичности семантики производных слов на повторную реализацию словообразовательных моделей было рассмотрено О П Е р м а к о в о й (Россия), которая в докладе отметила, что в русском именном словообразовании последних десятилетий вследствие повторной ре-

лизации словообразовательных моделей одни производные за счет расширения круга денотатов становятся многозначными, другие напротив из многозначных превращаются в однозначные

К проблеме семантической идиоматичности мотивированных слов обратился в своем докладе **Н а м - С и н Ч о** (Корея). Он подчеркнул, что идиоматичность необходимо исследовать не только на лексическом но и на словообразовательном уровне анализируя добавочные значения в семантике мотивированных слов, выявляя их регулярность

Р С М а н у ч а р я н (Армения) охарактеризовал в сопоставительно-типологическом аспекте ряд лексико-словообразовательных категорий в русском и армянском языках выжив различия в лексической реализации сходных системных словообразовательных возможностей.

Словообразовательному потенциалу заимствованных слов в славянских языках были посвящены доклады **М Гиро-Вебер**, **Л Селимского Э Фекете**

М Гиро-Вебер (Франция) затронула проблему суффиксации и префиксации глаголов с заимствованной основой в современном русском языке. Ею установлено, что эти глаголы обладают меньшим словообразовательным потенциалом, чем глаголы с исконно русскими основами, у них отсутствует двойная префиксация, большинство глаголов с заимствованными основами способны сочетаться только с одним определенным префиксом

Л Селимский И (Болгария) проанализировал роль заимствований из русского и церковнославянского языков в восстановлении и укреплении в современном болгарском языке ряда образцов и типов словообразования, встречающихся в древнеболгарских памятниках. В докладе подчеркивалось, что, обогащая семантически и стилистически словарный состав современного болгарского языка русские и церковнославянские заимствования способствуют значительному освобождению болгарского языка от тюркизмов

Рассматривая лексические инновации в сербском языке, обусловленные массовым усвоением иностранных композитов, **Э Фекете** (Сербия) подверг эти инновации комплексному словообразовательно-морфологическому анализу и выявил их системные возможности

Нормативный аспект словообразования был темой докладов **Р Беленчиковой** и **С Менгель**

Р Беленчикова (ФРГ, Магдебург)

говорила об отношении русских окказиональных слов разных группировок к лексической и словообразовательной норме. Крайними полюсами континуума окказионального словообразования, по мнению докладчика, являются потенциальные слова и авторские неологизмы, имеющие специфические семантические признаки и поразному функционирующие в тексте

Механизм словообразовательной нормы и ее специфика были рассмотрены в докладе **С Менгель** (ФРГ, Халле). Словообразовательная норма была представлена ею как специализация словообразовательных типов внутри словообразовательной категории и словообразовательной парадигмы

Некоторые проблемы неканонического словообразования рассматривались в докладах **А Нагурко** и **Й Реке**

Анализируя польские и немецкие деривативы, **А Нагурко** (Польша) выделила словообразовательные явления, периферийные с точки зрения бинарных словообразовательных отношений, а также словообразовательные структуры, периферийность которых обусловлена имплицитной деривацией, указав на лексикализацию ряда префиксов в польском языке

Обратившись к русским просторечным глаголам типа *раздраконить*, *замылить*, формально мотивированным, **Й Реке** (ФРГ) подчеркнул необходимость углубленного изучения соотношения степеней членности и степеней мотивированности

Вопросы о степени мотивированности слов, о синергетической природе словообразовательной мотивации поднимались и в докладе **Ю Фурдика** (Словакия). Им отмечено, что принцип словообразовательной мотивации служит основой всех формально-семантических оппозиционных отношений в лексике

Проблемы словообразовательного гнезда, словообразовательной категории и словообразовательного типа были затронуты в докладах **А Н Тихонова**, **К Клещевой**, **Б Крея**, **Е И Коряковцевой**

О типах словообразовательных гнезд, об их синхронных границах, о методах определения этих границ говорилось в докладе **А Н Тихонова** (Россия)

Словообразовательная категория в диахроническом аспекте являлась предметом исследования **К Клещевой** (Польша). Было отмечено, что одно и то же производное слово может получать двоякую интерпретацию и принадлежать вследствие этого к двум разным словообразовательным категориям (явление реинтерпретации). На материале старопольского языка **К Кле-**

шева выявляет два источника реинтерпретации деривационные сдвиги и семантическую деривацию

Анализируя в своем докладе генезис и развитие ряда словообразовательных типов абстрактных существительных, Б К р е я (Польша) указал на необходимость введения понятия надтипа Надтип – это набор формаций, принадлежащих к разным словообразовательным категориям и характеризующихся тождеством формального показателя

Отмечая невозможность использования словообразовательной категории в традиционной ее трактовке в качестве единицы синхронно-диахронического и сопоставительного описаний, Е И К о р я к о в ц е в а (Россия) предложила в качестве такой единицы семантико-словообразовательную категорию (словообразовательную категорию I ранга) Под семантико-словообразовательной категорией ею понимается иерархизированная микросистема, состоящая из подсистем – словообразовательных категорий II и III ранга, формально-семантические различия которых образуют систему оппозиций В семантико-словообразовательной категории остается только общность словообразовательного значения производных мотивированных слов

О динамике в словообразовании, словообразовательной синхронии и диахронии шла речь в докладах К Бузашиовой и Г П Нецименко

К Буз а ш и о в а (Словакия) указала на необходимость последовательного разграничения динамических процессов и их результатов при описании динамики словообразовательной системы

Признавая целесообразным методическое разграничение синхронного и диахронного подходов, Г П Нецименко (Россия) считает целесообразным рассмотрение деривационных фактов на перекрестке обеих осей координат (синхронической и диахронической) Это помогло бы адекватно описать деривационные закономерности при синхронном подходе в поле зрения находятся зарождающиеся динамические импульсы, при диахронном – историческая динамика

Закономерности сочетаемости аффиксов

с основами слов различных частей речи анализировались в докладах Э Гюнтер, П Кабберлея, С П Лопушанской

Э Г ю н т е р (ФРГ) был исследован словообразовательный потенциал русских местоимений разных разрядов и выявлены ограничения в сочетаемости при аффиксации и словосложении

Исследуя сочетаемость глагольных префиксов в русском, польском и чешском языках, П Ка б б е р л е й (Австралия) предложил модель описания префиксальных глаголов, базирующуюся на семантических категориях

С П Л о п у ш а н с к а я (Россия) охарактеризовала модуляционные (при сохранении категориальной лексической семы) и деривационные семантические изменения в смысловой структуре производящих глагольных основ в славянских языках

В докладе А А Л у к а ш а н ц а (Беларусь) рассматривалась возможность построения грамматической модели словообразования имен существительных в белорусском языке с позиций последовательного учета грамматических категорий мотивирующего и мотивированного слов

В Н В и н о г р а д о в а (Россия) в своем докладе развивала мысль о возможности и необходимости эстетической оценки поэтических окказионализмов

На заседании Комиссии обсуждались также проблемы лексикографической интерпретации производных слов (Ю Б а л т о в а, Болгария), методы их этимологизирования производных слов (М Ф е р р а н, Франция)

Заседание Международной комиссии по славянскому словообразованию прошло активно и плодотворно Были подведены итоги работы Комиссии в 1997 году Доклады, прочитанные на заседании, решено опубликовать в 1998 году отдельным сборником в издательстве "Peter Lang" Председатель Комиссии И С Улуханов от лица ее членов выразил благодарность организатору заседания профессору Р Беленчиковой и декану факультета гуманитарных, социальных и педагогических наук профессору Клаусу-Эриху Поллману

Е Коряковцева (Москва)

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1 Рукописи представляются в двух экземплярах, текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2 Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3 Библиография в журнале оформляется следующим образом.

3.1 Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– Код работы (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа 'и др.' или 'et al'.

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например *Успенский Б. А.* 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.) М. 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например

Трубецкой Н. С. 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // *ВЯ* 1990 № 2. 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов, допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу – см. выше) с указанием 'ред.' (для других языков – ed., hrsg. и т. п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например

Greenberg J. ed. 1978 – *Universals of human language* V. 1. Method and theory. Stanford (California) 1978.

Universals 1978 – *Universals of human language* V. 1. Method and theory. Stanford (California) 1978.

3.2 В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках: фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В. В. Иванов 1992: 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3 Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4 Непринятые рукописи не возвращаются.

5 Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6 Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала, корректура авторам не высылается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.

CONTENTS

For the XII International Congress of Slavists. O N T r u b a č e v (Moscow) Slavic philology and comparativeness, From Congress to Congress, V L Y a n i n, A A Z a l i z n j a k (Moscow) Birch codices from the Novgorod excavations, E S J a k o v l e v a (Moscow) On the notion 'cultural memory' as applied to word-semantics, V B K r y s ' k o (Moscow) The ancient Novgorod-Pskov dialect from the point of view of Common Slavic, E E B a b a e v a (Moscow) Who lives in the 'vertep' or an essay on the reconstruction of the semantic history of a word, A L Š i l o v (Moscow) Toponymy of Karelia from the point of view of substrat toponymy of the Russian North on the origin of the hydroformant -en(b)za, G A B o g a t o v a (Moscow) Speculations after the International Congress of specialists in Russian in Krasnojarsk, I A M a l y š e v a (Khabarovsk) Investigation of written monuments of the XVIII century based on linguistic source studies L M G o r o d i l o v a (Khabarovsk) A dictionary of linguistic sources of the Yeniseian Siberia of the XVII century A M S a v o s i n a (Moscow) Actualizing paradigm of the sentence Types of communicative tasks and means of their solution (based on the materials of binominative sentences expressing the relations of characterization), A N P e č n i k o v (Ulianovsk) Ways of linking predicative units in a compound sentence, **From the history of science:** A V B a r a n d e e v (Moscow) 'Kniga Bol'somu Čertežu" (370 years of the linguistic monument), **Reviews:** L V K u r k i n a (Moscow) *M Snoj* Slovenski etimoloski slovar Ljubljana 1997 G G T j a p k o (Moscow) Theoretical and methodological problems of the contrastive study of the Slavic languages, V G D e m j a n o v (Moscow) *I Maier* Verbalrektion in den 'Vesti-Kuranty (1600-1660) Eine historisch-philologische Untersuchung zur mittellrussischen Syntax Uppsala 1997 R S M a n u č a r j a n (Moscow) *I S Uluxanov* Units of word forming system in Russian and their lexical realization V A P l u n g j a n (Moscow) Selected essays of Catherine Chvany, 1996 **Chronicle features**

Технический редактор О Н Никитина

Сдано в набор 28 02 98 Подписано к печати 14 04 98 Формат бумаги 70 × 100 ¹/₁₆
Офсетная печать Усл печл 15,6 Усл кр-отт 24,5 тыс Уч издл 18,6 Бум л 6,0
Тираж 1670 экз Зак 3545

Адрес редакции 121019 Москва, Г 19, ул. Остоженка 18/2 Институт русского языка
телефон 201-74-42

Отпечатано в типографии 'Наука', 121099 Москва, Шубинский пер., 6